АЙСЕДОРА ДУНКАН





Морис Лебер



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Роман Мориса Левера, написанный легким, окрашенным иронией языком, рассказывает о жизни известной американской танцовщицы — «божественной» Айседоры Дункан. Автор удачно лавирует между превратностями ее артистической карьеры и безумствами частной жизни. Читатель сможет погрузиться в мир сильных страстей, прекрасных душевных порывов, полетов творческого вдохновения…

- Морис Левер. Айседора Дункан: роман одной жизни
- ОТ РЕДАКЦИИ
- ГЛАВА I
- ГЛАВА II
- ГЛАВА III
- ГЛАВА IV
- ГЛАВА V
- ГЛАВА VI
- ГЛАВА VII
- ГЛАВА VIII
- ГЛАВА IX
- ГЛАВА X
- ГЛАВА XI
- ГЛАВА XII
- ГЛАВА XIII
- ГЛАВА XIV
- ГЛАВА XV
- ГЛАВА XVI
- ГЛАВА XVII
- ГЛАВА XVIII
- ГЛАВА XIX
- ГЛАВА XX
- ГЛАВА XXI
- ГЛАВА XXII
- ГЛАВА XXIII
- Основные даты жизни и творчества Айседоры Дункан
- КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5

- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48

Морис Левер. Айседора Дункан: роман одной жизни

Посвящаю Эвелине

ОТ РЕДАКЦИИ

Достоверность и занимательность… Отдавая сегодня безусловный приоритет первому из этих двух важнейших слагаемых любого жизнеописания, редакция серии «ЖЗЛ» вместе с тем еще раз подчеркивает свою приверженность внутрижанровому разнообразию. Не случайно на нашей полке, насчитывающей уже свыше тысячи томов, можно найти не только труды А. Лосева и Ю. Лотмана, Р. Сафрански и Ж. Тюлара, но и книги М. Булгакова и Н. Чуковского, И. Стоуна и С. Цвейга. Думается, определение «лаборатория биографического жанра» закрепилось за старейшей российской книжной серией вовсе не случайно. А потому, надеемся, читателя не сильно удивит (а если удивит — то, по крайней мере, не разочарует) произведение, которое он держит в руках, написанное в традициях, близких к «дамскому роману»: неожиданные встречи, романтические свидания, любовь, страсть, измена и снова любовь…

Персонажи романа Мориса Левера «Айседора», за редким исключением, — исторические лица; его действие разворачивается на фоне событий начала XX века — Первая мировая война, экономический кризис, революции в России. Однако автор, идущий порой по пути творческого вымысла, не ставит перед собой задачи создания произведения, имеющего исключительно историко-познавательную ценность, памятуя, вероятно, о словах своего знаменитого соотечественника, мастера приключенческого жанра А. Дюма: «История — только гвоздь, на который я вешаю свою картину».

Исторические события рубежа XIX и XX веков дают Морису Леверу возможность почувствовать смену эпох, показать нарастающее, по его мнению, социальное, идеологическое, бытовое различие старого, отживающего мира и нового, зарождающегося. Но исторические реалии в романе по большому счету лишь декорации, в которых разворачивается драма под названием «Жизнь и смерть Айседоры Дункан» и зрителями которой — от увертюры до финального занавеса — нас приглашает быть автор. Его главная героиня — пламенная революционерка в танце, музыке, живописи, костюме и конечно же любви. Описывая жизненный путь Айседоры, автор как будто вопрошает: «Может ли творческое кредо — свобода и только свобода — стать одновременно и жизненным кредо?» — «Безусловно!» — отвечает знаменитая танцовщица, бунтуя против устоев старого мира: его морали, религии, освещенного церковью и законом брака. Ее идеал, о котором она мечтает с юности, —

античная Греция, где человек, в ее представлении, сливается с природой и обладает абсолютной свободой.

Не удивительно, что особое место в романе занимает Россия. Здесь героиня находит своих единомышленников и здесь встречает любовь, ради которой готова пожертвовать свободой и независимостью, забыть о своем неприятии брака. Вряд ли можно гарантировать, что образ Сергея Есенина, созданный автором романа, будет принят русским читателем, равно как и сама Россия 20-х годов. Но не будем забывать, что роман написан во Франции, где поэзия Сергея Есенина занимает, возможно, такое же место, какое в России — танец Айседоры Дункан.

Редакция сочла необходимым дополнить роман Мориса Левера непременными атрибутами серии «ЖЗЛ», а именно — краткой библиографией и разделом «Основные даты жизни и творчества».

ГЛАВА I

Будь я писателем и напиши о своей жизни десятка два романов, я приблизилась бы к правде.

Айседора Дункан.

Моя жизнь

— Да это же мой Мопсик… Моя маленькая принцесса!..

Незнакомец быстро поднимает девочку. Держит, прижимая к себе. «Мопсик ты этакий… Доченька моя», — повторяет он, качая ее на руках. А та не смеет ни рта раскрыть, ни шевельнуться. И даже не думает освобождаться от объятий. Незнакомец ласково щекочет ей щеку своей шелковистой бородой. «От него приятно пахнет», — думает она.

Он ставит девочку на пол и спрашивает:

— Мама дома?

— Да. Кажется, да… С братьями и сестренкой.

— Хочу поговорить с ней. Сбегай позови.

— А кто вы?

— Скажи ей, что я твой отец.

Оторопев, она смотрит большими серо-зелеными глазами на мужчину. Он стоит перед ней в безукоризненно облегающем фигуру черном рединготе с атласными обшлагами. Улыбка не сходит с его губ. Ее отец? Этот красивый господин с офицерской выправкой? Она приняла бы его скорее за одного из тех джентльменов, которые читают «Всемирное обозрение» в плетеных креслах-качалках на террасе «Оксидентл-отель», которых она видела из окна трамвая.

Айседора знала, что родители расстались сразу после ее рождения и отец живет теперь в Лос-Анджелесе с новой женой и детьми… Но она никогда его не видела. Какой он? Этот вопрос тысячу раз едва не слетал с ее губ, но она никак не решалась его задать. Чувствовала, что лучше промолчать. Элизабет, Августин и Раймонд помнили его, но никогда не говорили о нем. Однажды она спросила об отце тетушку Огасту.

— Твой отец? — пробурчала старая дева. — Он дьявол, а не человек. Поломал всю жизнь твоей маме.

С тех пор девочка представляла себе его не иначе как с рожками на голове и вилами в руках, какими изображают чертей на картинках. А в школе, когда другие говорили об отцах, она не

раскрывала рта. Ни за что не стала бы говорить о нем. Это был ее секрет.

И вот этот загадочный отец явился перед ней. И — надо же! — никаких сатанинских признаков. «Это не может быть он, — думала она. — Из ада не являются такими, в лакированных туфлях и в цилиндре».

— Ну же, Мопсик, быстренько сходи за мамой.

Она бросилась в одну из двух комнат, которые занимала миссис Дункан с детьми.

— Мама, мама, там какой-то господин хочет с тобой поговорить. Он говорит, что он — мой отец.

Мать резко встала, уронив на пол вечное свое вязанье, лицо ее побледнело:

— Скажи ему, чтобы уходил! Немедленно! Нечего ему тут делать.

Не говоря больше ни слова, она вытолкала детей в другую комнату и закрыла за собой дверь на ключ, сохраняя внешнее спокойствие, как делают взрослые, чтобы избежать паники во время бедствия.

— Мама просит извинить… — пробормотала девочка, вернувшись в прихожую, — она не может принять вас сейчас.

— Ну что ж, отложим до следующего раза. А не пойти ли нам погулять вдвоем? Как ты считаешь?

Не успела она ответить, как он взял ее за руку, и они спустились с третьего этажа.

— Куда мы идем? — испуганно спросила она.

— Не знаю… Куда-нибудь. Здесь довольно мрачно, верно? Она никогда не задумывалась об этом. Мать с четырьмя детьми вечно меняла квартиры в этом старом квартале Сан-Франциско, где жили ирландцы в деревянных домах, выходящих мрачными фасадами на однообразные улицы. В одном из таких зданий, на углу Джиери-стрит и Тейлор-стрит, она и родилась восемь лет тому назад, 26 мая 1877 года[1].

Родители ее матери приехали из Ирландии во времена большой волны иммиграции, после ужасного голода 1848 года. Как и тысячи других, они пересекли в фургонах первопроходцев сперва равнины, потом Скалистые горы и выжженные солнцем плоскогорья, день и ночь опасаясь налета индейцев, с которыми то и дело происходили стычки. А когда добрались до Калифорнии, пришлось преодолевать неприязнь американских рабочих, обвинявших их в том, что они соглашаются работать за мизерную зарплату и тем сбивают цену на труд. Одним словом, эти богобоязненные католики плохо приживались в протестантской, пуританской Америке. Янки ненавидели

ирландцев, хотя и побаивались их, ведь те были горячими, отчаянными, всегда готовыми к драке. Непредсказуемыми, как истинные сыновья моря, и, как оно, неукротимыми.

Мать Мопсика, Мэри Дора Грей, рано вышла замуж за очаровательного светловолосого выпускника Оксфорда с голубыми глазами и типично шотландским родовым именем — Чарлз Дункан. Имея весьма скромные средства, он удостоился чести прослушать курс Рескина[2] лишь благодаря одной из многочисленных стипендий, щедро выплачиваемых викторианским режимом неимущим студентам.

В Оксфорде Чарлз постоянно чувствовал себя узником, ненавидел этот англиканский столп ортодоксии, старинные здания, пропитанные запахом воска, потемневшую от времени мебель и надменных баронетов. И при этом сохранил на всю жизнь манерные интонации, нарочито невнятное произношение, настолько характерное, что и на краю земли его узнаешь, любовь к поэзии и безграничное преклонение перед эстетикой прерафаэлитов. В ту пору он страдал больше всего оттого, что должен был ограничить свою страсть к приключениям чтением англонорманнских хроник, тогда как по ту сторону океана разворачивалась сказочная эпопея современности — завоевание Дикого Запада. Пока его лодка медленно скользила под вековыми вязами реки Черрел, Чарлз Дункан мечтал о новой Византии с «золотыми берегами». Скоро это стало его навязчивой идеей — как призыв, с каждым днем все более властный. В одно прекрасное утро он не выдержал, занял денег на дорогу и уплыл на «Аризоне», ни с кем не попрощавшись.

В отличие от большинства своих земляков он очень легко адаптировался в Сан-Франциско. Уже через несколько месяцев у него сложились новые привычки и взгляды, ему казалось, что он здесь родился и никогда отсюда не выезжал. И самое удивительное, что торжествующий материализм американцев очень скоро стал отлично уживаться с его самыми возвышенными требованиями в отношении искусства. Он открывал для себя то, в чем ни за что не признался бы в старой доброй Англии, например, что деньги обладают некой эстетической ценностью, что можно желать иметь много денег и при этом не отрекаться от Китса, Шелли и Тернера. Ему казалось, что в нем разрешился бы вечный конфликт между художником и банкиром. Разбогатеть! Отныне эта мысль овладела им полностью и не покидала его нигде.

Сан-Франциско открыл перед ним мир, достойный его амбиций. Мир, свободный от каких-либо заповедей или установленного порядка, где господствует только случайность.

Единственный храм — Биржа. Единственный бог — Золото. Здесь бедняк не смиряется со своей долей. Он хочет разбогатеть, причем как можно скорее. Надо играть, выигрывать, накапливать богатство и наслаждаться им. Только это достойно человека разумного и сильного.

Расточительный игрок, спешащий как можно скорее насладиться богатством, Чарлз Дункан жил от случая к случаю, между удачей и невезением, рискуя порой последним в надежде на повышение акций. Несколько раз приближался к цели, но терпел неудачу и начинал все сначала. Однажды, в момент везения, он познакомился с Уильямом Ролстоном, одним из богатейших судовладельцев. Ролстон начинал плотником, потом стал поваром на корабле, а теперь возглавлял одну из богатейших финансовых империй. Это был краснолицый великан, «Джон Булл» с вечной «гаваной» в углу рта. «Заходите как-нибудь ко мне в Белмонт!» — сказал он Чарлзу на ходу, после очередной партии в покер. Через день китаец-метрдотель в белом пиджаке докладывал хозяину о визите Дункана.

Вилла Ролстона «Сагамор», выстроенная в калифорнийском стиле, соединяла в себе элементы мавританского декора и китайской экзотики. Широкий портик венчал опоясывающую дом галерею с видом на бухту.

Пока гости попивали на террасе виски, Чарлз Дункан разглядывал роскошный пейзаж, открывавшийся за садами, теплицами и лужайками, обсаженными пальмами. Море, подобно изумруду, в оправе из холмов, сверкало в дрожащем воздухе. Небрежно и односложно отвечая на нескончаемое бахвальство хозяина дома, он предавался мечтам, когда из глубины дома послышалась музыка. В салоне с полузакрытыми ставнями кто-то начал на рояле первую часть «Фантазии» Шумана. И вдруг, как эхо, в памяти Чарлза возникли строки из Шлегеля:

Сквозь звуки,
Населяющие разноцветие Вселенной,
Доносится тихая мелодия,
И ухо прислушивается к секрету ее.

Аккорды обрушивались водопадом. Словно раскаты грома вытаптывали жалобную, едва слышную мелодию, то утопающую в бурном потоке, то вдруг возникающую и снова пропадающую в волнах подобно шепчущей пене. Лавину звуков сменила странная, душераздирающая песнь любви. Это не было анданте, готовое перейти в рыдание, какие стряпают посредственные музыканты, а протяжное, хриплое, почти дикое пение, надломленное и

неровное. Звуки вырывались фонтаном и улетали куда-то огненным дождем, то нервно-торопливо сталкиваясь, то словно случайно разгуливая по клавишам. Временами какой-нибудь из звуков, отделившись, повисал на краю молчания, как будто спрашивая о чем-то пустоту. С внезапными прорывами в ткани мелодии зазвучала финальная тема, быть может, самая прекрасная во всем произведении, выдавая бессилие автора высказать свою возвышенную страсть. В ней звучало поражение ангела в его борьбе с невыразимым чувством.

Когда умолк последний аккорд и Дункан пришел в себя, он заметил, что соседи его не переставали беседовать друг с другом. Разговор шел о дивидендах горнодобывающей компании «Комсток». А их толстозадые супруги с выставленными напоказ бюстами, усыпанными ожерельями, цепочками и кулонами, устроились в углу веранды, где поедали пирожные, без умолку болтая и хихикая, всем своим видом напоминая хохлатых попугаев. Дункан был поражен всеобщим безразличием: судя по всему, только он один и слушал музыку. А может, она ему приснилась… «Звуковой сон… — подумал он. — Кажется, такое бывает…»

Чарлз встал и хотел уже попрощаться с хозяином дома, когда заметил в глубине салона стройный девичий силуэт в строгом платье из белого перкаля. На девушке не было ни одного украшения, и вся она странно контрастировала с кричащими шелками калифорниек.

— Ну что, дорогой Дункан, вы уже нас покидаете? — громко промолвил Ролстон, подходя к нему с огромной сигарой в руках, унизанных перстнями. И, поскольку Чарлз колебался, добавил: — Кстати, вы незнакомы еще с мисс Грей. Она лучший преподаватель фортепиано в Сан-Франциско. Я пригласил ее давать уроки моей дочке. Мадемуазель Грей, позвольте представить вам моего друга Чарлза Дункана. Если вы не видели до сих пор живого выпускника Оксфорда, затерявшегося в мире финансов, то вот он перед вами, этот уникальный феномен.

— Вы играете божественно, мисс Грей, — сказал Чарлз с поклоном.

— О, спасибо. Я просто хотела дать послушать эту вещь мисс Дженнифер.

— Эта «Фантазия» Шумана прекрасна, не правда ли?

— Да, опус семнадцатый. Вы узнали?

Ее удивление было искренним. Значит, есть в Сан-Франциско человек, способный узнать «Фантазию» Шумана? Она не могла отвести от него удивленных глаз. Явно была поражена. Чарльзу стало забавно, что он вызвал в девушке такое любопытство. Он

находил ее очаровательной, но не пытался воспользоваться произведенным на нее впечатлением. Он привык к легким победам и добивался их с шутливой небрежностью. Но Мэри, некая романтическая и своенравная героиня из романов Вальтера Скотта (он инстинктивно угадал ее характер по волнению, с каким она играла), вовсе не была легкой добычей: уверенный взгляд, строгий овал лица, упрямый лоб под своевольными прядками волос, огнем горевших в солнечных лучах, — весь ее облик лишь подтверждал это. Однако Чарлз заметил, что, улыбаясь, ее губы неожиданно принимали шаловливо-лукавое выражение, а дерзкий носик забавно контрастировал с общим обликом. Отмеченные им черты сохранившегося детства его не успокоили, а, наоборот, смутили. «Этот человечек точно знает, чего хочет», — подумал он.

Мисс Грей уже закончила давать урок, и Чарлз предложил проводить ее до дома. Она согласилась без жеманства. По дороге она рассказала ему об Ирландии, о приключениях ее родителей, об их трудной жизни. А он говорил о стихах, живописи и философии. На следующий день они встретились вновь. На этот раз речь шла почти исключительно о музыке. Они обнаружили сходство вкусов. Выяснилось, что у обоих оказался независимый и восторженный характер. Одним словом, расставаясь, оба знали, что судьбы их должны соединиться. Это было предопределено. Через три месяца они поженились. Случилось так, что одновременно с женитьбой Чарлз потерпел очередной — четвертый крах из-за неудачной биржевой операции с «Вестерн силвер компани», занимавшейся эксплуатацией серебряных рудников в Неваде. Событие само по себе заурядное: в Сан-Франциско курс акций рудников менялся то и дело. Но Чарлз Дункан вложил в них все свое состояние, не проверив неизвестно откуда поступившую информацию. Он любил риск ради риска, игру ради игры. Однако на этот раз уже не смог подняться на ноги.

В семье Чарлза появились дети. Первая, Элизабет, родилась в 1871 году. Через два года — Августин, потом Раймонд и, наконец, Айседора, которую отец прозвал Мопсиком, за то, что ее личико было слегка приплюснутым, а носик торчал вверх, совсем как у мамы.

Вот уже несколько лет Чарлз жил на средства жены. Каждый вечер он выпивал свою порцию виски в салунах на Сакраменто-стрит, играя в покер, и до утра спорил о возможных доходах от шахт Офира в Мексике или Виргинии. Он все больше отдалялся от Мэри и детей, неделями не ночевал дома, особенно когда подряд приходили фул и флешь-рояль. Тогда он шел ужинать с

какими-нибудь шумными яркими красотками в «Эксельсиор».

Однажды, прогуливаясь в порту, он увидел, как причалил пароход «Хризополис». Когда огромное колесо его замерло, по сходням, осторожно ступая, сошла великолепная красавица. Она впервые приехала в Сан-Франциско. Чарлз галантно предложил ей показать город. Сперва она была сдержанна, потом заинтригована и, в конце концов, покорена прекрасными манерами этого джентльмена, остававшегося денди до мозга костей, несмотря на превратности судьбы. Барышня позволила взять ее под руку. Она была наследницей богача из Лос-Анджелеса и приехала посетить Йосемитскую долину. Ее сопровождали темнокожая гувернантка и верный пес Лабрадор. Через несколько дней она стала его любовницей.

Мэри и раньше догадывалась о неверности мужа, но, почувствовав, что на этот раз речь идет о серьезном романе, решила не сдаваться. Замужество для нее давно уже стало одним из тех повседневных несчастий, к которым в конце концов привыкают. Обычно после бурных сцен наступало своего рода примирение, когда и та и другая сторона старались не трогать друг друга. Но появление женщины, признаваемой всеми второй супругой… Это уже слишком! После открытого объяснения Дунканы решили разойтись. Было решено, что Чарлз поедет жить в Лос-Анджелес, где отец его юной подруги предложил ему место директора одного из предприятий, а Мэри останется воспитывать детей в Сан-Франциско.

— Береги Мопсика, — пробормотал он, когда они виделись в последний раз.

— Ее зовут Айседора, — отрезала мать.

ГЛАВА II

Чарлз Дункан сидит с дочкой на террасе кафе-мороженого, что на Монтгомери-стрит, и наблюдает, как она расправляется с огромной порцией мороженого, увенчанного горой взбитых сливок. Не спеша, терпеливо, маленькими кусочками она поедает лакомство, наслаждаясь с такой невозмутимой серьезностью, что отец не может сдержать взрыв хохота. А Айседора, поглощенная своим важным занятием, даже не поднимает головы. «До чего же она похожа на мать, — думает он. — Тот же овал веснушчатого лица с высокими скулами, тот же аквамариновый цвет глаз, такой же упрямый лоб и так же смешно вздернутый нос».

С тех пор как они увиделись час назад, они почти не разговаривали. Чарлз предложил ей пойти в центр Сан-Франциско. «Пойдем на Монтгомери-стрит, хочешь?» — спросил он. Она утвердительно кивнула. В глубине души идея прогуляться за руку с таким красавцем-отцом наполняла ее неописуемой гордостью.

Воспользовавшись тем, что девочка уничтожила наконец свой ванильный айсберг, он решился задать ей несколько вопросов.

— Сколько тебе лет, Мопсик?

— Почему вы называете меня «Мопсик»? Ведь это порода собак. Я знаю, у нашей соседки миссис Эллсуорт есть такая, с короткой шерстью и плоской мордой… Мне восемь лет.

— А твоим братьям? И сестричке?

— Элизабет — четырнадцать, Августину — двенадцать, кажется… а Раймонду — десять.

— Вы дружно живете?

— О, да! Даже все соседи зовут нас «клан», «клан Дунканов». А мне больше всех нравится Раймонд. Он всегда рассказывает всякие истории. Недавно рассказал про путешествие Одиссея. Так здорово!.. Фантастика!.. Он хочет когда-нибудь поехать в Грецию… И я тоже. Вы бывали в Греции?

— А кем он хочет стать, когда вырастет?

— Не знаю. Может быть, художником. Или актером.

— А ты, Айседора?

— Я? Я буду танцовщицей.

Интерес, с которым отец слушал ее ответы, расположил ее к подробному рассказу об их повседневной жизни. Так Чарлз узнал, что после его отъезда Мэри жила, давая уроки фортепиано детям богатых родителей. Прирабатывала вязанием шерстяных вещей для торговцев одеждой.

— Иногда я ей помогаю, — добавила девочка.

— Ты умеешь вязать?

— О, нет! Умею продавать. Недавно продала целую корзину рукавиц, шапок и свитеров, что связала мама. Я пошла по соседним домам, стучала в дверь, предлагала купить и принесла денег больше, чем маме предлагал постоянный продавец.

Рассказала она и о том, как ее посылали за покупками, когда в доме не было еды и не хватало денег. Она приносила котлеты на всю семью, не потратив ни цента. Удавалось ей и получать дополнительный кредит у булочника, а это было непросто, потому что слыл он ужасным скупердяем. Все эти приключения ничуть ее не унижали, а, наоборот, доставляли удовольствие. Ей нравилось играть, заключать пари, рисковать… Когда выигрывала, неслась домой с криками радости.

— Ну, теперь пора домой, — сказал Дункан.

В трамвае, по дороге на Десятую улицу, Чарлз спросил ее, давно ли они там живут.

— Нет, что вы! — отвечала она. — И года не прошло. Мы ведь часто переезжаем. Когда мне было пять лет, мы жили на Двадцать третьей улице. Мама не смогла заплатить вовремя, и нас выставили. Мы перебрались на Семнадцатую улицу. Но и там хозяева рассердились. У мамы было мало учеников, да и вязанье плохо расходилось. Мы нашли квартиру подешевле на Двадцать второй улице. Но прожили там только три месяца. Какое-то время жили в Окленде. А потом перебрались сюда.

— Тебе не надоело переезжать все время?

— Наоборот! Я не люблю, когда всегда одно и то же!

Перед входом в дом Чарлз крепко прижал ее к себе и поцеловал. Айседора почувствовала, как слезинка скатилась по его щеке.

— До свидания, Мопсик. Я приду завтра в это же время, пойдем опять есть мороженое.

Но ни завтра, ни в последующие дни Чарлзу не открыли в доме Мэри. Миссис Дункан категорически запретила Айседоре видеться с отцом. Так ее первое свидание с ним оказалось и последним. Стало известно, что вскоре он вернулся в Лос-Анджелес, и больше Айседора ничего не слышала о нем.

Через год она получила письмо. Отец прислал ко дню ее рождения подарок — стихотворение, посвященное ей. С тех пор к образу красивого мужчины с душистой бородой и с ухоженными тонкими руками прибавился еще более притягательный образ поэта, художника, влюбленного в красоту, чье стихотворение, вдохновленное Грецией, она постоянно повторяла про себя:

И на фронтоне храма

Горят лучи Авроры…
Отблеск утренней зари
Осветил морские глубины.
Смотри… Бледнеет мрак веков,
Встают брега свободной Эллады.
Греция возрождается внутри нас,
Вечная, свободная Эллада!..

Несмотря на свое отсутствие, а вернее, благодаря ему, Чарлз Дункан оставил в душе дочери неизгладимый след. Чего-то ей стало не хватать, что-то надломилось. Появилось ощущение своего отличия от других. Обычно девушки видят в замужестве высшее счастье, а перед ней был живой пример его оборотной стороны… Таинство брака, связывающее людей друг с другом на всю жизнь, представлялось ей теперь самым ужасным проявлением рабства. В двенадцать лет у нее в руках оказалась книга писательницы Джордж Элиот «Адам Вид». В отличие от большинства романов, заканчивающихся обязательно счастливым браком, в этой мрачной мелодраме, преисполненной морали, рассказывается о девушке, умертвившей собственное дитя, потому что оно было рождено вне брака, а затем и вовсе сбившейся с пути истинного. Это было откровением для Айседоры. С этого дня она решила посвятить свою жизнь освобождению женщин. Она будет бороться за их право заводить детей, не заключая союза, самого унизительного, какой можно придумать для свободного человека.

Можно сказать, что в каком-то смысле бунт в «клане» Дунканов был явлением постоянным: в нем выражалось искусство жить. Мэри стала душой и «клана», и бунта. По малейшему поводу ее ирландская кровь вспыхивала воинственным пламенем против пуританской тирании. Сама лишенная практического склада ума, ничего не понимающая и не желающая понимать в материальной стороне жизни, она и детей воспитывала в духе наивной неорганизованности и методичной небрежности. Неорганизованность вошла в правила жизни. Никаких твердых сроков, каждый вставал, ел и ложился спать, когда вздумается. Жилище Дунканов ничем не отличалось от цыганского табора: колченогие стулья, растерзанное кресло, матрасы, сундуки, корзины — вот все, что они могли спасти в спешке своих постоянных переездов. Главным в их мебели был большой черный рояль, царивший среди вечного беспорядка в жалкой гостиной.

Воспитанная в семье ирландских католиков, после развода Мэри совсем перестала ходить в церковь. Страстность, с какой

она веровала раньше, теперь поддерживала ее в отчаянной борьбе с Богом. Она стала воинствующей безбожницей, пылкой последовательницей Роберта Грина Ингерсота и читала детям страницы из «Ошибок Моисея». В своем антирелигиозном рвении она говорила им с самого раннего возраста, что Санта-Клаус, да и сам Господь Бог — выдумки, слепленные для обмана доверчивых душ. Только этому она их и научила. Да еще презрению к роскоши, привычке жить в беспорядке, незаурядному идеализму, вкусу к авантюрам, но больше всего — преклонению перед Искусством, Красотой и Грацией.

Такое воспитание, далекое от конформизма, затрудняло жизнь в Америке, затянутой в корсет пуританства, где господствовали страсть к наживе и нравоучительная ограниченность. Айседора поняла, как далека она от этого общества, когда ей исполнилось пять лет и мама впервые привела ее в школу. С первого же дня девочка почувствовала, что она не такая, как все, ей не о чем с ними говорить, она не может поделиться с ними своими мечтами и секретами. Школьная система предстала перед ней как нечто совершенно бесчеловечное. Всю жизнь будет она хранить самое ужасное воспоминание: школа, ох! Отвратительная учительница с недружелюбным взглядом отправила ее домой только за то, что девочка заявила перед всем классом, что Санта-Клауса не бывает. «Не бывает! Не бывает!» — кричала она всю дорогу домой со слезами на глазах. А мучительно тянущиеся уроки! А идиотская зубрежка! А твердая деревянная скамья! И пустой желудок… И ноги, мерзнущие в промокших ботинках…

К счастью, оставались домашние вечера. Они были и похожие, и разные, полные мечтаний и волшебства! Долгие, теплые сборища маленького «клана», сгрудившегося вокруг рояля под зеленым абажуром. С тех пор ни один самый радостный праздник — а в жизни Айседоры их было немало, да еще каких! — не мог сравниться с теми вечерами. Останется только ностальгическое воспоминание. Мэри играет Моцарта, Шуберта, Шопена, Бетховена. И время замирает. Порой она отрывается от клавишей и читает вслух целые страницы из Китса, Бёрнса или из «Клеопатры» Шелли: «Египет умирает, кровь льется потоком, и вместе с ней уходит жизнь…» Магия музыки и поэзии! Магия их дома! Магия этой женщины, слившейся со своими детьми в единодушном и светлом восхищении! Августин декламирует из «Гамлета» или из «Ричарда III», Раймонд бубнит на древнегреческом «Илиаду», Айседора танцует на музыку романса Мендельсона. Каждый вечер все пять членов семьи собираются в большой комнате, без огня, подобно посвященным, пришедшим

на какое-нибудь таинственное празднование. Церемония протекает по одному и тому же ритуалу. А то, что происходило с ними в течение дня, — несущественно, оно может быть вынесено за скобки. Настоящая жизнь — здесь.

Слишком занятая повседневными заботами — вязанием и уроками музыки в разных концах Сан-Франциско, — Мэри Дункан не имела ни времени, чтобы заниматься детьми, ни средств, чтобы нанять гувернантку. Она была наделена счастливой божественной беззаботностью и предоставляла детям полную свободу развиваться по собственному желанию, нисколько не волнуясь, что с ними будет потом. Так, лишенная из-за бедности материнской защиты, Айседора получила дар, какого не знают дети богачей: независимость и вольную жизнь.

В три часа пополудни школьный колокол возвещал конец уроков. Для Айседоры это было освобождением из тюрьмы. До завтрашнего дня. Едва выйдя из школы, она неслась со всех ног на берег моря, где бродила в одиночестве до наступления темноты. «Любуясь морскими волнами с раннего детства, — напишет она позже, — я впервые стала мечтать о танце. Я старалась подражать движению волн и танцевать в их ритме».

Одна перед лицом океана, она медленно отдается неотразимому возбуждению, пробегающему по всему ее телу. Закинув голову назад, набрав полную грудь морского воздуха, бежит она босиком, словно какая-то посторонняя сила увлекает ее. Прыгая вдоль берега, инстинктивно покоряется бурной симфонии моря. В покачивании рук и ног, в прогибах бедер и спины она открывает для себя гармонию движения волн. Великий ритм вселенной управляет и могучей жизнью океана, и хрупким танцем девочки. Айседора отдается этому единству с какой-то дикой радостью. Протянув руки, словно держа кубок, она ловит последние лучи солнца и опрокидывает их на себя широким жестом, целомудренным и смелым одновременно, как юная вакханка, приносящая жертву на алтаре Диониса. Устремив взгляд к горизонту, она опьяняется простором, ее окружающим, облаками, несущимися по небу, запахом водорослей, теплой влажностью бедер, буйством крови, бьющейся в висках, воздушным полетом своего тела, тяжестью волос, взмокших от пота. Это было восторгом и исступлением ребенка, одурманивающего себя собственным опьянением, без устали натягивающего струну желания до самой высокой ноты, на грани предела, за которым разрываются сердца… Обряд радости… Душа переполнена счастьем…

Своим танцем Айседора, не зная усталости, открывает утро мира.

Исключительно редкий случай: она родилась и танцовщицей, и… педагогом одновременно. Обновляя постоянно танец, которому ее никто не учил, она открывает в себе призвание учить танцевать других. Ей еще не было и десяти лет, когда мать увидела однажды, как она учит с полдюжины девчонок арабескам и девлопе.

— Во что ты играешь, Айседора?

— Не волнуйся, мама. Это моя школа танцев.

Тогда Мэри садится за рояль, и все танцуют мазурку. Но самое невероятное то, что эта новоявленная школа становится популярной. Дети из соседних домов приходят сюда регулярно, а родители даже платят скромное жалованье маленькой учительнице танцев. К двенадцатилетию Айседоры учеников стало так много, что Элизабет начинает ей помогать в качестве репетиторши. К тому времени Айседора бросает школу, где она ничему не научилась, и посвящает все свое время ученикам, помогающим ей зарабатывать немного денег. Она делает высокую прическу, носит юбки с турнюром и выдает себя за четырнадцатилетнюю. Стройная, с оформившейся фигурой и длинными ногами, она выглядит девушкой. Ее школа, сразу прослывшая новаторской, привлекает богатую клиентуру снобов Сан-Франциско, падких на авангардистские методы.

Между тем Айседора не имела никакой методики и не будет ее иметь в дальнейшем. Она просто предается фантазии и на ходу импровизирует фигуры. Главное — она старается согласовать свои движения с теми впечатлениями, что навевает музыка или поэзия. Один из первых ее танцев вдохновлен стихотворением Лонгфелло: «Запустил я стрелу в небеса». Это — целая программа!..

Однажды старая подруга матери, долго жившая в Вене, сказала Айседоре: «Ты напоминаешь мне Фанни Эльслер[3]». Затем, повернувшись к матери: «Дорогая Мэри, совершенно необходимо показать ее балетмейстеру…»

На следующий день ее записали в академию классического танца. Ужас! Плохо освещенный ветхий дом, станки вдоль зеркальных стен, расстроенный рояль. От нее требуют, чтобы она стояла на пуантах, хотят изломать ей тело нечеловеческой гимнастикой. Она — на дыбы. Пуанты? Но ведь в жизни никто не ходит на пуантах! Это неестественно! К тому же что может быть глупее, чем все эти антраша, же-те-батю, фуэте, балансе!.. Ересь какая-то. Ужасное святотатство. Бездушная механика. Оковы, деформирующие тело и сдерживающие его порывы. В обучении танцам она признает только одну школу — природу и одного учителя — Терпсихору. Искусство — это прежде всего

освобожденное тело. «Я противник балета, — заявила она матери. — Это фальшивый, абсурдный жанр, не имеющий ничего общего с искусством. Я хочу уйти из этой школы!»

Понятия Искусство и Красота никого из Дунканов не оставляют равнодушным, поэтому Мэри Дункан решает забрать дочь из балетной школы. И больше ноги ее там не будет. Айседора заимствовала учение Франсуа Дельсарта[4], которое восприняла через труды его последователей. Как и Дельсарт, она считает, что главное — не работа ног, а движения торса, этого эмоционального центра тела, места, откуда излучается энергия, где сходятся все нервы и интеллект. Солнечное сплетение и принимает и распространяет все наши чувства, командует нашими действиями. Оно же является центром пластической выразительности. По мнению Дельсарта, искусство танца не может претендовать на нечто возвышенное, не опираясь на культуру и философию. Убежденная, как и он, в существовании постоянной связи между телом и духом, Айседора перечитала за несколько месяцев множество книг в публичной библиотеке. Диккенс, Теккерей, Шекспир, греческие трагики, французские, испанские, итальянские классики — вот ее чтение. Позже в греческом искусстве — чистой и свежей прелести дохристианской цивилизации — она найдет подтверждение своей теории.

Августин без ума от театра и мечтает стать актером. Он ставит спектакли и играет в них с сестрами и братом Раймондом. Соседи и друзья заходят из любопытства посмотреть, потом приходят еще раз, их становится все больше. Скоро семейная квартира не вмещает всех желающих, и молодые люди снимают сарай, где устраивают концерты, посвященные поэзии, музыке и танцам. И вот уже вся округа теснится в деревянном сарае. Чудеса находчивости возмещают нехватку средств. Свежесть, спонтанность, поэзия, веселье, оригинальность и талант актеров восполняют их неопытность.

«Мы уже не любители, — воскликнул как-то один из членов „клана“. — Пришло время ставить настоящий спектакль, на настоящей сцене, перед настоящей публикой!»

Кто сказал это первым? Не важно! Предложение принимается с энтузиазмом. На следующий же день начинаются шумные и веселые репетиции. Рой зашумел в улье. Миссис Дункан вдохновенно берет бетховенские аккорды, Элизабет воркует старинные ирландские баллады, Раймонд возносит к небу оды Пиндара, Августин в роли принца Датского, с затуманенным взором и кухонным ножом в руке, вопрошает в сотый раз, быть или не быть, а сестра их Айседора, грациозно сомкнув руки кольцом и вдохновенно вытянув стан, готовится принести себя,

как Ифигению, в жертву. Все это среди криков, игры, слез и безудержного смеха. В каждом живет дух «клана», он охраняет их и поддерживает.

Через месяц спектакль в основном готов. Семейная труппа собралась в турне по западному побережью: Санта-Клара, Санта-Роза, Санта-Барбара… У каждого своя задача, и каждый справляется с ней отлично. Айседора танцует. С упоением, словно в каком-то трансе. Впервые ее танец демонстрирует не только владение своим телом, но и умение приковывать к себе внимание людей. Она начинает осознавать свою власть над ними. Ей только что исполнилось шестнадцать лет.

В целом турне проходит успешно. Отныне жизнь уже пойдет по другой колее. Надо идти дальше, подниматься выше… Почему бы теперь не попробовать себя в Нью-Йорке? Они собирают скромные доходы от первого спектакля, продают старую мебель, и вот наконец в один прекрасный день Мэри приходит сияющая:

— Дети, ура! Вот пять билетов до Нью-Йорка! Послезавтра уезжаем!

ГЛАВА III

Нью-Йорк, 1895 год. Слишком много всего над головой. Во-первых, — поезд на стальной эстакаде, пересекающий весь город с громоподобным грохотом. На крышах домов — лес металлических конструкций, удерживающих световую рекламу. Гигантские буквы зигзагами освещают облака. В небе возникают и дрожат слова. Фантасмагория электрических молний. Все это потрескивает, сверкает и скатывается водопадами с вершин небоскребов. Световые автоматы прыгают, дергаются, жестикулируют, взрываются и исчезают в холодном блеске северного утра. Там, наверху, ночь коротка.

А из глубины кратера, где бродит и кипит расплавленная людская масса, слышится неумолкающий глухой крик, какой-то тревожный призыв, заглушаемый ураганом грохота несущихся вагонов.

Первое впечатление было как от тяжелого удара, но оно быстро прошло. Перед лицом этого чудовища Дунканы с их обычной беззаботностью решили, что они приручат его. Кстати, успокоились они в первый же вечер по приезде, когда развязали свои узлы с привычным семейным скарбом: книги и партитуры, Платон, Теккерей, Брамс, Шопен вперемешку с пестрыми театральными лохмотьями, греческими туниками, обтрепанными шалями, гирляндами и тамбуринами. Денег у них было только на один месяц существования, а потому поселились они в одном из частных семейных пансионов за двадцать долларов в переулке за Шестой авеню. Там они оказались, как и в большинстве подобных заведений, в пестром окружении. Единственное, что объединяло всех постояльцев, так это стремление не платить по счетам, а потому они жили в постоянном страхе быть выброшенными на улицу.

Найти место в нью-йоркском театре, даже для очаровательной восемнадцатилетней калифорнийки, полной энтузиазма и уверенности, равноценно отчаянному вызову или глупому пари. Особенно если нельзя сослаться на какое-нибудь знакомство, если нет рекомендаций и никакого опыта на сцене, если называешься танцовщицей лишь потому, что решила стать ею, если за плечами больше туманных теорий, чем часов, проведенных у станка, и если, в довершение всего, ты самонадеянно собираешься совершить революцию в хореографическом искусстве. Очень скоро юная грация Айседора натолкнулась на холодно-бесчувственных режиссеров, до которых она была допущена. «Да нет, барышня, вы же видите, я занят.

Зайдите в другой раз или оставьте ваш адрес». Хорошо еще, если дверь не захлопывали перед носом.

С каждым днем Бродвей казался ей все более неприступным, и с каждым днем рассеивался мираж роскошного Вавилона и его поддельных драгоценностей. Она возненавидела этот мир показухи и мишуры, противный ее пониманию танца. Она терпеть не могла декораций, мечтала о возвращении к ритму природы и правде тела. Что общего могло быть у нее с этим царством картона и папье-маше? Вспоминались долгие одинокие прогулки вдоль калифорнийских берегов, босиком, с волосами, пропитанными соленым ветром океана. И возвращались терпение и вера в будущее. Ведь эту веру она заимствовала от океана, неба, облаков, которые не могли ошибиться, не могли ее обмануть. Начинался новый день, и она вновь шла по Нью-Йорку, ободренная, уверенная в себе и в своем призвании.

Однажды вечером, вернувшись домой в изнеможении (экономя на транспорте, она всегда ходила пешком), Айседора нашла только что полученную телеграмму. Текст был краток: «Жду вас в конторе завтра в десять. Августин Дейли».

За четверть часа до назначенного срока Айседора прохаживалась перед входом в театр Августина Дейли, на Тридцать четвертой улице. Это был отнюдь не престижный театр, но его владелец пользовался доверием постоянной публики, состоящей в основном из представителей среднего класса. Торговые и банковские служащие находили здесь удовлетворение своих претензий на культуру, не опасаясь нарваться на новаторство. Дейли внушал им доверие отсутствием гениальности и способностью быть доступным для всех. Он ничего не свергал и никому не мешал. Его постановки по праву считались образцом того, что принято считать классической традицией. Короче — честный лавочник в театральном ремесле. «Таких людей, как он, должно быть больше», — кричали те из его сторонников (и было их немало), которых возмущали дерзости европейских авангардистов и евреев-интеллектуалов.

— Войдите!

От грубого голоса сильнее забилось сердце Айседоры, но она овладела собой. Грузный коротышка лет пятидесяти с гладким, как глобус, черепом, на кончике носа — пенсне. Он долго и бесцеремонно разглядывал ее. «Если тронет, дам пару пощечин», — подумала Айседора. От этой мысли она сразу успокоилась, силы вернулись к ней. Однако он не сделал ничего подобного.

— Мисс Дункан, я готовлю сейчас спектакль-пантомиму с участием театральной звезды Джейн Мэй, которую специально

для этого приглашаю из Парижа. Может быть, там найдется роль и для вас.

Дейли утаил, что актриса, приглашенная на эту роль, отказалась в последний момент, и теперь ему приходится искать ей замену. Перебирая картотеку, он случайно остановился на имени Айседоры Дункан. Возраст подходил. Остальное добавили слова секретарши, запомнившей ее: «Довольно хорошенькая, высокая, худенькая, но с круглыми щечками, глаза большие, серо-зеленые. К тому же с характером, за словом в карман не лезет, неглупа. В общем, типичная ирландка… представляете… Пригласить можно…»

— Но, сударь, я не мимическая актриса, — воскликнула Айседора, — я танцовщица. Я заново открыла танцы древних греков…

— Это то же самое, — резко отрезал Дейли. — Я плачу своим актерам пятнадцать долларов в неделю. Подходит?

Запасы Дунканов были на исходе. Элизабет, Августин и Раймонд никак не могли найти работу, а у Мэри было только три ученика. Айседора тотчас подписала контракт.

— Репетировать начинаем в понедельник, в девять часов. Приходите вовремя. За малейшее опоздание — штраф.

Айседора терпеть не могла пантомиму, считала ее самым вульгарным, неправдоподобным и смехотворным жанром. «Если они хотят что-то сказать, почему не говорят? — думала она. — Почему столько ненужных жестов, как в доме глухонемых? Абсурд! Движение самодостаточно. Это самый благородный, самый лиричный способ выражения своих чувств. Заменить движение языком — значит извратить и принизить чувства, лишить их независимости и величия».

Но ей пришлось учить свою роль по брошюре, полученной от Дейли. Три дня, остававшиеся до первой репетиции, она, запершись одна в комнате, отрабатывала мимику перед зеркалом. Временами находила себя такой смешной, что разбирало желание расхохотаться. Но натужное веселье обычно заканчивалось истерикой. Она бросалась, рыдая, на кровать и, зарывшись головой в подушку, повторяла сквозь слезы: «Никогда не сумею! Никогда!.. Никогда!..»

В роковой день все получилось так, как и следовало ожидать, — то есть плохо.

Маленькая, белесая и пухлая, с чересчур ярко накрашенными щеками и мелкими, словно зернышки риса, зубами, затянутая в скрипучую тафту, с многоэтажной прической из светлых завитушек, спадающих на лоб, в широкополой муслиновой шляпке, Джейн Мэй была занята исключительно эффектными

позами. Болезненно озабоченная лишь собственной рекламой, псевдоактриса со скрипучим голосом и шепелявой дикцией (к счастью, она играет в пантомиме, подумала Айседора, увидев и услышав ее) третировала всех окружающих безобразными приступами злости, во время которых она топала ногами в туфлях на высоченных каблуках.

С первых же сцен Айседора растерялась. Когда ей надо было стукнуть изо всей силы себя по груди, чтобы сказать «я», указать пальцем на партнера, чтобы сказать «вас», и прижать руку к сердцу, чтобы передать слово «люблю», она до того растерялась, что Августин Дейли был вынужден сам подняться на сцену и показать эти жесты. Ощетинившись, как кошка, готовая наброситься на добычу, Джейн Мэй вперила в дебютантку выпученные злые глаза и, топнув ногой по подмосткам, отчего поднялась туча пыли, заявила:

— Дейли, нет нужды упорствовать, эта девка никогда не сумеет играть!

Еле сдерживая слезы возмущения, Айседора быстро спустилась в зал и хотела уже взять свою шаль, лежавшую на кресле в партере.

— Что вы делаете? — крикнул со сцены Дейли, сделав рукой козырек, чтобы разглядеть ее сквозь огни рампы.

— Иду домой, сэр. Мисс Мэй права: никогда я не сумею сыграть.

— Постойте! Попробуем еще раз.

Она вспомнила, что мать задолжала за квартиру и скоро их могут выставить на улицу, и вернулась по трем ступенькам, отделявшим сцену от зала. Дейли схватил ее за руку и потащил к Джейн Мэй. Показав ей искаженное горем лицо девушки, он сказал:

— Вы же видите, она может быть выразительной, когда плачет. Привыкнет. Давайте все с начала!

Шесть недель продолжались репетиции. Джейн Мэй не переставала злиться, а Дейли проявлял все больше снисходительности и покровительства по отношению к Айседоре, порой подбадривал ее, ворчливо приговаривая: «Не расстраивайтесь, уже лучше». Иногда даже защищал ее от нападок примадонны, получая в ответ злобное шипение. Независимая по характеру, откровенная и беспечная, юная ирландка нравилась ему несравненно больше, чем скандальная халтурщица, с которой он по привычке коротал ночные часы. Не раз ему хотелось поцеловать Айседору в губы, аппетитные, как спелый плод, вдохнуть аромат ее шеи, потрепать губами непокорные прядки волос, выбившиеся на затылке. Но что-то его

удерживало, он и сам не знал что.

Наконец настал день премьеры перед публикой, состоящей из надутых буржуа с их разодетыми супругами в перьях, боа и рюшах. Джейн Мэй играла роль Пьеро. Тело, утонувшее в просторной кофте из белого атласа, раскосые глаза, нарисованные на белом лице, ярко-красный улыбающийся рот-треугольник, огромный воротник из серебристой ткани, — все это делало ее похожей на свалившегося с луны порочного грешника. В голубом шелковом костюме в стиле Директории, в светлом парике и невероятной соломенной шляпе, украшенной подобно корзине с цветами, Айседора должна была в ходе любовной сцены три раза поцеловать Пьеро в щеку. Она сделала это с таким усердием, что губы оставили красный след на маске из свинцовых белил. Когда занавес опустился, Джейн Мэй набросилась на нее и отвесила три звонкие пощечины, после чего вышла на авансцену поприветствовать зрителей, улыбаясь во весь рот, рассыпая улыбки и воздушные поцелуи направо и налево с ужимками балованного ребенка.

Вторая картина начиналась длинным «монологом» главной актрисы. Спрятавшись за кулисами, Айседора во все глаза глядела на ее выход. Вдруг ей показалось, что она впервые видит эту сцену. Несколько минут она сидела словно зачарованная. Казалось, у Пьеро нет туловища: разве можно так назвать колышущуюся туманность в девственном венчике, заворачивающуюся сама в себя? Нет у него и ног. Пьеро не ходит, он летает, плывет, витает, крутится, скользит, распространяется… Словно вращающееся облако, винтообразное завихрение из взбитых сливок. Под саваном нет костей, нет прожилок у этой туберозы. С помощью пантомимы Джейн Мэй придала Пьеро некое отрицательное существование, словно он — бледная тень ночного мира. Пьеро-привидение. Пьеро-химера. Неосязаемая форма. Жемчужное облако. Космическая пыль…

«Какой танцовщицей она могла бы стать!» — подумала Айседора.

За все время, пока шли репетиции, она не получила ни одного цента. Дунканов выставили на улицу из семейного пансиона, и они сняли две пустые комнаты на Сто восьмидесятой улице в ожидании первых гонораров от Дейли. Не смея попросить аванс, Айседора жила фактически без денег, ходила в театр пешком через весь Нью-Йорк, в час обеденного перерыва уединялась в гримерной, там засыпала от изнеможения, а потом опять репетировала до вечера, с пустым желудком и ватными ногами. Через неделю после генеральной она получила наконец первую зарплату. Вовремя!..

После трех недель репетиций труппа уехала в турне. Айседора ехала со всеми за ту же плату: пятнадцать долларов в неделю. Половину она отправляла матери, остальное оставляла себе на расходы: пятьдесят центов в день. С таким нищенским заработком нельзя было и думать о том, чтобы останавливаться в отеле. Приехав в новый город, она обходила его с чемоданом в руке в поисках дешевого пансиона. Чаще всего попадала в подозрительные гостиницы, спала в мансардах, забаррикадировав дверь зеркальным шкафом.

Отвратительные театры, тошнотворные гримерные, бесконечные ожидания на перронах вокзалов и в грязных кварталах окраин, пересохшее горло, мятые юбки, волосы, растрепанные после ночи, проведенной в вонючих вагонах. Тотчас по приезде, шатаясь от усталости, надо было снова репетировать до самого представления. Таков приказ мисс Мэй. Как бы ни была она утомлена переездом, она не отступала ни на шаг в своей тирании. А на следующий день они ехали в другой город, такой же безразличный к их представлениям, как тот, из которого они только что уехали, в другие такие же замызганные театры, с такими же грязными гримерными… Это превращалось в кошмар.

В те дни Айседора познала всю глубину уныния и отчаяния. Не приведет ли нищенская суета к крушению ее идеалов? Она, мечтавшая о свободном мире, была обречена на вечное прозябание в жалкой кучке статистов, среди несчастных девиц, вынужденных выставлять напоказ свои кривые конечности в застиранных трико. Сперва она жалела их, но в конце концов возненавидела этот животный мир, несчастный и аморальный. Ее тошнило от их потных телес в пестрых лохмотьях из грязной костюмерной, от прыщавых и бесцветных лиц в гриме.

Всеми силами она гнала прочь от себя мысль о провале, исподволь точившую ей сердце. «Главное — не дать себя втянуть. Не реагировать. Я на них непохожа. У меня нет ничего общего с этими созданиями. Ни с этой шлюхой Джейн Мэй, ни с этой свиньей — Дейли. К тому же я — не актриса. Я — танцовщица. Мне только девятнадцать лет. Я верну танцу благородство Древней Эллады. Я создана для искусства. Только для него!»

Искусство! Это магическое слово изгоняло демонов отчаяния. Чтобы не втягиваться в жизнь труппы, она была за кулисами всегда одна, с книгами Платона, Эсхила или Еврипида. Чаще всего она даже не читала. Открытая на коленях книга отгоняла от нее разрушительные миазмы кулис. Она служила ей и талисманом, и оплотом в борьбе с силами Зла. Сидя, уткнувшись носом в «Размышления» Марка Аврелия, тогда как в трех метрах от нее продолжалась абсурдная мимодрама, она чувствовала себя

неприкасаемой, окопавшейся в тайном мире, в укрытии от внешних нападок. Среди товарищей она слыла оригиналкой, и это придавало ей уверенности. «Раз они не решаются заговаривать со мной, — полагала она, — раз принимают меня за сумасшедшую, значит, я действительно отличаюсь от них».

Именно в ту пору Айседора начала вести тетрадь с замечаниями и наблюдениями. Это было своеобразным средством самозащиты. Испытывая к искусству чувство, близкое к религиозному, она пыталась выразить таким образом свои убеждения, развивала теории и принципы, излагала надежду изменить жизнь людей во всем: в морале, в одежде и питании.

Турне продлилось около двух месяцев. Для Дейли оно обернулось полным крахом, Айседора же оказалась выброшенной на улицу в поисках заработка. Прежде чем с ней расстаться, Дейли спросил ее о планах, и она попыталась изложить ему свои мысли о танце. На этот раз он дал ей высказаться, однако не придал ее словам никакого значения. Затем он предложил ей новый ангажемент: он собирался поставить для очередного турне «Сон в летнюю ночь».

— Раз вам так хочется, — добавил он, — вы сможете танцевать в сцене фей.

По правде говоря, феи ничуть не интересовали Айседору, ей хотелось прежде всего выражать высокие человеческие чувства. Но это было все же лучше, чем пантомима. И поскольку благородные идеалы никогда не приносили дохода, а жить на что-то надо, она согласилась танцевать скерцо Мендельсона, сопровождающее сцену в лесу перед самым появлением Оберона, короля эльфов, и его жены Титании. Дейли не возражал и даже предложил ей надбавку. Теперь она будет получать двадцать пять долларов в неделю.

До отъезда в турне предстояло дать несколько представлений в Опере на Шестой авеню. На Айседоре была длинная туника из газа, вышитая золотом. Ей также нацепили два больших крыла из серебристого переливающегося тюля, натянутых на деревянные рамки, которые держались на лопатках с помощью двух лямочек, связанных между собой незаметной ленточкой. Эти ангельские атрибуты сильно мешали движениям рук, задерживая их порой в самых неожиданных положениях. Кроме того, при каждом движении они издавали постукивание: так-так-так…

Перед премьерой Айседора решила освободиться от этих мешающих ей аксессуаров. Выйдя на сцену, она почувствовала, как свежее дыхание счастья словно обдало ее с головы до ног. Инстинктивно она понеслась навстречу океану, словно колыхавшемуся у ее ног в неосвещенном зале. Казалось,

невидимые призывы вели ее, и оставалось лишь покорно отдаваться той музыкальной мечтательности, в которой Мендельсон следует за Шекспиром. Грацией танца, в полном слиянии с музыкой, воссоздавала она воздушный мир, полный сильфид и волшебных цветов. Долгая овация наградила ее сольный танец. За кулисами ее ожидал разъяренный Дейли.

— Что все это значит? Почему не надели крылья?

— Они мешают мне танцевать.

— Вы называете это танцем? Предупреждаю, мисс Дункан, не пытайтесь повторить такое. Мы не в мюзик-холле!

На следующий день, когда она вышла на сцену, рампа была наполовину выключена, так что из зала видно было лишь расплывчатое белое пятно, витающее в полутьме. В действительности больше всего Дейли боялся не успеха Айседоры, а гнева своей примадонны (и бывшей любовницы) Ады Риэн. Эта заокеанская Сара Бернар, любимица публики с походкой императрицы, прославилась на всю Америку скандалами с директорами театров, о чем с явным удовольствием распространялись репортеры светской хроники. Аплодисменты, доставшиеся юной танцовщице, могли быть для нее смертельным ударом, но богиня предпочла отреагировать на эту неприятность холодным презрением. Встретив в коридоре свою слишком юную соперницу, она пронзила ее змеиным взглядом, подобрала крохотную собачонку, болтавшуюся у нее под ногами, поправила соболя и исчезла, оставив аромат дорогих духов.

После двух недель представлений в Нью-Йорке спектакль «Сон в летнюю ночь» отправился в долгое путешествие по Соединенным Штатам. Опять начались невеселые скитания, хмурые дни, жалкие пансионы. Опять тревога и одиночество. Айседора все больше страдала, находясь между Дейли, чья активность по отношению к ней нарастала (поистине она предпочитала видеть от него грубость), и Адой Риэн, относившейся к актерам труппы, как к рабам. За год совместной работы «царица», как ее прозвали, не сказала ни одного доброго слова в адрес Айседоры. Впрочем, и остальных она не больно жаловала. Утомившись отвечать каждый день на надоедливые приветствия своих коллег, примадонна вывесила объявление: «К сведению членов труппы: можно не здороваться с мисс Риэн». Все с облегчением вздохнули.

Что касается остальных партнеров, Айседора страдала больше всего от их серости. Ей было трудно переносить не сравнимое ни с чем тщеславие, каким актеры прикрывают свое ничтожество, подобно тому, как они прячут под гримом свои состарившиеся лица. И хотя она отлично знала, что глупость,

самомнение и невежество всегда были широко распространены в театральном мире, она не могла привыкнуть к этому. Она не понимала, как можно декламировать текст, причем порой отлично декламировать, не понимая в нем ни слова. В этом несоответствии искусства и личности артиста она усматривала поразительную аномалию.

Тем не менее она подружилась с семнадцатилетней актрисой-дебютанткой Мод Уинтер, на худощавом личике которой сияли огромные светло-голубые глаза. Она никогда ни на что не жаловалась, но ее несчастный вид вызывал желание помочь ей. Мелодичным голоском она неторопливо рассказывала простые и трогательные вещи. Питалась она только апельсинами и отказывалась от всякой иной пищи. Айседора опекала ее, помогала ей от всего сердца. Чтобы увидеть слабую улыбку на ее личике, Айседора была готова пожертвовать всем. Вскоре после окончания гастролей она узнала, что девушка умерла от чахотки. Так в ее жизнь впервые вошла смерть. У нее было печальное лицо несчастного ребенка…

Временами Айседора думала: «Я никогда не смогла бы полюбить актера». Для этого надо было бы отказаться от себя самой: ведь актер ищет в другом лишь отражение своего образа. До двадцати лет мечтала она о любви, так ее и не познав. А ведь в Сан-Франциско, когда ей было около четырнадцати лет, ей казалось, что она была без ума от молодого провизора в аптеке на Главной улице. Звали его Верной. Она учила его так называемым «бальным танцам»: вальс, мазурка, полька… и тайком проделывала пешком километры, чтобы пройти, хоть на минуточку, мимо аптеки. Разузнала его домашний адрес и убегала из дома по вечерам только для того, чтобы посмотреть на его освещенное окно. Да, это была настоящая страсть. Она безумно любила Вернона. «До гробовой доски», — писала она в своем дневнике. Через пару лет она узнала, что сказочный принц женился на барышне из буржуазной семьи в Окленде.

А еще через пять лет, во время первого турне с театром Дейли, она повстречалась с поэтом и художником польского происхождения, Иваном Мироцким. Их идиллия началась под знаком Шопена, продолжалась как баллада, закончившись, как Двадцать четвертая прелюдия, погребальным звоном. Оба написали друг другу десятки писем. Айседора описывала ему свое одиночество, свою печаль. А все Шопен!

Во время турне в Чикаго со «Сном в летнюю ночь» она разыскала своего поляка с огненным взором. В дни, когда не было репетиций, они гуляли рука об руку в парке. Айседора чувствовала, что она возвращается к жизни. Ей казалось, будто

она вышла из бесконечной ночи, полной колдовской нечисти, и как по волшебству оказалась в цветущем саду. Она наслаждалась теплым весенним воздухом, не думая о том, что через несколько часов надо будет вновь окунуться в тень кулис и дышать тяжелым смрадом обмана.

Были дни, когда она часами слушала Ивана, облокотившись на рояль и подперев рукой подбородок, с нежностью глядела на него, а солнце золотило его светлые волосы, пока она разглаживала их по обе стороны ото лба. Шопен, опять и опять Шопен!

Когда пришло время расставаться, Иван заговорил с ней о женитьбе. Он обязательно разыщет ее в Нью-Йорке, как только она вернется туда с гастролей, и они поженятся. Она поклялась ему в вечной верности, они нежно распрощались, и она пошла в театр. В тот же вечер она написала матери. Письмо о Мироцком с описанием ее счастья заняло целых восемь страниц.

Через несколько недель труппа Августина Дейли вернулась в Нью-Йорк, в помещение на Тридцать четвертой улице, как измученная лошадь возвращается в стойло. Тотчас по приезде Айседора послала краткую весточку Ивану. Ответа не последовало. Прошло несколько дней. Никаких вестей. В отчаянии попросила она своего брата, делающего первые шаги в журналистике, навести справки о своем женихе. Раймонд узнал через агентство печати, что Иван Мироцкий вот уже три года женат. Его жена живет в пригороде Лондона в «Стелла-хаус».

Через год Айседоре сообщили, что он завербовался добровольцем на войну и умер от тифа в лагере новобранцев.

ГЛАВА IV

Тем временем жизнь начинает обустраиваться. «Клан» в составе пяти человек живет в просторном ателье художника с ванной (неслыханная роскошь!) возле Карнеги-холл. Элизабет дает уроки танцев, Августин играет в театральной труппе и целыми неделями пропадает на гастролях, Раймонд пишет статьи в газеты и продолжает изучать древнегреческую поэзию. Чтобы удобнее было работать, они отказались от мебели и спят на пружинных матрасах, а постель на день убирают за большие занавеси, натянутые вдоль стен. Для сокращения расходов на ателье, они сдают его по часам, а сами в это время идут гулять в Центральный парк. Иногда им приходится прогуливаться там достаточно долго, даже если идет снег, прежде чем они могут вернуться домой.

Что касается Айседоры, то Августин Дейли пригласил ее на следующий спектакль «Гейша». В старой как мир истории рассказывается о куртизанке Кацураги, знаменитой гейше, влюбившейся в рыцаря Нагойя во время посещения им квартала куртизанок. Пьеса, рассчитанная на публику попроще, — только предлог для показа пышных костюмов и декораций. Дейли очень рассчитывает на эту ярмарочную японщину, чтобы наполнить кассу своего театра. Айседора играет в спектакле маленькую роль, по ходу которой должна петь в составе квартета. Она не способна издать ни одного нефальшивого звука, поэтому только шевелит губами, принимая очаровательные позы, а трое ее коллег надрываются в пении, делая ужасные гримасы.

В ходе репетиций зал, где преобладают красный и золотистый цвета, временами выглядит пугающе. Сидящие в полутьме загримированные статисты кажутся сошедшими с лакированных ширм. То тут, то там виднеются профили-привидения, словно маски Хокусая. Однажды во время перерыва Дейли застал Айседору плачущей в углу гримерной. Он подсел к ней и самым нежным голосом, на какой был способен, спросил:

— Что случилось, малыш?

— Случилось, что не могу я больше играть в идиотских пьесах. Это не мое призвание, я уже говорила.

Он пытается ее успокоить. Конечно, она права. Ему тоже не нравится эта «Гейша». Пьеса плохая, он сам знает. Но театр не может посвятить себя исключительно искусству, надо и деньги зарабатывать… Говоря все это, он трогает ее за плечо и медленно опускает руку вдоль спины до пояса. Она резко вскакивает:

— Перестаньте, Дейли. Я никогда не буду вашей любовницей,

слышите? Никогда! Я не из тех девиц, что ложатся с вами, чтобы получить роль. И вообще, мне наплевать на театр! Каждый вечер — одни и те же слова, одни и те же движения… Сказать по правде, это сплошная галиматья. Да еще написанная вычурным языком!.. Меня тошнит от этой глупости. Я создана для танца, понимаете?

— Тогда вам нужно было учиться на курсах, отрабатывать движения у станка…

— Никогда! Танец — это не механические упражнения. Много людей видели вы в жизни, ходящих на цыпочках? Или задирающих ногу выше головы? Ну? Так почему же требуете таких поз от танцующего? Я не кукла-марионетка с двигающимися конечностями.

— Да я ничего не требую, Айседора. Просто я полагаю, что танец, как всякое искусство, требует учебы, и пока вы…

— Искусство?.. Да знаете ли вы, о чем говорите?.. Искусство — это прежде всего ритм природы, движение волн, ветра, облаков, цветов, всего, что живет вокруг нас, до мельчайших частиц материи… Именно там надо искать самые прекрасные формы, чтобы затем найти то, что верно передаст душу этих форм… Главное — это соотношение между бурей и страстью, между бризом и нежностью, между телом и вселенной. Душа танца — это одновременно согласие и исступление. Это нельзя придумать… это создается, открывается… по вдохновению, благодаря энергии, которую мы черпаем из вселенной. И еще скажу: это достигается трудом. С вашими декорациями и побрякушками вы никогда не откроете истинную красоту! Танец, Дейли, это Дионис! Аполлон! Это Пан! Вакх! Афродита! Вы слышите меня, Дейли… А-фро-ди-та!

Сама не замечая, она повысила голос, и последние слова уже выкрикнула. Теперь все ее слышали и не сводили с нее глаз. Дейли спокойно выслушал разъяренную девушку. Никогда еще он не видел ее такой прекрасной: глаза пылали гневом, щеки разрумянились, губы дрожали от ярости… Поистине она была восхитительна! Он не все понял в этом потоке беспорядочных и почти бессвязных слов, но не мог не восхищаться ею. Впервые он испытывал перед женщиной чувство, похожее на уважение. Он долгим взглядом посмотрел на нее, потом молча спустился в зал, взял в руки пьесу, поправил очки и хрипловатым голосом сказал:

— Все на сцену, второй акт, пожалуйста!

На следующий день Айседора подала заявление об уходе. Когда она выходила из его кабинета, Дейли подошел к ней, протянул руку и проговорил хриплым голосом: «Удачи тебе, Айседора, перед тобою великий путь».

Отделавшись, наконец, от театра, она со всей страстью вернулась к занятиям танцем. Мать аккомпанировала по ночам ее упражнениям, ибо, вопреки распространенной легенде, искусство Айседоры никогда не было свободно от дисциплины. «Двадцать лет жизни, — напишет она позже, — я отдала непрестанному труду, служа моему искусству, причем значительная часть времени ушла на физическую тренировку, о которой зрители не подозревают». Она никогда не смешивала цель и средства, искусство и ремесло; никогда не считала танцем то, что, по ее мнению, было лишь техникой танца.

Через некоторое время она открыла для себя музыку молодого композитора Этельберта Невина и начала работать с ним над его произведениями «Нарцисс», «Офелия» и «Русалки». Поначалу он сдержанно отнесся к ее работе, ибо музыка, по его мнению, создается не для танцев. Однако скоро убедился, что хореография привносит в его искусство нечто новое, и предложил ей выступать вместе: дать несколько концертов в Малом зале Карнеги-холл. Снобистская публика повалила валом. Всех восхищала смелость юной дикарки, посмевшей расстаться с традиционной пачкой и пуантами и танцевать в простой греческой тунике, босиком и с распущенными волосами.

После премьеры посыпались ангажементы. Нью-йоркская элита приглашала ее выступать в своих салонах. Миссис Астор, одна из богатейших женщин США, прислала приглашение в свою резиденцию в Ньюпорте, изысканном курорте. Под аккомпанемент матери Айседора танцевала, а Элизабет и Августин декламировали стихи Омара Хайяма. Ее зрители — сливки американского финансового капитала. Достопочтенная миссис Астор, раздражительного характера которой побаиваются все, проявляет к Айседоре признаки интереса и даже расположения. Ее приглашают к себе танцевать и другие знатные дамы Ньюпорта. За несколько дней Айседора становится любимицей великосветских кругов, «фешенебельным шиком», своего рода достопримечательностью, которую надо обязательно посмотреть, если не хочешь отстать от моды.

Снобизм — величайшая опасность для любой творческой личности. Уж лучше оставаться в неизвестности, чем стать предметом увлечения. Но Айседора слишком умна, чтобы поверить в искренность эфемерного интереса к ней, и терпеть не может светских сплетен о себе, а еще больше — легкомыслия богатых американок, невежество и эгоизм которых можно сравнить только с их претенциозностью. Если бы она хоть что-нибудь выигрывала от этого… так нет же. Ее гонораров едва хватает, чтобы снимать номер в гостинице.

Постепенно она осознает, что опять попала в западню. Театральные деятели ее по-прежнему не знают, аристократы тянут на сомнительный путь эксгибиционизма. И никому нет дела до ее эстетических взглядов. Америка в них уже не верит. Никогда не воспримут ее так, как она того заслуживает, то есть как революционера от искусства. Только старая Европа может ее понять. Во всяком случае, так она полагает. Именно в Европе, и только в Европе сможет она вызвать отклик у людей, наделенных призванием, и осуществить свою мечту о воспитании молодых учениц.

Вот уже несколько лет, как она ощущает, что ее ожидает двойная миссия: создать новый современный танец, который перевернет все привычные представления об этом искусстве, древнем, как мир, а затем — провозгласить новую эру, с помощью танца создать иные отношения между людьми, более благородные, бескорыстные, братские. Со всем жаром своих двадцати двух лет верит она в возможность вернуть потерянный рай. Уверенная в своей гениальности, она стремится ни много ни мало, как внушить миру свое собственное видение человечества. Ее танец призван начать развитие общества по пути освобождения от всякого принуждения, то есть стать таким, каким было общество Древней Греции, по крайней мере как она его представляла себе. Кроме того, она считает, что сия искупительная миссия должна быть возложена исключительно на женщину. Ибо если танец — борьба за свободу, а она именно так его себе представляет, то одна из первых задач на этом пути — эмансипация женщин.

Мечтая о Европе (а она все чаще думает о ней), она прежде всего обращается мысленно к Англии. В конце XIX века Лондон переживает своего рода «золотой век». Прерафаэлиты Уотте, Бёрн-Джонс, Россетти символизируют собой великие тенденции современности. Бердсли, Уистлер, Суинберн, самый «греческий» из английских поэтов, Оскар Уайльд, жертва викторианского общества, недавно вышедший из Редингской тюрьмы, сделали из Лондона своего рода Афины «нового искусства». Особенно притягивает Дунканов квартал Челси, столица эстетизма. Именно там Суинберн предавался своим экстравагантностям, там Бёрн-Джонс написал истощенного Микеланджело в затененном доме, обшитом темными панелями, с витражами, еле пропускающими свет. Здесь живет писательница Верной Ли, окруженная целым роем девочек, переодетых пажами а-ля Боттичелли. Челси, где когда-то царил Оскар Уайльд, где еще царствует актриса Эллен Терри, приятельница Уайльда; Россетти, ищущий утешения в алкоголе и наркотиках после потери своей вдохновительницы

Элизабет Сидел; Уистлер, самый британский из американцев и самый большой фантазер. Челси избрал для себя богами двух теоретиков искусства: Рескина, отца эстетического социализма, взгляды которого так близки Айседоре (не случайно она говорила, как и автор «Амьенекой Библии», что искусство — это вид морали), и особенно Пейтера. Ибо если Рескина почитают, то Пейтера обожают и называют мастером странностей, очень напоминающим Бодлера. «Прекрасное всегда странно», — говорил автор «Цветов зла». Оскар Уайльд, учившийся в Оксфорде у Пейтера, скажет о его книге «Возрождение»: «Для меня это самая большая ценность, вершина декадентства. Когда книга была завершена, люди должны были услышать трубные звуки Страшного суда».

В ожидании «великого переезда» Элизабет удвоила количество учениц, и Дунканы теперь могут поселиться в двухкомнатном номере на первом этаже отеля «Виндзор». Стоит он девяносто долларов в неделю. Несмотря на уроки танцев и гонорары Айседоры, свести концы с концами все же не удавалось. Однажды вечером Элизабет с сестрой сидели в раздумье, где достать нужную сумму, чтобы завтра во что бы то ни стало заплатить за жилье. «Только чудо может спасти нас, — воскликнула Айседора в каком-то экзальтированном состоянии. — Например, пожар в гостинице». Элизабет пожала плечами. Через двадцать четыре часа отель «Виндзор» был охвачен пламенем пожара. Элизабет, проявив хладнокровие, спасла своих учениц, выведя их гуськом из горящего дома. Но Дунканы лишились всего, что у них было: скромные украшения, костюмы, книги, вещи, фотографии, семейные реликвии — сгорело все. Лишившись крыши над головой, они укрылись в гостинице «Букингем», расположенной на той же улице, что «Виндзор», а через несколько дней оказались точно в таком же положении, в каком были по приезде в Нью-Йорк, — то есть без цента. «Это судьба, — сказала Айседора с обычным своим фатализмом. — Теперь мы обязательно должны ехать в Лондон».

Без постоянной работы, без денег, без вещей, они живут одними мечтами. К счастью, этого у них в избытке. Лондон для них теперь — земля обетованная. Но как добраться туда? Неизвестно. Известно лишь, что скоро они будут там. Причем с небольшой поправкой в программе: поедут не пятеро, а четверо. Дело в том, что во время турне Августин влюбился в шестнадцатилетнюю девчонку, исполнительницу роли Джульетты, и объявил «клану» свое намерение жениться на ней. В ответ раздались вопли протеста. Его обвинили в отступничестве, даже в измене. Мать запирается в своей комнате, Элизабет

перестает с ним разговаривать, Раймонд катается по полу в нервном припадке. Несмотря на свое отвращение к браку, лишь Айседора проявляет понимание. Она пытается утешить несчастного брата и обещает познакомиться с его будущей супругой. В тот же вечер Августин затащил ее на пятый этаж меблированных комнат, где она увидела рахитичное существо в черной коленкоровой блузе. Бесцветные глаза, нездоровый румянец на щеках воскресили в ее памяти Мод Уинтер. Айседора подошла к ней, протянула руки и прижала ее к своей груди. Августин признался, что они уже поженились и ждут ребенка, но об этом еще никому не решились сказать.

Выходит, великое переселение будет совершаться без него. «Значит, он этого недостоин», — заявляет Элизабет, а весь «клан» отныне занят лишь мыслями о том, где достать денег на путешествие. Айседора вспоминает о женах миллионеров, у которых она танцевала прошлым летом. Поскорее найти уцелевшую записную книжку с адресами, сиротскую шаль на голову и… в путь. Сначала — Пятьдесят девятая улица, особняк с окнами на Центральный парк, к миссис Роузберри. Респектабельная старушка (вылитая королева Виктория) сочувственно выслушивает жалобный рассказ Айседоры: пожар в гостинице… «мы все потеряли… бедная мама больна… братья без работы…», словом, монолог из мелодрамы. Старуха покачивает головой, приговаривая: «Бедняжка, ах, бедняжка…», роняет слезинку и наконец подписывает чек. Айседора подпрыгивает от радости и, только дойдя до Пятой авеню, заглядывает в чек: пятьдесят долларов. Крохи!

Не заходя домой, Айседора направляется к миссис Кулидж, известной деятельнице из среды крупных финансистов, видом и поучениями напоминающей вдову англиканского пастора: «Бедная деточка, лучше бы вы учились классическим танцам, тогда бы не оказались в таком положении. Очень жаль, ведь у вас есть талант…» Айседора поначалу скромно выслушивает нравоучения, с виноватым видом опустив глаза. Но после того как хозяйка, воспользовавшись напускной покорностью посетительницы, начинает пичкать ее историями о самонадеянных, а потому падших девицах, Айседора принимается оправдываться, сперва насмело, а потом все с большей убежденностью, не обращая внимания на старуху, продолжающую излагать общие места из буржуазной морали. Потеряв терпение, Айседора встает:

— Прощайте, сударыня. Теперь я буду знать, что следует понимать под христианской добротой.

— Прежде чем уйти, возьмите все же вот это, — сюсюкает

любительница поучать, вынимая из сумочки пять десятидолларовых бумажек. — И постарайтесь разумно их использовать. — И когда Айседора протягивает руку, чтобы взять их, набожная миллиардерша добавляет:

— А главное, не забудьте их вернуть мне, как только сможете.

Так Айседора обходит самых богатых старух Нью-Йорка, набрав всего триста долларов. Этого хватит только на то, чтобы заплатить за билеты во втором классе обычного парохода. А на что жить по приезде в Лондон?

Однажды, прогуливаясь в порту, Раймонд замечает старый грузовой корабль, перевозящий в Англию скот. За сотню долларов капитан соглашается взять на борт четырех пассажиров. Уже через три дня миссис Дункан, Элизабет, Раймонд и Айседора входят на борт корабля в компании стада из двухсот бычков, пригнанных с пастбищ Среднего Запада.

Пассажиры быстро свыклись с крохотными каютами, жесткими деревянными койками и солониной три раза в день, — к таким неудобствам им было не привыкать. Их путешествие можно было бы назвать удачным, если бы не двести несчастных бычков, загнанных в трюм, где их кидало из стороны в сторону день и ночь и где они ударялись рогами о борт. Слушая их душераздирающее мычание, Раймонд пообещал, что станет вегетарианцем на всю жизнь. Несмотря на недосыпание, на удушающий запах коровника, топот быков и страх, что их рога и копыта пробьют обшивку трюма, путешествие Дунканов прошло в обстановке неописуемой радости. Они целыми днями декламировали Феокрита, импровизировали эклоги, ставили спектакли для членов экипажа. Айседора танцевала на всем пространстве палубы — от левого до правого борта, Раймонд обращался к океану со строфами из Эсхила и Софокла на древнегреческом. Ночи напролет они спорили, строили самые несбыточные планы, смеялись, фантазировали и танцевали до утра.

Через полтора месяца они прибыли в Гулль, а оттуда поезд за несколько часов доставил их в центр Лондона. В «Тайме» они прочли объявление о том, что сдается маленькая квартира. Первое время они беззаботно гуляли по городу, не думая о завтрашнем дне: пусть Лондон покажет им все свои богатства. Вестминстер, Британский музей, музей Южного Кенсингтона, Ричмонд-парк, Пэл-Мэл… Они жадно впитывают в себя атмосферу старины, желая узнать как можно больше об этих улицах, памятниках, о каждом камне, набить, как мешок, до отказа свою память. По вечерам, опьяненные усталостью, как пираты после разбоя, они обсуждают свою добычу, занимают часть ночи у сна,

обмениваясь впечатлениями, составляя планы. Они не уподобляются туристам, как другие американцы, а ведут себя как вдохновенные археологи, охотники за Прекрасным, разведчики современного искусства.

На следующий день они опять колесят по Лондону от Мэйфера до Пиккадилли, от Национальной галереи до Гайд-парка. Возбуждение новизны не покидает их. Они живут как во сне. Через две недели их грубо возвращает к реальности визит хозяйки квартиры, пришедшей получить плату за жилье.

«Мы ожидаем крупную сумму из Америки, оплатим на следующей неделе», — обещает Айседора уверенным голосом.

Проходит неделя, потом другая. Видя, что никакой платы нет, хозяйка в конце концов выгоняет их, а их скудные пожитки забирает себе. Очутившись на улице, они подсчитывают наличные. На четверых ровно шесть шиллингов. В гостиницу нельзя, там требуют плату за неделю вперед. Начинается бродячая жизнь. В итоге они оказываются на скамейке в Грин-парке, откуда полисмен их скоро прогоняет. Три дня и три ночи живут они, как настоящие бродяги, питаются хлебцами по два пенса и целые дни проводят в Британском музее. Когда голод начинает особенно мучить, Айседора ищет спасения в чтении «Истории искусства древних» Иоганна Иоахима Винкельмана, с потрепанным томиком которого она никогда не расстается, и забывает о еде, питаясь лишь идеями знаменитого археолога о греческом искусстве, известными ей почти наизусть. Она бесконечно восхищается красноречием, с каким автор описывает высшие атрибуты эллинской цивилизации: возвышенно-неземное, благородное величие, взаимная игра экспрессии и красоты, порождающая гармонию, называемую автором «грация», которую Айседора мечтает когда-нибудь назвать «танец», а пока сидит с раскрытой книгой на краю тротуара.

В одно прекрасное утро, видя, что ее труппа бездомных бродяг начинает поддаваться отчаянию и унынию, она заявляет: «Так больше не может продолжаться. Пошли!» И решительным шагом направляется к одному из роскошных отелей Вест-Энда, «Бакленде» на Олбемарл-стрит. Мать, Элизабет и Раймонд беспрекословно следуют за ней. Айседора проходит через просторный холл и властным тоном заказывает заспанному портье четыре комнаты (дело было в пять утра), объявив, что они только что приехали из Ливерпуля ночным поездом и багаж их вот-вот подвезут. «А пока прикажите подать ранний завтрак», — добавляет она. Впервые после приезда в Лондон у них настоящие постели, мягкие и чистые, и они, обессиленные, валятся на них. Под вечер просыпаются от нестерпимого голода. Без тени

колебаний Айседора звонит портье.

— Что? Наш багаж до сих пор не получен? Какой ужас… Не можем же мы выйти, не переодевшись… Тогда, прошу вас, прикажите подать в номер обед на четверых.

Наевшись и поспав еще немного, на заре следующего дня они уходят на цыпочках, чтобы не разбудить ночного портье.

Выйдя из отеля, направляются в Челси, присаживаются на скамейку на кладбище при старинной церкви Святого Луки, не зная уже, какому святому молиться, и решают положиться на волю Провидения. И правильно делают, ибо опять происходит чудо. Айседора машинально берет в руки газету, валявшуюся на соседней скамейке, и от нечего делать начинает ее рассеянно просматривать. На глаза ей попадается рубрика «Светская хроника», а в ней сообщение о рауте, который намерена дать в своем особняке миссис Р., богатая американка, у которой она танцевала в прошлую зиму в Нью-Йорке.

Айседора приказывает:

— Никуда не уходите. Я вернусь через час. Миссис Р. очень дружелюбно принимает ее:

— Искренне рада вновь видеть вас, милая Айседора. К тому же вы пришли очень кстати. Представьте, я устраиваю прием в пятницу вечером. Было бы очень любезно с вашей стороны, если бы вы смогли танцевать для моих гостей!

Разумеется, посетительница соглашается, но при этом деликатно намекает, что небольшой аванс в счет гонорара ей, пожалуй, не помешал бы. Миссис Р. тотчас вручает ей чек на десять фунтов. Она быстро кладет его в сумочку и бежит на кладбище, где ее ждет семья.

— Ура! — кричит Айседора, размахивая чеком. — В пятницу я танцую у миссис Р. Там будет весь Лондон.

— Первым делом, — сообщает рассудительный Раймонд, — надо найти просторную квартиру, где можно жить и работать.

Все соглашаются с этим предложением. Конечно, лучше всего найти жилье в Челси. Раз они уже на месте, почему бы и не поискать? Через несколько часов находят студию без мебели и без удобств, зато в самом центре «Новых Афин». На оставшиеся деньги покупают несколько метров тюля.

В пятницу, задрапированная в тюль, Айседора танцует «Нарцисса» Невина перед сливками Мэйфера. Мать аккомпанирует ей на рояле. Танец воспроизвел миф о юноше, влюбившемся в собственное отражение, погибшем от этой страсти и превратившемся в восхитительный цветок. В программу вошли также «Офелия» Невина и «Весенняя песня» Мендельсона. Между танцами Элизабет читает стихи Феокрита, а заканчивается

спектакль кратким сообщением Раймонда о философии танца.

Из всех видов публики, наверное, труднее всего удивить лондонскую знать. Даже если сандалии и прозрачные ткани Айседоры их шокировали, они постарались этого не показать, сделав безразличный вид. Никто из гостей словно и не заметил оригинальности костюма и тем более — танца. Затянутые в корсет респектабельности, все разошлись, приговаривая: «Charming… Delightful… Simply divine…»[5]

С этого вечера дамы лондонского высшего общества приглашают Айседору на все свои благотворительные праздники. Юная танцовщица порой спрашивает себя, вырвется ли она когда-нибудь из этого замкнутого крута, чтобы встретить наконец настоящего зрителя? Но как отказаться? Кстати, чаще всего эти благородные леди «забывают» ей заплатить. «Вы будете танцевать перед герцогиней Л. или перед лордом Т., — говорят ей. — Представляете, какая это честь для вас?» Разумеется, этой «чести» ей должно хватать… Однажды дама-патронесса после представления показала ей большую сумку, полную золотых монет. «Смотрите, — говорит старуха с обезоруживающей наивностью, — смотрите, какой вклад вы сделали в нашу благотворительную акцию для слепых девочек!» В тот вечер у Айседоры не было денег даже на извозчика…

Но что значат деньги, если есть Лондон, каждый день открывающий свои красоты. Есть музыка, поэзия, танцы! Иногда она проводит целые дни вместе с Раймондом в Британском музее. Едва пройдя под знаменитым портиком, они направляются в отдел греческого и римского искусства, с наслаждением гуляют в окружении Вакха, Венеры, Аполлона с кифарой, раненой амазонки, фавнов и сатиров, спускаются в склеп, проходят мимо саркофагов, кратеров и мозаик, затем в греческий вестибюль, эфесский зал и выходят, наконец, к руинам Парфенона.

И на фронтоне храма
Горят лучи Авроры…

Какая таинственная связь соединяет эти камни с ее судьбой как женщины и артиста? — спрашивает себя Айседора, повторяя стихи отца. Она не может ответить, но чувствует, что какая-то связь существует. Как иначе объяснить, что античные колонны, фризы и безголовые статуи вызывают в ней такой бурный отклик? Почему так велика сила *узнавания*! Почему лучезарный Феб, выезжающий из моря на своей колеснице, провозглашает, как ей кажется, на весь мир идею, всегда в ней живущую? Почему эта округлость руки или расположение складки вызывают у нее слезы

на глазах? Никакие слова, наверное, не смогут выразить глубоко скрытую гармонию, связывающую ее с древними произведениями. Она чувствует себя посланницей языческих божеств. Но сумеет ли она танцем повторить благородную простоту Гебы, дочери Зевса и Геры, грацию Пандоры, томно усевшейся на коленях своей подруги, гибкую походку афинских девушек, направляющихся к Миневре, чтобы свершить жертвоприношение? Может быть, ей поможет память тела?

Пока Раймонд делает бесчисленные зарисовки, Айседора начинает танцевать прямо в зале музея. Ее танец напоминает медитацию, он совершается вне времени, вне ее самой, в полном забвении всего, что ее окружает, за исключением каменных дев, что взирают на нее невидящими глазами.

Приближалась зима. Семейство Дунканов перебралось из Челси в ателье в Кенсингтоне, большее по размеру. Элизабет поддерживала переписку с матерями своих бывших американских учениц, и вот однажды получила от одной из них предложение открыть школу в Нью-Йорке; к письму был приложен чек для оплаты переезда. После долгих раздумий и колебаний она все же решила вернуться в США. «По крайней мере там я заработаю немного денег и пришлю их вам. А когда вы станете богатыми и знаменитыми, я вернусь». Так их «клан» уменьшился до трех. Вскоре Мэри, Раймонд и Айседора впервые познакомились с лондонскими туманами. Густая желтоватая удушающая завеса нависла над городом. Холодный и упорный мелкий дождь лил день за днем, и казалось, конца ему не будет. Грязь на длинных мрачных улицах, грязная вода, пропитанная запахом сажи. Прохожие — словно испуганные тени. Дунканы почти не выходят из дома. Приглашений выступить становится все меньше. Вновь приходит нищета, а в Лондоне она отвратительнее, чем где-либо, под этим серым небом, без малейшего просвета надежды. У них уже нет сил не только бегать по музеям, но даже вставать по утрам. Целыми днями они спят или, завернувшись в одеяла, играют в шахматы да смотрят в окно на падающий снег.

Через два месяца наконец пришло письмо от Элизабет, а с ним и чек, что позволило им снять домик с мебелью и приобрести право на вход в Кенсингтонский парк. Наступила лучезарная весна. Жизнь возрождалась, а вместе с ней и трио Дунканов выходило из оцепенения. Часто с наступлением темноты Раймонд и Айседора, надев греческие одеяния, танцуют на газоне парка. Однажды, когда они танцевали вот так при бледном свете фонаря, какая-то женщина остановилась на дорожке парка, залюбовавшись необычным зрелищем. Не удержавшись, она спросила: — Откуда вы?

— Упали с луны, — отвечала Айседора.

— Вы меня совершенно очаровали. Пойдемте ко мне, я живу рядом.

Миссис Патрик Кемпбелл, так звали хозяйку небольшого особняка в стиле XVIII века, выходившего окнами прямо в Кенсингтонский парк, была одной из самых знаменитых английских актрис того времени. Роскошные рыжие волосы, разделенные прямым пробором и ниспадающие на плечи, огромные черные глаза, матовый цвет лица, великолепная грудь — тридцатипятилетняя красавица была наделена всеми физическими данными прерафаэлитской героини. Кстати, она позировала Бёрн-Джонсу, Россетти, Уильяму Моррису, и у нее хранилась великолепная коллекция ее портретов с автографами этих художников. Патрик попросила Айседору станцевать и сама села за рояль. От увиденного танца она пришла в восторг и заявила, что напишет рекомендательное письмо миссис Уиндэм, у которой когда-то начинала в роли Джульетты.

Миссис Уиндэм организовала в своем салоне вечер для юной американки, на который пригласила практически всех знаменитых артистов и писателей Лондона. Среди них выделялся мужчина лет пятидесяти, прекрасно сложенный, одетый с чисто британской элегантностью. Его очарование и культура произвели на Айседору сильное впечатление. К окружавшим ее молодым людям она осталась равнодушна, но его слушала с восхищением, особенно когда он заговорил об итальянском Возрождении.

Художник по профессии, Чарлз Галле в молодости был другом великой актрисы Мэри Андерсон, той самой, что заказала Оскару Уайльду пьесу «Герцогиня Падуанская», выдав аванс в тысячу долларов, но потом отказалась ее принять, к великому огорчению бедного Оскара. Галле жил с сестрой в небольшом доме на Кэдоген-стрит. Теперь Айседора почти каждый день приходила к нему пить чай. Он рассказывал ей о своем близком друге Бёрн-Джонсе, о Россетти, Уильяме Моррисе, Уистлере, Теннисоне, которых он отлично знал. Позже Айседора напишет: «Я проводила у него незабываемые часы. Именно дружбе с этим очаровательным художником обязана я отчасти пониманием искусства старых мастеров». Однажды он достал из шкафа тунику Мэри Андерсон. В ней она играла Виргилию в «Кориолане». Галле попросил Айседору надеть хранившуюся у него реликвию и набросал несколько эскизов ее будущего портрета в античном костюме.

В ту пору Галле был директором Новой галереи, расположенной в центре Риджент-стрит, где выставлял крупнейших современных художников. Этот маленький музей из

розового кирпича с каменным фонтаном во дворе, окруженный старыми деревьями, и с крохотным газоном сохранял очарование коттеджа, перенесенного в центр города. Галле предложил Айседоре танцевать в здании музея перед избранной публикой. В дополнение к программе художник Уильям Ричмонд сделал доклад об отношениях между танцем и живописью, Эндрью Ланг рассказал о танце и греческих мифах, сэр Хьюберт Парри изложил свои мысли о танце и музыке. Пресса очень лестно отозвалась о ее выступлении. В течение нескольких дней в Челси только и разговоров было, что об этой удивительной калифорнийке, которая возродила танец древних греков. Ее приглашали наперебой. Традиционные чаепития сменились зваными обедами, все хотели видеть ее за своим столом. Во время приема у леди Рональд Айседору представили принцу Уэльскому, будущему королю Эдуарду VII. Увидев ее, он воскликнул: «Да это же вылитая красавица с картины Гейнсборо!» Принц больше разбирался в женщинах, чем в живописи…

Через некоторое время в Айседору безумно влюбляется молодой поэт Дуглас Эйнсли, новоиспеченный выпускник Оксфорда. Истинный джентльмен, потомок Стюартов, он каждый вечер является к Айседоре с лицом скучающего денди, достает из карманов пальто несколько книг, усаживается у ее ног и начинает читать вслух. Временами умолкает, поднимает на нее взгляд своих больших светло-голубых глаз и молча целует в щеку. Она гладит его лоб, ласкает пальцем прядь светлых волос, после чего он вновь углубляется в чтение Суинберна, Китса, Россетти и Оскара Уайльда, которого предпочитает всем остальным. Ей нравится его красивое лицо, но она равнодушна к декадентской поэзии. В ту пору все увлекались какими-нибудь необычными ощущениями, болезненным томлением, ядовитой неврастенией. Но здоровая и душой, и телом Айседора тщетно пыталась увлечься этой упадочностью.

Вечера, проведенные в обществе юнца, не вытеснили из ее памяти Чарлза Галле, тонким умом и точностью оценок которого она восхищалась. Однажды он привел ее в гримерную сэра Генри Ирвинга, известнейшего из актеров шекспировского репертуара, ставшего легендарным еще при жизни. В другой раз он представил ее актрисе Эллен Терри, подруге и вдохновительнице прерафаэлитов, бывшей в то время на вершине славы, и ее сыну Гордону Крэгу, который тогда же начал свое блестящее восхождение.

Артисты, интеллектуалы, светские люди восхищаются танцем Айседоры, но ни один антрепренер пока не заинтересовался ею. Герберт Бирбом Три, директор театра «Хей-маркет» лишь

рассеянно взглянул на ее танец. Однако она не унывает. Разве не снискала она одобрение Эндрью Ланга, Уоттса, Эдвина Арнольда, Эллен Терри? Это дороже, чем все Бирбомы на свете. «Мое искусство слишком возвышенно для них», — считает она, вовсе не страдая от выпавшей ей доли непонятого гения. Не теряя веры в себя, она продолжает работать целыми днями со своей матерью. Вечера делит между поэтом и художником, Эйнсли и Галле. «Чем вы занимаетесь с этим стариканом?» — попрекает ее поэт. «Не понимаю я, как вы можете терять время с этим юным хлыщом?» — со вздохом вопрошает художник. Айседора не отвечает, лишь успокаивает их по очереди и обезоруживает улыбкой. Все это слишком похоже на игру, но игру коварную для тех, кто ждет от любви большего.

Культ Прекрасного для Айседоры никогда не походил на идеал тех чересчур одухотворенных людей, которых природа шокирует своей вульгарностью. В ней не было ничего слишком возвышенного, особенно в том, что касалось ее физических данных. По-детски круглое свежее личико, нежная форма груди не привлекают поклонников безжизненной бледности. Ей больше повезло бы с Ренуаром, чем с Россетти. Ее тело, пышущее здоровьем и крепостью, едва прикрыто прозрачной туникой и лишено излишней стыдливости. Наверное, ее не пришлось бы слишком долго упрашивать, чтобы она согласилась обнажить все тело. Свою неприязнь к классическому балету она отчасти объясняла именно тем, что он порабощает тело, тогда как она мечтает о его освобождении.

Но если искусство позволило ей испытать глубокую гармонию с ритмом вселенной, то любовь до сих пор лишала ее этой радости. И ни Эйнсли, ни Галле не дадут ей этого счастья, ибо принадлежат к тем, кому больше нравятся умственные наслаждения, чем телесные радости, кому дорого желание ради желания и кто испытывает тайные экстазы душевного волнения при виде отдающейся женщины. Обреченные на такую любовь, они не могут любить по-настоящему. А с ее темпераментом так и хочется сказать: «Берите же меня, я ваша». Но зачем? Они не поймут. А изображать «Деву-избранницу»[6] или воплощение зла — Саломею, столь дорогих сердцу господ декадентов, она не хочет и поэтому напоминает жаждущий свежего ветерка прекрасный цветок, позабытый в душном салоне.

ГЛАВА V

13 марта 1900 года миссис Дункан с дочерью прибыли поездом Шербур — Париж на вокзал Сен-Лазар. На перроне их встречал Раймонд, приехавший сюда несколькими месяцами ранее. Они с трудом узнали его. Зачесанные назад длинные волосы, свободная блуза, галстук, завязанный большим бантом, бархатный костюм, черная шляпа с широкими полями, одним словом — стиль свободного художника. «Поедем ко мне, в Латинский квартал. У меня маленькая комната под самой крышей, но какой вид!..»

Когда поднимались на шестой этаж, на узкой лестнице им повстречалась хорошенькая девушка. Покраснев, она поспешила скрыться. Наша троица отметила встречу бутылочкой красного вина за тридцать сантимов, после чего, не теряя времени, все вместе отправились на поиски студии. Поздно вечером наконец нашли большую меблированную комнату на улице Тэте. Никаких удобств, зато умеренная плата: всего пятьдесят франков в месяц.

Измученные поездкой и долгими поисками жилья, они уже собирались ложиться спать, как вдруг послышался страшный грохот, буквально сотрясший стены. Казалось, комнату подбросило в воздух и швырнуло обратно. Раймонд спустился на первый этаж и вскоре вернулся расстроенный.

— Что случилось? — испуганно спросили женщины.

— Ничего страшного. Просто под нами ночная типография.

Раймонд принес в жертву любовное увлечение, чтобы посвятить все свое время Айседоре. Брат и сестра вставали в пять часов утра и шли танцевать в Люксембургский сад, пока не откроется Лувр. Для них это было самое лучшее время. Залы еще пусты и едва освещены. Как и в Британском музее, Раймонд заполняет свой архив зарисовками, а Айседора не переставая танцует. Она словно продолжает прерванный полет Дианы, Ифигении и вакханок, чьи черные профили смотрят на них с керамики.

Сторож-смотритель поначалу заволновался, глядя на их ежедневные упражнения, но затем успокоился, поняв, что эти чудаки не представляют никакой опасности.

Выйдя из Лувра, они отправлялись утолять свою ненасытную жажду искусства и истории в музеи Клюни, Карнавалэ, в собор Парижской Богоматери, Оперу, Национальную библиотеку…

«Нет ни одного памятника, перед которым мы не остановились бы в восхищении, — писала Айседора своей сестре. — Наши юные американские души преисполнены

волнением при виде культуры, открыть которую нам удалось с таким трудом». А возвращаются они на улицу Гэте лишь после того, как совершат последнюю прогулку по парку Тюильри, где сквозь листву каштанов любуются лучами заходящего солнца.

Через месяц открылась Всемирная выставка. От Марсова поля до Трокадеро, от площади Согласия до Дома инвалидов раскинулся гигантский город-космополит. Центр Парижа напоминал бал-маскарад. Азия, Европа, Африка раскрывали сказочные сундуки «Тысячи и одной ночи» и вываливали их содержимое, создав невероятную мешанину. Париж-Вавилон, Париж-базар, Париж-рахат-лукум. В эти несколько месяцев Франция превратилась в пуп Земли. Страна с гордостью выставляла напоказ свою индустрию, торговлю, колонии, мост Александра III и Большое колесо обозрения. Гвоздем выставки, несомненно, стал Дворец электричества, подобный гигантскому мазку крема.

Выставка привлекла посетителей со всего света. Толпы соседей-англичан, естественно, пополняли ряды посетителей, толпящихся каждый день перед входом в этот недолговечный город. И вот, в одно прекрасное утро, Чарлз Галле является в мастерскую на улице Гэте. Айседора не скрывает своего счастья и бросается в его объятия. В Париже они не расстаются, гуляют целыми днями по аллеям «Большого базара», заходят в киоск Мануба, осматривают тонкинскую деревню с ее джонками, где сидят женщины, жующие бетель, дворец Ко-Лоа, камбоджийский грот, павильон Индокитая, покрашенный красным гуммилаком.

Ненадолго задерживаются перед балаганами кукольников, пьют чай в павильоне Цейлона, близ Адамовых деревьев, одного из изысканных мест выставки, потом садятся на движущуюся дорожку, ведущую к кавказцам-черкесам, к бухарским драгоценностям и в индонезийский средневековый монастырь. Перед образцами французского искусства, выставленными в Малом дворце, Айседора с восхищением слушает объяснения своего друга-эрудита. А вечером они ужинают в каком-нибудь экзотическом ресторане, например, на вершине Эйфелевой башни.

Во время выставки самое сильное впечатление на Айседору произвела великая японская трагическая актриса Сада Якко, которую прозвали «Дузе Дальнего Востока». Ирвинг, Эллен Терри, лорд Альфред Дуглас, бывший друг Уайльда, специально пересекли Ла-Манш, чтобы увидеть ее игру в театре Луа Фуллер. В лакированных туфлях на необычайно высокой платформе, в свободно ниспадающей одежде из вышитой ткани, она движется среди шелковых ширмочек-декораций при свете фонариков,

создающих эффект галлюцинации. Кошачья пластика, сдержанные скупые жесты в сочетании с детским лепетом и жестами лунатика помогают Сада Якко и ее партнеру Каваками оживить для западного зрителя атмосферу Киото, древней столицы феодальной Японии. Это воплощенное изящество, словно сошедшее с картин японских мастеров. Актриса достигает высот трагедии в сцене агонии, когда появляется с глазами, полными ужаса, бледным, как бумага, лицом и в растерзанной одежде. «Это прекрасно, как пьесы Эсхила!» — восклицал Андре Жид.

Еще большее впечатление на Айседору произвело посещение павильона Родена возле площади Альма, где впервые для широкой публики были выставлены произведения скульптора, которого одни обожествляют, а другие возмущенно ругают. Противники упрекали его в незавершенности форм и необузданном воображении. Айседору поразил могучий гений, создавший статуи «Бальзак», «Поцелуй», «Врата ада». Ее раздражают высказывания, что эти шедевры — не более чем простые наброски. Когда у нее на глазах зрители из Америки удивляются при виде тел без рук или ног, она обрушивается на них: «Янки! Вы погрязли в низком, гнусном материализме! Неужели вы не видите, что перед вами сама сущность реального, его совершенный символ?» Нападая на своих земляков, она защищает не только Родена, но и свое собственное понимание искусства. Как и он, как и Сада Якко, она старается своим танцем облагородить формы природы, поднять их на самую высокую ступень смысла.

Прежде чем вернуться в Лондон, Галле знакомит Айседору со своим племянником, Чарлзом Нуфларом. «Поручаю тебе Айседору», — сказал он ему на прощание. Молодой человек отнесся к поручению очень серьезно, тем более что нашел юную американку весьма симпатичной. Ему нравятся ее спортивная внешность, динамизм, юмор, азарт, доходящий до неосмотрительности, очаровательное простодушие, с каким она отметает советы об осторожности: «Там будет видно». Сам большой любитель истории искусств, он помогает своей подопечной пополнять знания, водит ее по выставкам, картинным галереям, по лавкам продавцов эстампов, учит отличать кабриолет времен Людовика XV от других экипажей и разбираться в разных эпохах китайской династии Мин.

Тем временем Дунканы покинули улицу Гэте и на оставшиеся сбережения сняли квартиру-студию в доме 45 по авеню де Виль — холодное помещение с потеками сырости на стенах и растрескавшимися половицами, но большее по размерам.

Рэймонд перестилает пол, расписывает стены в виде греческой колоннады на фоне синего неба, оборачивает газовые светильники фольгой, отчего они приобретают вид факелов в домах римских патрициев. Все то же увлечение античным миром! Сундуки из некрашеного дерева служат и шкафами, и сиденьями, и кроватями. На день в них укладывают постели, вечером расстилают на крышки и спят. В середине комнаты устанавливают рояль. И жизнь продолжается.

Именно в этот период Айседора знакомится с Мэри Дести, молодой американской актрисой, недавно разошедшейся с мужем. Она приехала во Францию с полуторамесячным ребенком и, едва познакомившись с Айседорой, тотчас же почувствовала непреодолимое влечение к танцовщице. Айседора становится для нее богиней, достойной поклонения. Очень скоро культ превращается в подражательство. Мэри начинает говорить, ходить, одеваться в греческие туники, как Айседора, а чтобы завершить сходство, она просит Айседору научить ее своему искусству. Та с радостью соглашается. «Вы будете моей первой ученицей!» — говорит она.

Но, наблюдая, как Мэри упражняется в студии, Айседора однажды поймала себя на ощущении, что это она сама танцует у себя на глазах. Она накидывается на подругу и трясет ее за плечи: «Никогда больше не делайте этого, Мэри! Это сходство доводит меня до галлюцинаций! Все, все, даже выражение глаз, как у меня!.. Не хочу, чтобы вы стали моим двойником!»

То, как Айседора реагировала на ее танец, должно было встревожить Мэри, показать ей опасность чрезмерного преклонения перед артисткой. Но она была слишком покорена танцовщицей: как можно не подражать ей, не быть ею, — для этого Айседоре пришлось бы перестать существовать.

Чарлз Нуфлар сделался завсегдатаем в квартире на авеню де Виль. Как-то он привел с собой двух товарищей, чтобы с гордостью представить им свою американскую подругу. Один из них — соблазнительный молодой блондин, светский художник, вхожий в парижские салоны, Жак Боньи. Другой — Андре Бонье, бывший немного постарше своих товарищей, выпускник Эколь Нормаль, преподаватель филологии, делающий первые шаги в литературе. Из печати только что вышел его первый роман «Семья Дюпон-Летерье».

Айседора танцевала перед ними прелюдии, вальсы и мазурки Шопена под аккомпанемент миссис Дункан. Восхищенный танцовщицей, Боньи упросил свою матушку, мадам де Сен-Марсо, жену скульптора, пригласить Айседору станцевать у них для крута друзей. Салон мадам де Сен-Марсо был одним из самых

аристократических в Париже. Репетиции начались в мастерской скульптора. Аккомпанировал на рояле мужчина, игравший, как маг и волшебник. Не дождавшись конца танца, он вскочил и с криком: «Очаровательно!.. Восхитительно! Какое прелестное дитя!» — поднял Айседору на руки и поцеловал в обе щеки. Это был Андре Мессаже[7], автор оперы «Береника», шедшей тогда с триумфом в театре Буфф-Паризьен. Прекрасный знаток классической традиции, не чуждался он и новых форм в области прекрасного. Один из первых участников спектаклей в Байройте[8], он играл наизусть Вагнера, которого в Париже отказывались признавать, готовился дирижировать на премьере оперы «Пеллеас и Мелизанда» Дебюсси, рискуя вызвать скандал среди публики. Искусство Айседоры очаровало Мессаже. Он увидел в нем столь желанный им разрыв с академическим балетом и одновременно обновленную выразительность пластики. Так наша танцовщица была признана и взята под покровительство мэтром квартала Сен-Жермен и бесспорным судьей в области музыки.

Ее первый концерт пользовался огромным успехом у самой снобистской публики Парижа. Ею восхищались, как экзотическим творением природы: калифорнийский акцент очарователен, греческая туника забавна, а манеры юной дикарки удивительны. Ее наивные вопросы вызывали улыбки, а откровенность ответов попадала в цель. Одним словом, все сходились на том, что она «очаровательна», «чертовски оригинальна», пикантна и свежа, как лесная ягода.

За толпой обступивших ее после концерта дам Айседора заметила гладко выбритого старика, зябко прячущего горло в белый шарф. Он не спускал с нее хищного взгляда.

— Мадемуазель, — произнес он сиплым голосом, отчеканивая каждое слово. — Я восхищаюсь вами и одновременно жалею вас, ибо вы бросаете вызов богам. Опасайтесь их мести. В самых сладких плодах славы прячется коварный яд.

— Кто это? — слегка смутившись, спросила она, когда он отошел.

— Как, вы его не узнали? Да это же Викторьен Сарду[9].

Домой Айседора возвращается, усыпанная цветами и комплиментами, в сопровождении верных своих рыцарей — Нуфлара, Боньи и Бонье, не устающих поздравлять ее с первым успехом в Париже. Покорить за один вечер сливки французской столицы — дело нелегкое.

Хотя из трех юношей Бонье был отнюдь не самым обаятельным, она чувствует влечение именно к нему. Среднего роста, с круглым лицом, уже полнеющий, хотя ему недавно

исполнилось тридцать, он ничем не напоминает Дон Жуана. Но ей нравятся его ум, культура, живой взгляд близоруких глаз за толстыми стеклами очков. Он лучше чувствует себя среди авторов-классиков, чем в модных салонах, в довершение всего страдает от непреодолимой застенчивости. Его улыбка и смешок после каждой фразы производят впечатление, будто он все время извиняется. Но эта излишняя робость отнюдь не отталкивает Айседору, которая видит в нем прежде всего талантливого писателя и восхищается им как образцом французской культуры.

Андре приходит к ней каждый день, от пяти до шести вечера. Как старательный студент, готовящийся стать педагогом, он знакомит ее с курсом общей литературы, читает нараспев своим негромким голосом произведения Мольера, Флобера, Готье, Мопассана, Метерлинка… Это напоминает ей вечера в Лондоне, проведенные с Дугласом Эйнсли. Айседора начинает лучше говорить по-французски, несмотря на ужасный американский акцент. Она жадно слушает рассказы о поэзии, истории, театре… В хорошую погоду они садятся на омнибус и катаются вдоль набережных Сены, гуляют по островам Сите и Сен-Луи, любуются собором Парижской Богоматери при лунном свете. Бонье знает историю каждого камня в своем городе. О более знающем и красноречивом гиде трудно было бы и мечтать. Он чудесно оживляет явления прошлого, рассказывает о былых временах и нравах. В такие минуты Айседора даже не обращает внимания на его заурядную внешность, но, замечая порой горящий взор за стеклами очков, спрашивает себя, какое место может она занимать в его мыслях, упорядоченных, как книги на библиотечной полке. Когда он провожает ее по вечерам пешком, она чувствует порой, как его пальцы сжимают ей руку — и только. Вот уже полгода, как они знакомы, а он не сделал ни одного движения ей навстречу. Провожая ее по вечерам и прощаясь с ней, он лишь целует ее в лоб и тотчас отворачивается. Временами она пытается взять его за руку, приблизить к себе его лицо, положить голову ему на плечо. Но ощущает, что он чувствует себя при этом ужасно неловко, и отстраняется, не смея даже задать вопрос.

По воскресеньям они иногда ездят на поезде в Марли и подолгу гуляют в лесу. Айседора танцует перед ним в аллеях и, подражая дриадам, притягивает его к себе, но тут же со смехом убегает. Однажды они присели на перекрестке лесных дорог. Андре назвал дорогу направо «Богатство», ту, что ведет налево, — «Мир», а ту, что простирается перед ними, — «Бессмертие».

— А та, что за нами? — спросила она.

— Я назову ее «Любовь».

— Вот ее-то я и предпочитаю. Хочу остаться здесь.

— Это невозможно, — вскричал он, резко поднявшись, и в сильном волнении принялся ходить большими шагами взад и вперед. Никогда еще она не видела его в таком состоянии. Подбежав к нему, она стала спрашивать: «Но почему? Ответьте! Почему?» Но ответа не последовало. По возвращении он проводил Айседору до дверей ее дома, ни словом не объяснившись и даже не поцеловав в лоб, как обычно.

А ведь он любил ее, в этом она была уверена. Любил, но боялся признаться не только ей, но и себе самому. В сущности, она ничего о нем не знала. Он легко делился с ней своими впечатлениями, литературными вкусами, писательскими планами, но никогда не обнаруживал своих интимных переживаний. Он был из тех закрытых для окружающих людей, кого узнаешь с трудом, кого надо расшифровывать. Айседора же этого не умела и не хотела уметь. Такой подход был противен ее природе, открытой, прямой, логичной. Но, как и многие люди, покорные инстинкту, она и сама не знала, до какой степени могла вводить в заблуждение других. Отсутствие секретов становилось для окружающих самой большой ее загадкой. Сама ее непринужденность приобретала опасный характер. Она представлялась загадочной из-за своей прозрачности.

Только раз увидела она Бонье в беспомощном состоянии. Это было 30 ноября 1900 года. Он пришел к ней, молча сел и попросил выпить. Она налила ему коньяку, он выпил и разразился рыданиями. Обхватив голову руками, он содрогался всем телом. Она попыталась его успокоить:

— Что случилось, Андре? Скажите… Доверьтесь мне…

И тут, сжимая ее руки в своих ладонях, не переставая рыдать, он произнес:

— Айседора, это ужасно… Только что скончался Оскар Уайльд.

В тот день великий писатель умер в отеле «Эльзас» на улице Боз-Ар в возрасте сорока шести лет. Айседора была ошеломлена. Конечно, она знала, как восхищался Андре автором «Портрета Дориана Грея», но не ожидала, что кончина писателя может так потрясти ее друга. Андре стал рассказывать ей о последних днях жизни Уайльда, о его горестной судьбе и несчастной кончине под именем Себастьена Мельмота. А когда Айседора с абсолютной наивностью спросила, за что писатель был заключен в тюрьму, он покраснел до корней волос и не стал отвечать. Весь вечер он провел у нее, то и дело его охватывала нервная дрожь, временами сменявшаяся рыданиями. Он непрерывно повторял:

— Вы единственная, кому я могу довериться.

При этом никакого признания он так и не сделал. Когда он поздно ночью ушел, ее охватили противоречивые чувства. В какой-то момент она даже спрашивала себя, не сошел ли он с ума. Больше всего ее огорчало, что она не сумела найти слов, чтобы его утешить.

Айседора мечтала о любви с Андре, ей хотелось разобраться в чувствах, в которых они запутывались с каждым днем все больше и больше. Движимая этим желанием, она решила, что пора поставить вопрос ребром.

И вот она приглашает Андре к себе на обед, а мать и Рэймонда отправляет в Оперу. За час до прихода гостя достает припрятанную бутылку шампанского, готовит вкусный обед, накрывает на стол, ставит цветы. Надев прозрачную тунику, вкалывает розы в прическу и ждет возлюбленного. Андре приходит, но, увидев и оценив ее приготовления, что-то бормочет, ссылается на срочную работу и, даже не допив бокала, исчезает.

Та ночь показалась Айседоре нескончаемо долгой. Одиночество и раненое самолюбие, разочарование и неудачи в любви, которую не могли заменить никакие творческие успехи. Ее терзали сомнения: а способна ли она вообще вызывать желание, есть ли в ней этот талант? Через несколько дней к ней зашел Жак Боньи, сын мадам де Сен-Марсо. Очаровательный, красивый, молодой, он настолько же весел, жизнерадостен и игрив, насколько Бонье застенчив и мрачен. Айседора выходит в свет с Жаком, у них завязывается легкий флирт. Она находит его остроумным, забавляется, как девчонка, забывает прежнюю неудачу, к ней возвращается уверенность, одним словом, она вновь становится Айседорой. К счастью, она наделена способностью забывать о тех, в ком разочаровывается, и интересоваться лишь теми, кто ее любит. Не из эгоизма, а в силу естественного чувства самосохранения.

Однажды вечером, после ужина с шампанским в ресторане, Жак Боньи повел ее в гостиницу. Они назвались месье и мадам Х***. Айседора вне себя от счастья. Она льнет к Жаку. Его ласки заставляют ее трепетать, нервы на пределе, сердце колотится все сильнее, сильнее. Живот и грудь наливаются желанием… вот… вот сейчас… «Жак…» Она откидывается на спину, закрыв глаза. «Жак…» Но он вдруг вскакивает, бросается на колени у ее ложа и, глядя на нее испуганными глазами, говорит:

— О, Айседора! Почему ты не сказала? Ты понимаешь, какое преступление я мог сейчас совершить? Ты должна оставаться девственной, моя Айседора. Теперь одевайся… Скорее, скорее одевайся!

А она лежит неподвижно, не может шевельнуть ни рукой, ни ногой. Он набрасывает ей на плечи платье. «Что происходит, Жак? — с трудом произносит она. — Объясни… я ничего не понимаю…» Она задыхается, не может говорить… Что она делает в этой комнате, с этим мужчиной? Она и сама не знает. Мысли путаются в голове. Все идет кругом. Какой-то кошмар… Он подталкивает ее к двери, чуть не бегом спускается по лестнице, увлекая ее за собой, и они вскакивают в первый попавшийся фиакр. Всю дорогу он не перестает обвинять себя, называя преступником, способным на самые подлые мысли, а она не может понять, в каком преступлении он себя обвиняет. В минуту прощания, перед дверью дома на авеню де Виль, дрожащим от волнения голосом он умоляет ее:

— Простишь ли ты мне когда-нибудь?

— Да за что прощать, Жак?

В ответ тот лишь опускает голову еще ниже.

— За что прощать? — повторяет она.

— Прощай, Айседора.

Андре… Жак… Имена с привкусом неудачи, вызывающие горькие воспоминания. Откуда этот страх, который она внушает мужчинам? Ясно: Жак испугался, что лишит ее девственности. Религиозность? — думает она, быть может, не без оснований. А Бонье, лишенный этих предрассудков? А Эйнсли? А Галле? Как объяснить, что эти мужчины отказались посягнуть на ее целомудрие? Айседора не в силах больше искать ответ на мучающий ее вопрос, она решает доверить свою тайну Мэри Дести, единственной подруге, которой можно было рассказать об этом.

— Дорогая Айседора, — мягко ответила та, — неужели вы никогда не поймете, что вы — богиня? Мужчины не спят с богинями.

— В конце концов, вы все мне надоели! — взорвалась Айседора. — Я женщина, слышите? Женщина. Как все остальные.

Как все остальные? Она действительно верит в это? Неужели она не видит или не хочет видеть все, что отличает ее от других? Нет, Айседора — не одна из женщин, она — Женщина с большой буквы. Ее открытость и откровенность не только в танце, но и в чувствах сбивает мужчин с толку. Создавая новую женщину — уже не XIX, а XX века — и новую манеру любить, она сталкивается с самым священным из всех запретов. Именно этого мужчины не могут понять…

ГЛАВА VI

«Я добьюсь того, что танец принесет мне те радости, которых лишила меня любовь», — запишет Айседора в своем дневнике на следующий день после приключения с Боньи. Все последующие месяцы она упорно работает над своей теорией, целыми днями простаивает неподвижно, скрестив руки на груди, на уровне солнечного сплетения, стараясь найти центральную пружину всякого движения, очаг движущей силы. Балетная школа считает, что эта пружина находится в центре спины, в основании позвоночного столба, почему у классических танцовщиков и наблюдается такая развинченная походка, словно у марионеток, приводимых в движение с помощью ниточек. Айседора же концентрирует медитацию в центре торса, куда сбегается музыка волнами вибрации.

Однажды Айседору пригласила выступить в своем особняке Элизабет де Караман-Шиме, графиня де Греффуль. Та самая, что послужила прототипом герцогини Германтской в цикле романов Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». В те годы она безраздельно властвовала в высшем свете Парижа.

Ее считали самой красивой женщиной своего времени. Светская хроника описывала в восторженных тонах ее божественную осанку, черные глаза, роскошные наряды. Портрет кисти Ласло изобразил графиню в блеске великолепия с презрительно сжатыми губами и высокомерным взглядом. В ее особняк, прозванный почитателями «Ватикан», вход был открыт только для коронованных особ или представителей старой аристократии. Например, для ее кузена графа Робера де Монтескью, князя Бибеско, представителей семей Полиньяков, Кастелланов, Пурталесов, графов де Гиш… Ее друзьями были Бранли, Роден, Бергсон. Благодаря ей публика открыла автора музыки со странными ритмами, небрежно одетого, с всклокоченной шевелюрой и трудно запоминающейся фамилией: Римский-Корсаков. Говорили, что графиня специализируется на музыкальных открытиях. Она являлась президентом Больших музыкальных прослушиваний Франции, активной сторонницей Байройтского театра. Именно в ее особняке вершились судьбы будущих знаменитостей и формировались музыкальные вкусы.

Чтобы продемонстрировать очередную находку, графиня велела переоборудовать большой салон. Под золочеными лепными украшениями были возведены подмостки и оборудовано место для музыкантов, стены и задник обили деревянной решеткой, которую украсили тысячью красных роз. С первыми же

аккордами «Ифигении» Глюка Айседора вылетела на подмостки, одетая только в прозрачную тунику, с распущенными волосами, с руками, поднятыми над головой, и босыми ногами на котурнах.

— Какой скандал! Элизабет с ума сошла, — ворчит чуть громче, чем следовало бы, какая-то старуха, склонившись к уху графини Адеом де Шевинье.

— Тише, тише…

— Нет, все-таки танцевать в таком виде перед потомками Караман-Шиме!..

Гости плотным кольцом окружают подмостки, их лица почти касаются ног юной нимфы. За столиками опустевших буфетов замерли по стойке смирно метрдотели. Опоздавшие гости робко пробираются вперед. Танцовщица изображает бегство, ее прекрасные ноги почти не касаются сцены. В момент, когда она изображает восхождение на алтарь, где ее ждет казнь, складки одежды плотно облегают высокую, напряженную грудь, а все бинокли одновременно взлетают к глазам. В конце танца девушка падает ниц, последнее содрогание ткани предвещает ее кончину. Долгая овация покрывает все шумы.

— Браво! Браво! — кричит Робер де Монтескью своим знаменитым фальцетом, воздев к небу руки с драгоценными жемчугами на пальцах.

— Настоящая Танагра[10], — восхищается граф Пурталес.

— Элизабет, где вы откопали эту женщину, словно сошедшую с античного барельефа? — спрашивает принцесса Эдмон де Полиньяк, предвкушая свой предстоящий прием.

Хозяйку дома окружает толпа мужчин в черных фраках и декольтированных дам, сверкающих бриллиантовыми ожерельями. А та загадочно улыбается и на вопросы «Кто это? Кто это?» отвечает:

— Девушка из Калифорнии, недавно приехавшая в Париж. Говорят — новый гений танца. Ее зовут Айседора Дункан.

Все возвращаются на свои места, чтобы смотреть вторую часть программы: «Песнь весны» Мендельсона и «Нарцисс» Невина — ее коронный номер. Она танцует его в венке из роз и с жезлом Вакха в руке.

Шум колес экипажей у парадного крыльца и крики лакеев, оповещающих о подаче карет, смешались с хвалебным гулом голосов разъезжающихся гостей. Айседора стала знаменитостью. Только скрипучее ворчание упрямой старухи нарушает радостный настрой:

— Нет, нет и нет! — твердит она своему спутнику. — Признайтесь, что эти американцы — дикари. Мыслимо ли появляться в салоне в таком наряде!

По правде говоря, Айседора тоже не очень довольна своим выступлением. Во-первых, ей кажется, что она плохо танцевала. В зале было слишком жарко и душно из-за аромата цветов. Что за идея: украсить сцену розами! И потом, все эти люди судят о Греции по «Афродите» Пьера Луиса[11] да по его «Песням Билитис». «А я, — думала она, — приношу им античную Грецию, ту, что мы видим на фризе Парфенона, Грецию Еврипида и Перикла. Ничего-то они не поняли в моем выступлении».

На следующий день она получает записку от графини де Греффуль: «Вчера вечером я присутствовала при подлинном возрождении искусства Древней Греции. Спасибо». И постскриптум: «Вы можете зайти к моему консьержу и получить ваш гонорар». Несмотря на унизительную приписку, послание это означало официальное признание.

А через несколько дней, дождливым вечером, к Айседоре пришла полная дама в черном. Внушительная внешность певицы вагнеровских опер, прекрасное лицо, несмотря на тяжелый подбородок.

— Меня зовут княгиня де Полиньяк. Я видела, как вы танцевали у графини де Греффуль. Мой муж тоже очень хотел бы увидеть вас.

Урожденная Виннаретта Зингер, дочь знаменитого изобретателя швейной машины, принцесса де Полиньяк родилась в Америке. Отец ее, выходец из лютеранской семьи эмигрантов, женился в 1862 году на француженке, большой любительнице музыки и театра, одной из вдохновительниц проекта статуи Свободы скульптора Бартольди, воздвигнутой при входе в порт Нью-Йорка. Виннаретта была вторым ребенком в семье. Ее прозвали «принцесса Винни» после того, как в возрасте двадцати восьми лет она вышла замуж за принца Эдмона де Полиньяка, бывшего на тридцать лет старше ее. Принцесса отлично играет на рояле и органе, она приглашает Айседору прийти к ней завтра познакомиться с ее мужем. Скромным жестом кладет на стол конверт. Едва она вышла, как Айседора поспешно открыла конверт и обнаружила в нем две купюры по тысяче франков.

Принц Эдмон де Полиньяк, истинный аристократ прошлого века, сочетал в себе манеры богатого барина и эрудицию ученого. Все это дало основание Прусту сравнить его с заброшенной башней замка, переоборудованной в библиотеку. Принц страстно любил музыку и сам сочинял, его особняк на улице Кортанбер был превращен в музыкальный салон. Именно там Пруст впервые услышал пьесу Форе, которая вдохновила его, как полагают, на написание сонаты Вентейля.

Принц принял танцовщицу с очаровательной простотой. Он

сыграл ей на старинном клавесине несколько своих мелодий, попросил ее станцевать и высказать свою концепцию движения и звука. Она выложила ему все, что думала, с непосредственностью, на которую не часто решалась в разговорах со светскими людьми. К этому хрупкому старику, закутанному в плед, с шапочкой из черного бархата, которую он никогда не снимал, будучи чрезвычайно зябким, Айседора сразу прониклась доверием. На его лице она читала доброту и нежную чувствительность, какой никогда не видела среди людей его крута. Художник в нем брал верх над аристократом. В конце визита он воскликнул: «Какое очаровательное дитя! Айседора, ты прекрасна!»

Итак, Полиньяки устроили прием в ее честь. Их салон оказался более открытым, чем у графини де Греффуль, что позволило Айседоре расширить крут своих зрителей. Вскоре она танцует у Мадлен Лемер, и та обещает сделать ее известной всему Парижу. Потом — опять выступление на улице Кортанбер. Успех на этих вечерах наводит ее на мысль о концертах «по подписке» в своем собственном ателье. Конечно, мест в нем мало, на двадцать — тридцать человек, но зато какая публика! Рисовальщик Форен с его разносторонним талантом, в том числе язвительного карикатуриста, молчаливый, с веселым взглядом и насмешливо оттопыренной нижней губой. Художница Мадлен Лёмер, пишущая главным образом цветы, любительница светских приемов, со старушечьим лицом под толстым слоем грима. Драматург Анри Батай, с бледным высоким челом мыслителя, с лихорадочным блеском глаз, с горькой складкой у рта, старательно подчеркивающий свое внешнее сходство с Бодлером. Его называют новой звездой на небосклоне психологической драмы. Его муза — Берта Бади, красавица с кошачьими манерами и внезапными приступами покорности. Поэтесса Анна де Ноай, то поглаживающая, то откидывающая маленькой ручкой, украшенной тяжелым сапфиром, прядь своих черных волос. Журналист Жан Лоррен, прозванный Элагабалом парижской жизни, с огромным животом и рыжим, выкрашенным хной хохолком. Муне-Сюлли, сошедший с Олимпа «Комеди Франсез», с распущенной гривой волос и голосом, подобным колоколу. Художник Эжен Карьер и, разумеется, принц и принцесса де Полиньяк, самые верные «болельщики» юной танцовщицы. Как-то во время ее выступления принц, рискуя подхватить насморк, в порыве восторга сорвал с головы свою бархатную шапочку и, размахивая ею, кричал: «Да здравствует Айседора! Да здравствует Айседора!»

Однажды вечером посмотреть танец юной знаменитости пришел невысокого роста сухощавый мужчина с гладкой головой

и кустистыми усами, похожий на полковника в отставке. «Юная американочка когда-нибудь перевернет весь мир», — шепнул он на ухо своему соседу. Это был знаменитый Клемансо, который скоро станет завсегдатаем вечеров Айседоры.

Ателье на авеню де Вилье все больше превращается в светский салон. Сливки литературных и художественных кругов устраивают здесь свои встречи: звучит музыка, Берта Бади читает последние стихи Анри Батая, Лоррен рассказывает новости с выставки, передает разговоры, услышанные на бульварах, закулисные сплетни, показывает наброски, сделанные во время народных гуляний. Раймонд читает лекции о Греции. Клемансо рассуждает о танцах Айседоры. И все это под благожелательным взглядом миссис Дункан, с довольным видом взирающей на гостей.

Широкая публика по-прежнему не знает Айседору, зато она покорила любителей искусства. Что ж, неплохое утешение: быть понятой и слышать аплодисменты happy few («небо многих счастливцев»), создающих и разрушающих репутации. Особенно дорого сердцу Айседоры признание Эжена Карьера: «Стремясь выразить человеческие чувства, Айседора нашла самые прекрасные образцы именно в искусстве Древней Греции. Ее вдохновляют великолепные фигуры на барельефах, и она восхищается ими. Наделенная даром первооткрывателя, она обратилась к природе, откуда взяты эти движения. Желая подражать греческим танцам и возродить их, она нашла собственный способ самовыражения. Ее желания выражаются в забвении момента и в поиске счастья. С блеском рассказывая нам о своей прекрасной натуре, она вызывает в нас воспоминание о нашей природе. Как греческие творения оживают в какой-то момент перед нами, так и мы молодеем, глядя на нее, в нас рождается и побеждает новая надежда, а когда она выражает покорность перед неизбежностью, мы вместе с ней подчиняемся року. Танец Айседоры Дункан — это не развлечение, это — выражение личности, живое произведение искусства».

От близкого общения с великими молодой артист часто рискует потерять свое «я». Ослепленный успехом других, он перестает думать о себе и живет впечатлениями участия в празднике, в котором не играет никакой роли. Но Айседоре нечего бояться: инстинкт предостерегает ее от такой опасности. Знакомство со столь выдающимися личностями отнюдь не вскружило ей голову, а лишь яснее продемонстрировало всю неприглядность ее положения. Семья Дунканов постоянно испытывает нужду. Правда, деньги они транжирят с головокружительной скоростью. Тощие гонорары Айседоры

улетучиваются за считаные часы. Долги накапливаются, а жилище не отапливается — нет угля. Стекла окон покрыты слоем инея, в щели дует ледяной ветер. Посреди комнаты стоит большая чугунная печка, разинув черную пасть топки в ожидании огня. К счастью, движения танца разогревают мышцы, и тело приобретает нужную гибкость, несмотря на холод. Айседора работает целыми днями и вечерами, а порой и ночами. Нередко утренняя заря застает мать и дочь в самый разгар работы.

— Матмуазель Тункан?

Вошедший мужчина одет в просторную шубу с бобровым воротником, из которого выглядывает огромная красная физиономия. Толстыми пальцами, украшенными бриллиантовыми перстнями, он протягивает визитную карточку.

— Я приехаль ис Берлин. Я слишаль, что ви танцевать посиком. Я приехаль пригласить фас в сами польшой мюзик-холл в Германия. Ошень-ошень корош контракт, коспоша Тункан, ошень корош, — добавляет он, щуря свои поросячьи глазки, прячущиеся в обрюзгшие подушки щек. — Тля началь претлакаю фам пятьсот марок за один ветшер. Потом путет польше. Ви будет перфи ф мире танцофщиц посиком. Die erste barfuße Tänzerin. Kolossal! Kolossal!

— Вы что, смеетесь надо мной? Танцевать в мюзик-холле между акробатами и дрессированными собачками? Ни за что на свете!

— Но это есть невосмошно! Unmöglich, unmöglich. Ви не мошете откасаться. Контракт уше написан и лешит в мой карман. Эсли услофий фам не потходит, мошно опсушдайт…

Этот спор выводит Айседору из себя. С нескрываемым презрением глядя на торгаша, вытирающего пот со лба (он только что поднялся пешком на пятый этаж), она обрушивает на него весь поток известных ей бранных слов.

— Так что, сударь, нам не о чем больше говорить, — заканчивает она, выпятив упрямый подбородок.

— Постойте, постойте, не нато нервничат, фрау Тункан. Фот! Я претлакаю тепер тисяча марок. Итёт?

Она кидается к двери и кричит:

— Уходите! Я уже сказала: нет, нет и нет!

— Как это? — поперхнувшись, недоумевает немец. — Ви отказифайтесь от тисяча марок? Тисяча марок? — Он уже на грани сердечного приступа.

— Да хоть десять тысяч, сто тысяч марок, все равно отказываюсь! Чтобы я танцевала в мюзик-холле? Ни за что! Я отказываюсь от этого трюкачества! А теперь уходите! И чтобы ноги вашей здесь больше не было!

Некоторое время тому назад Раймонд начал флиртовать с молодой американской актрисой, приехавшей попытать счастья в Старом Свете. Ранним утром она подсовывала под дверь ателье записочку, пахнущую фиалками, и Раймонд исчезал из дому. Однажды он сообщил сестре, что барышня возвращается на родину и он намерен ехать с ней. Айседора сделала все, чтобы отговорить его, но — напрасно. К тому же он получил приглашение прочитать цикл лекций в Соединенных Штатах.

Августин женат, он — отец семейства, Элизабет преподает танец в Нью-Йорке, Раймонд уезжает за своей звездочкой… Айседора осталась с матерью одна, и та сосредоточила на ней все свои заботы. Она гордилась знатными знакомствами дочери, ее успехами в свете, и безграничная материнская преданность становилась с каждым днем все обременительнее. Сама того не замечая, Мэри превращалась в некую дуэнью, со всем тиранническим и комическим, что связано с этой ролью. Айседора обычно бунтовала против малейшего посягательства на свою свободу, но в данном случае покорно смирилась с этой чрезмерной опекой. Ведь и она очень нуждалась в помощи матери.

Айседора сохранила сильное впечатление от посещения павильона Родена на Всемирной выставке. Ей очень хотелось побывать в ателье мэтра, и она написала ему письмо с просьбой принять ее. Получив любезное приглашение, через неделю она уже направлялась легким шагом к Университетской улице, подобно Психее, разыскивающей бога Пана в его пещере.

С длинной старческой бородой, седой шевелюрой, подстриженной ежиком, грубыми и хитроватыми чертами лица, пронизывающим острым взглядом из-под ресниц, Огюст Роден напоминал фавна, ставшего отшельником. Он принял танцовщицу тепло, по-дружески.

Но те, кто был с ним знаком поближе, знали, чего можно от него ожидать. Дело в том, что Роден считал себя величайшим скульптором всех времен и народов. «Он более велик, чем Микеланджело», — осмелился сказать какой-то перестаравшийся льстец. На что Роден скромно ответил: «Ну-у… скажем, так же велик».

Взяв за руку юную американку, он стал показывать ей свои произведения, расхаживая, словно языческий бог, среди только что созданных им творений. Холодная вода стекала с глиняных слепков, забинтованных холстами, подобно человеческим эмбрионам, вырвавшимся из небытия. Останавливаясь у каждой скульптуры, он медленно вращал ее на подставке, тихо произносил название и прикасался к ней рукой так чувственно,

словно хотел, чтобы мрамор смягчился под его лаской. Иногда он сопровождал свой жест комментарием:

— Видишь ли, малышка, самое главное — избегать лишних деталей. Они убивают движение, полет, мешают оторваться от земли, понимаешь? — Не переставая говорить, он взял кусок глины и стал небрежно мять его ладонями. — И вот что я еще скажу, малышка. Нужно изображать то, что мы видим, а не то, что мы знаем. В каждом лице, например, есть какая-то доминирующая черта. Так вот, именно ею и надо заняться, но только ею. Забывая все, чему учился. Ты видишь главное и устремляешься к нему.

Через несколько минут глина превращается в женскую грудь, пульсирующую под его пальцами. И словно эта мысль — только что пришла ему в голову, просит:

— Деточка, а ты не могла бы станцевать что-нибудь для меня? Мне хочется зарисовать твои движения.

— О, конечно, мэтр, — отвечает она радостно.

Он тут же хватает альбом и карандаш, берет ее за руку, как ребенка, выводит на улицу, садится на извозчика, и они едут к ней, на авеню де Вилье. Миссис Дункан дома нет. Айседора быстренько надевает тунику и начинает танцевать перед старым фавном на тему идиллии из Феокрита:

Пан любил Нимфу,
А Эхо любила Сатира…

Положив альбом на колени, прищурив глаза, поблескивающие за стеклами пенсне, Роден смотрит то на натурщицу, то на бумагу, а гибкая рука быстро рисует. Временами он просит танцовщицу сохранить позу, пока не схватит движение. Вдруг поднимает голову и долго разглядывает ее, не говоря ни слова. Потом медленно выпрямляется, подходит к ней и под предлогом выправить какую-то деталь проводит рукой по шее, двигаясь к груди, ниже, вдоль бедер, по голым ногам, при этом то сильно нажимает на тело всей ладонью, то нежно касается, почти не притрагиваясь. К голове его приливает кровь, две голубые вены вздуваются у висков. В первый момент Айседора поддается пробегающей по всему телу дрожи. Чувствует, что тает под жаром, исходящим от него, как от кузнечного горна. И вдруг, последним усилием воли, а может быть, из-за отвращения к этому старику, который, тяжело дыша, прижимается к ее коленям, она вырывается из его объятий, бежит к вешалке, набрасывает на плечи пальто. Мэтр с трудом встает, бормочет извинения, кладет в карман альбом и уходит, как

отвергнутый школьник.

«Микеланджело» XX века отнюдь не обиделся на непокорную нимфу и даже прислал ей через несколько дней записку. В ней был самый лестный отзыв, какой она когда-либо получала, и этот текст стали включать в программы ее выступлений:

«Айседоре Дункан, похоже, не понадобилось больших усилий, чтобы стать живым скульптурным выражением чувства. От природы получила она ту силу, что называется не талантом, а гениальностью.

Мисс Дункан в буквальном смысле слова объединила жизнь и танец. На сцене она естественна, как это редко встречается. Танец ее подчиняется рисунку, и она проста, как античное произведение, а это синоним Красоты. Гибкость и эмоциональность — вот великие качества, составляющие душу танца, это высочайшее и цельное искусство.

Огюст Роден».

ГЛАВА VII

— Входите, darling[12], не стойте на пороге. Во-первых, сквозняк, во-вторых, плохо вижу вас.

Айседора решается не сразу. Войдя, видит в углу огромного красно-золотого гостиничного салона полулежащую Луа Фуллер с бокалом в руке, в окружении своих валькирий: более десятка великолепных девушек, покорных, как рабыни.

— Голубка, милая, принеси, пожалуйста, еще льда, я страдаю нестерпимо… это ужасно…

Пока «голубка» осторожно укладывает мешочек со льдом между спинкой софы и поясницей хозяйки, та обращается к другой девице:

— Федерика, сокровище мое, налей-ка нам еще шампанского и угости, пожалуйста, мисс Дункан. Садитесь рядышком, дорогая Айседора. Дайте ваши руки. Боже мой, до чего она очаровательна! Какое чудное дитя! Просто ангел! Посмотрите, какие глаза!.. А талия — как у сильфиды! А? Что скажете, девочки? Прошу вас ее не обижать, она под моим покровительством, слышите? Я предложила ей ангажемент. Она приедет вслед за нами в Берлин. Как я рада, Айседора! С тех пор как я увидела ваш танец, только о вас и думаю. Я так и сказала Полиньяку: «Вот наконец-то девушка, которая может много сказать своим телом». А ты довольна, что поедешь с нами?

— О, мадам…

— Ты увидишь, тебя будут холить, как принцессу. К тому же рядом будет Сада Якко. Знаешь, великая японская трагическая актриса…

— Я видела ее выступление на выставке. Она великолепна.

— Ну так вот, я — ее импресарио. Ты будешь выступать на той же сцене, в тот же вечер.

Ну как тут отказать? Луа Фуллер… Сада Якко… Германия… Айседоре кажется, что все это сон. Ее не шокирует, а скорее забавляет фамильярность, царящая в царстве юных, воинственных девственниц, все эти «дорогуши», «голубки», «амурчики». Она, конечно, знает (да и как не знать?), что Фея Света поклоняется Богу, царившему на острове Лесбос. И хотя Айседора не разделяет подобного влечения, нельзя сказать, что та чувственная нежность, которой ее тотчас окружают, ей не нравится. И может быть, в глубине души она испытывает тайную потребность в этом.

Через неделю она уже в Берлине, в отеле «Бристоль» на Вильгельмштрассе, где труппа разместилась двумя днями раньше. Проезжая мимо колоннады на Потсдамплац, она не может

удержаться и вскрикивает: «Да это же Греция!»

В первый же вечер по прибытии Айседора присутствует на премьере Луа Фуллер. Это чудесное зрелище. Что может быть общего между воздушным созданием, превращающимся то в бабочку, то в орхидею, то в сверкающую спираль, уносящуюся ввысь капризным завитком, и этой толстой женщиной, развалившейся на диване и еще за час до спектакля прикладывавшей лед к пояснице? С помощью прожекторов и бесконечных легких тканей, приводимых в движение из-за сцены, Луа Фуллер создает феерию света: фосфоресцирующие тропические пейзажи, опаловый перламутр морских чудовищ, колыхание медуз, танец светлячков, огненные вихри… Цвета перемещаются, движутся и затухают в потоке летучих паров. Бабочка, греческая статуя, цветок, ручей, летучая мышь, живой факел… Луа Фуллер — танцовщица огня.

Однако вскоре Айседоре становится невыносима повседневная жизнь в труппе скульптуроподобных девиц, развращенных алкоголем и наркотиками. Временами она спрашивает себя, что она делает среди этих галлюцинирующих амазонок? Одна из них, высокая рыжая танцовщица, страстно влюбилась в новенькую. Во время турне в Мюнхен и в Вену она всегда ухитрялась делать так, чтобы оказаться в одной комнате с Айседорой. Как-то ночью, в Вене, часа в четыре утра эта рыжая встала, зажгла свечу и подошла к постели подруги. Айседора проснулась и закричала, увидев перед собой белое привидение.

— Молчи, — тихо проговорила та. Поставила свечу на ночной столик и сказала: — Слушай, Айседора. Бог повелел мне тебя задушить.

— А до завтра нельзя подождать? — Нет.

— Хорошо, — отрешенно ответила Айседора. — Только позволь помолиться в последний раз.

— Молись, но побыстрее.

Айседора вьшрыгнула из постели, выскочила в коридор, рыжая — за ней, угрожая убить ее. Айседора разбудила сторожа:

— Помогите! Она сошла с ума! Хочет меня убить!

На крики прибежал привратник, не без труда они связали сопротивляющуюся фурию и вызвали «Скорую помощь». Рыжая истерически выкрикивала бессвязные фразы, из которых следовало, что у них с Айседорой были интимные отношения и теперь ненасытная американка преследует ее день и ночь…

— Уверяю вас, — говорит она доктору, — под личиной невинности скрывается вампир. Освободите меня от нее.

Ее отвозят в лечебницу.

Вернувшись в комнату, Айседора провела остаток ночи в

постели в состоянии полной прострации. В ушах не умолкали крики несчастной, забыть ее горящие ненавистью глаза было невозможно. Вместе с тем она представляла гнев Луа Фуллер, когда та узнает об изоляции своей подруги. Она знала дикий нрав Огненной Дамы, знала, на какое насилие та способна. Под впечатлением этих эмоций Айседора впервые всерьез задумалась над своей жизнью за последние годы. С ужасающей ясностью она увидела, что мечты ее поруганы, надежды не оправдались, любовные дела кончились фарсом. Одиночество обступило ее со всех сторон. Она сидела на постели с широко открытыми глазами, окруженная темнотой и тишиной.

Слезы непроизвольно полились из глаз, и она долго не могла успокоиться. Потом завернулась в простыни, поджала ноги, скрестила руки на груди и тихо уснула.

Наутро первым делом она послала телеграмму матери: «Срочно приезжай Вену. Целую. Дора». На следующий день Мэри Дункан была рядом с дочерью. Без долгих объяснений она отвела ее к венгерскому импресарио Александру Гроссу. Тот видел выступление Айседоры во Дворце искусств.

— Если хотите иметь обеспеченное будущее, приходите. Я заключу с вами ангажемент на турне в Будапешт.

Гросс предложил ей контракт на тридцать выступлений подряд в театре «Урания». Впервые она будет танцевать одна перед настоящей публикой, с репертуаром по своему выбору. Но вдруг ее охватил страх.

— Вы знаете, мои танцы рассчитаны на артистов, интеллигентов, они не для широкой публики.

Гросс решительно развеял эти опасения: нет хуже зрителя, чем артисты. Если она сумела понравиться им, тем более понравится широкой публике, народу: «Именно его вы взволнуете сейчас больше всего».

— Вот увидите, у вас будет грандиозный успех, — сказал он на прощание.

Контракт был подписан, но опасения Айседоры не уменьшились.

Апрель 1902 года. Весна в Будапеште. Город прекрасен в блеске молодой силы и ярких красок. На одном берегу старая часть города, Буда, с ее парками и виноградниками, с цитаделью и королевским замком. На другом берегу — Пешт, нижняя часть города, с великолепными зданиями, отражающимися в реке. Между ними Дунай… Река — вальс. Все как в сказке. Цвета яркие, как на открытках. Даже пароходы, снующие по волнам, непохожи на настоящие. И повсюду — на набережных, вокруг крепости, в парке, на острове Маргариты и на площади Святого Георгия, в

воздухе витает запах сирени. А в ресторанах, пивных, в кафе, на каждом углу — цыганские скрипки, их звуки пьянят душу. Это музыка-дурман, полная страсти и ностальгии, от нее хочется умереть, оплакивая потерянные воспоминания.

Гросс не ошибся. Премьера в «Урании» прошла с триумфом. Целый месяц театр был набит битком. Айседора танцует при аншлаге перед неистовствующим залом. Однажды, когда занавес уже опустился, Айседора делает знак дирижеру и импровизирует на тему «Голубой Дунай». Зал обезумел: оглушительные крики «Eljen! Eljen!» (Браво!), на сцену летят головные уборы. Сидя в гримерной, усталая, но счастливая, со слезами радости на глазах, она видит перед собой молодого человека, протягивающего ей визитную карточку: «Оскар Бережи, Королевский национальный театр». Красавец. Все драгоценности мира можно отдать за иссиня-черные кудри, за один взгляд карих, слегка раскосых глаз. Идеальный овал лица, чувственные губы, безукоризненно прямой нос… «Да это Давид, творение Микеланджело!» — думает про себя Айседора. И вот статуя оживает и говорит:

— Ваше лицо подобно цветку. Мне так хочется, чтобы вы пришли посмотреть меня в театре. Я играю роль Ромео. «Кого же еще ему играть!» — думает Айседора.

На следующий день, в сопровождении матери, ни на шаг ее не оставляющей, она сидит в первом ряду Королевского национального театра. Оскар не играет Ромео. Он — сам Ромео, молодой, пылкий, поэтичный. Когда он произносит:

> Но что за блеск я вижу на балконе?
> Там брезжит свет. Джульетта, ты как день![13]

— то отворачивается от партнерши и смотрит в упор на Айседору. А она так очарована его красотой, что ей кажется, будто он говорит не текст пьесы Шекспира, а признается ей в любви. Но любуется она им чуть отстраненно, не желая полностью отдаться своим чувствам. Что-то мешает ей, какая-то преграда отделяет ее от предмета желаний. Это наслаждение напоминает ей детскую радость, с какой когда-то она поглощала мороженое, терпеливо растягивая удовольствие.

После спектакля Оскар провожает мать и дочь в гостиницу «Хунгария». После веселого ужина втроем миссис Дункан удаляется в свою комнату, а молодые люди остаются в салоне. И тут Ромео падает к ногам Айседоры:

— О, Айседора! Свет очей моих! Благодаря вам теперь я знаю, как надо играть Ромео. Вы меня вдохновили. Ваша любовь сделает из меня большого актера, я уверен.

Дальше все происходит словно в головокружительном танце. Время остановилось. Жизнь, театр, любовь слились воедино. Оскар обнимает Айседору, покрывает всю горячими поцелуями, едва не задушив:

Я ваших рук рукой коснулся грубой.
Чтоб смыть кощунство, я даю обет:
К угоднице спаломничают губы
И зацелуют святотатства след.

Как оказалась она обнаженной рядом с его обнаженным телом? Она не помнит. Не знает, почему укусы Ромео для нее слаще ласки и почему у его губ вкус весенних цветов. И нет никакого желания сопротивляться. Наоборот, есть желание полностью отдаться его воле. И это вовсе не бред, а острое просветление ума, какое бывает порой от алкоголя или наркотика. Ей хочется быть покорной ему, и она прижимается грудью к его упругому животу. Думать о наслаждении. И повторять, повторять его. Ничего не упустить. Быть жадной, но нерастерянной. И оставаться собой, как всегда.

Крик. И боль с привкусом освобождения. Острая и сладкая боль, глубокая и легкая. Уходящая внутрь, рассыпающаяся мелкой дрожью. Боль улетает, взмахнув крыльями. Словно что-то живое трепещет в ней и хочет вырвать тело из земного притяжения.

Нет, это были жаворонка клики,
Глашатая зари…

Сквозь полуприоткрытые ставни прохладный ветерок овевает сплетенные тела. Начинается самое прекрасное утро в ее жизни. На смену ночи любви приходит заря, бодрящая, как струя родниковой воды.

— Скорее одевайся. Я тебя увезу.

— Куда?

— Куда-нибудь… За город. Мне ужасно хочется оказаться среди деревьев. Пить парное молоко.

В экипаже, увозящем их за город, он кладет голову ей на плечо, а руками обнимает за талию. Его жесты напоминают движения непроснувшегося ребенка. Она улыбается. Бубенчики весело позвякивают на упряжи. Небольшой белый с красным плюмаж придает коням праздничный вид. Да и весь город сверкает, как свадебный кортеж. На всех балконах за фигурными

решетками сияют улыбками разноцветные букеты.

С высоты средневековых укреплений виден весь Будапешт. Сквозь утренний голубой туман над Дунаем просматривается гигантская арка моста Ланцхида. За ними блестят купола Парламента и Оперы. А вокруг — виноградники и дубравы. Внизу — ложбина, усыпанная белыми домиками, в них — рестораны и та деревенская таверна, куда Ромео ведет Айседору.

Не сон ли это? Старый колодец посредине крестьянского двора, грубая мебель, лубочные картинки на стенах, деревенская кровать, покрытая толстым одеялом из набивной ткани. Не декорация ли это для опереточного спектакля? А часы, проведенные в этой комнате в любовных утехах, когда можно подолгу молча смотреть друг на друга и лишь изредка произносить самые чудесные на свете слова: «Я люблю тебя», ибо нет ничего сильнее этих слов, когда тела говорят друг другу так много, когда каждый миг наполнен бесконечностью и кажется, что минуты разрывают границы времени и улетают в неведомые дали… Наверное, это и называется счастьем?

Айседора, Ромео… Вот они стоят у окна друг против друга, готовые вернуться в Будапешт, где сегодня вечером он играет, а она танцует. Она неотрывно смотрит на него, в ее глазах отражается небо, счастливая улыбка озаряет лицо — все говорит о ее полной самоотдаче, доверии и удивлении и о том, что она счастлива. Но, как ни странно, при этом маленькие руки ее, тонкие и вместе с тем сильные, говорят о другом. Привычным жестом она соединяет мизинцы, большие и указательные пальцы обеих рук, направляет их в сторону Ромео, тогда как остальные пальцы согнуты и прижаты к ладоням. Этот машинальный жест противоречит сияющему выражению лица, он выражает напряженную сдержанность и постоянную ясность сознания.

Но пора ехать. Ромео — к театральной Джульетте, ждущей его за кулисами, Айседоре — танцевать жертвоприношение Ифигении на музыку Глюка.

Через три дня заканчивался театральный сезон в Будапеште. На последнем представлении Айседора вызвала на сцену оркестр цыган и, надев красную тунику, танцевала под знаменитый «Ракоци-марш» — национальный гимн венгров, символ венгерской революции. Весь зал поднялся и подхватил хором эту песнь любви и борьбы. В тот вечер ее несли на руках как победителя до самой гостиницы.

На следующий день они с Оскаром отправились в их хижину. Никогда еще не испытывала она такого пожара чувств. Порой казалось, что все — танец, мысли и даже та критическая дистанция, которую она всегда старалась сохранять между

своими страстями и действиями, — все это сгорит в огне высшего триумфа, пожирающего их слившиеся тела. Она чувствует, что уже готова отказаться от мира за мгновенную дрожь, пронизывающую все тело… Именно сейчас, на подъеме славы, когда жизнь становится осмысленной, именно сейчас она может отказаться от танца, может расторгнуть контракты, пойти на саморазрушение, на смерть. Могила Джульетты… Гробница страсти…

По возвращении в Будапешт ее ожидал сюрприз: сестра Элизабет приехала из Нью-Йорка. Радость свидания длится недолго. Мать и сестра осуждают поведение Айседоры. «Настоящий скандал! Весь Будапешт знает о твоем романе с этим актером. Даже в газетах пишут. Пора заканчивать, Айседора, иначе ты пропадешь, и твое искусство вместе с тобой…»

Измученная сомнениями, она упрашивает их поехать туристами в Тироль. А для нее Александр Гросс организовывает турне в лучшие курортные города Богемии: Карлсбад, Франценсбад, Мариенбад… Империя Габсбургов переживала свои последние празднества.

Повсюду ее встречают, как юную богиню, спустившуюся с Олимпа. Кони, украшенные плюмажами, лентами и кокардами цветов национального флага Венгрии, возят ее, одетую в белую тунику, по улицам в открытой коляске, усыпанной лилиями.

Но этот триумф, восторженные крики при первом ее появлении на сцене не могут заставить забыть Ромео. Разлука с ним становится с каждым днем все мучительнее. Как бы ей хотелось убежать ото всех, лишь бы соединиться с ним! Она считает дни и часы, оставшиеся до их свидания.

Наконец долгожданный час настал. Он встречает ее в Будапеште на перроне. Оставшись одни, они вновь обретают друг друга, те же слова и движения, та же неутолимая жажда обладания. Но ей кажется, что в Оскаре что-то изменилось. Как будто другая душа поселилась в нем. Или, вернее, чужая душа овладела им. Через час она поняла. Незнакомец, вставший между ними, носит имя Марка Антония, будущей роли. Ромео уже не совсем Ромео, он превращается в Марка Антония. Живет своим персонажем, пропитывается им, привязывается к нему до одержимости, постепенно сбрасывает с себя прежнюю кожу.

Молодой римский полководец говорит уже не так, как говорил благородный красавец из Вероны. Изменился и голос, и взгляд. Не тот тон, не те жесты. Перевоплощение актера! Айседора начинает сожалеть об исчезновении Ромео. А Марк Антоний поговаривает о женитьбе как о решенном деле. Она удивляется: «Ты мне ничего об этом не говорил!» Уступая ему,

она ездит с ним по Будапешту в поисках квартиры. Проходят дни, и она чувствует, что рядом с ее счастьем поселяется тревога. Женитьба? Хорошо. А как же танцы? Она была готова отдать жизнь за любовь, но не за супружескую жизнь.

Однажды, после очередного утомительного поиска квартиры, она берет его за плечи:

— Оскар, ответь откровенно. Что я буду делать, когда мы поженимся?

— Милая, у тебя будет ложа в театре, и ты будешь приходить каждый вечер смотреть, как я играю. А еще будешь помогать мне репетировать роли. Ты не представляешь, как ты мне нужна.

Надо сказать, так оно уже и происходит. Целыми днями Оскар работает над образом Марка Антония, которого он должен играть в следующем сезоне, а Айседора подает ему реплики. Она читает за Юлия Цезаря, Брута, Кассия, за толпу римлян… Нет, роль Джульетты была ей больше по душе.

Как-то, когда они прогуливались в романтической роще Нориафа, он наконец-то признался, что, возможно, было бы лучше для них обоих, особенно для нее, если бы каждый продолжал работать в своей профессии. Сказал он это проникновенно, как опытный актер, импровизирующий на тему о разрыве. Он вложил в этот монолог весь свой талант: мягкие модуляции голоса, верно и точно выбранные жесты… А главное — улыбка! Не забыть про улыбку!.. Ни в коем случае не ироническую, это было бы неуместно. Скорее — покровительственную. Его герой обращается к девушке искренней и немного наивной, которой он преподал урок любви. Избегать презрения! Это было бы похоже на мелодраму. Должны звучать отцовские интонации. Нет. Лучше как у старшего брата. Побольше нежности. Как можно больше нежности. «Милая Айседора, ты знаешь, какое это будет горе для меня». Вот так хорошо. Даже отлично. А текст? Недурно, а? Вообще-то, может быть, стоило бы податься в драматурги? Еще когда он учился в консерватории, товарищи завидовали его искусству импровизатора. Браво, Оскар, браво.

Будь она актрисой, то, наверное, сумела бы подать ему реплику, пьеса была бы сыграна, и занавес можно было бы опускать. Но она никогда не была актрисой. К тому же в амплуа брошенной любовницы она дебютировала, роль свою выучить не успела, и никто ее этому не научил. И она осталась стоять, не говоря ни слова, стараясь лишь не расплакаться, унять дрожь, даже попыталась улыбнуться ему после бесконечной паузы.

— Ты прав, Оскар. Я тоже считаю, что нам лучше расстаться. К тому же, знаешь, я не создана для супружеской жизни. Буду

искренна, как и ты: я всегда считала, что супружеская жизнь ужасна.

Оскар вздохнул с облегчением. Он опасался криков, слез, проклятий… Ни за что не подумал бы, что она так правильно все воспримет. И все же почувствовал, что ему недостает «грандиозной сцены в четвертом акте», к которой он так готовился. Даже обидно.

— Лучше, если мы расстанемся здесь, — сказала она.

— Я провожу тебя.

— Не стоит. Прощай, Оскар. Желаю тебе удачи. Ведь ты создан для счастья. И знаешь, ты будешь великолепным Марком Антонием.

— Ты думаешь?

— Уверена.

Вернувшись в гостиницу, она почувствовала нервный озноб. Все тело сжималось от спазмов. Она задыхалась. Мать и сестра испугались и вызвали врача. Тот выписал успокоительное и заверил: «Через пару дней ей станет лучше». Но этого не случилось.

Айседоре становилось все хуже и хуже. Дни и ночи сидела она в кресле, в состоянии полной прострации, с остановившимся взглядом, молча, отказываясь от еды. Временами ее лицо заливали слезы, хотя она не плакала, черты лица оставались бесстрастными, она как будто отсутствовала, погруженная в свои мысли. Словно тело реагировало автоматически, без всякого контроля с ее стороны. В конце концов ее положили в больницу. У ее изголовья сидели по очереди мать, сестра и жена импресарио. И только через месяц она стала выходить из состояния глубокой депрессии.

Прежде чем ехать в Мюнхен, где Гросс организовал для нее серию представлений, ей посоветовали поехать на несколько дней отдохнуть в Аббацию, небольшой курорт на берегу Адриатического моря.

Аббация… Дворцы в стиле барокко, виллы, утопающие в зелени пальм, музыкальные беседки, чайные павильоны а-ля Трианон. Каждый день небольшой пароходик совершает рейсы от курорта до Фиуме, что на другом берегу залива. В воздухе разлита меланхолия, характерная для конца сезона. Около пяти часов пополудни отдыхающие собираются у Кальдьеро полакомиться мороженым. Завсегдатаи — скучающие аристократы, циники-дипломаты, тоскующие вдовушки и гомосексуалисты, изгнанные из своих стран. Оркестр, состоящий из одних женщин, неустанно наигрывает вальсы Вальдтойфеля. Неспешно текут беседы. Одним словом — приглушенная роскошь,

как на пассажирском судне перед кораблекрушением.

Элизабет и Айседора объехали весь город в поисках номера в гостинице. Ни одной свободной комнаты. Они были на грани отчаяния, когда увидели приближающегося к ним молодого офицера с блестящей выправкой, затянутого в мундир. Щелкнув каблуками, он сообщил:

— Сударыни, его императорское высочество эрцгерцог Фердинанд очень хотел бы принять вас у себя. Он узнал о вашем приезде и просит вас соблаговолить следовать за мной.

Элизабет уже открыла рот, чтобы отказаться, но Айседора ее опередила и с очаровательной улыбкой приняла приглашение. Через несколько минут в сопровождении элегантного адъютанта они вступили в парк дворца. Эрцгерцог сам вышел на крыльцо, встречая их.

— Мадемуазель Дункан, — с поклоном произнес он, — я много слышал о вас. Вы оказали бы мне большую честь, воспользовавшись гостеприимством моего дома во время вашего пребывания в Аббации.

— С удовольствием, ваше высочество. Мы с сестрой будем вам очень признательны, — ответила Айседора, приседая в реверансе под сердитым взглядом Элизабет.

Тот факт, что юная американка поселилась во дворце эрцгерцога, дал пищу для множества толков и комментариев среди его небольшого двора. Айседора игнорировала строгий этикет двора Габсбургов и явно забавлялась сложным церемониалом, каким окружался каждый шаг повседневной жизни эрцгерцога. Не раз приходилось ей делать усилие над собой, чтобы сохранить серьезность. Она с трудом удерживалась от смеха, делая реверанс намного более глубокий, чем тот, что могли себе позволить придворные старухи ревматички.

Эрцгерцог не расставался со своим новым завоеванием. Повсюду их видели вместе: на борту императорской яхты, в зеленом театре, в цветочном парке, у Кальдьеро… Рука об руку они совершали продолжительные прогулки по берегу моря. Беседовали о музыке, танцах, литературе. Он оказался большим любителем искусств и внимательно выслушивал ее теории относительно танца и движений. Нередко слышался их громкий смех, словно это были студенты на каникулах.

Однажды она вызвала настоящий скандал, явившись на пляж босиком, в крепдешиновой тунике выше колен, с огромным вырезом. Когда она выходила из воды, тонкая ткань плотно прилипла к телу, откровенно подчеркивая все ее формы. Дамы задохнулись от возмущения. А Фердинанд любовался спектаклем с мостков пляжа, не сводя бинокля с Айседоры. Достаточно

громко, чтобы слышали окружающие, он сказал адъютанту:

— До чего же красива эта Дункан! Необычайно красива! Прекраснее весны!

Естественно, ее отношения с эрцгерцогом тут же породили слухи. Придворные дамы с чопорным высокомерием говорили о дурно воспитанной американке, ее неприличном поведении и наглых речах. «Вот уж поистине непонятно, что нашел его высочество в этой девке!» Поговаривали о любовной связи. Некоторые даже допускали мысль о возможном браке. Но люди, приближенные к эрцгерцогу, проявляли большую сдержанность на сей счет. И если упоминали об их близости, то лишь вполголоса и с понимающей улыбкой. Как правило, в окружении эрцгерцога женщины не встречались. На эту тему ходили разные слухи, и за столиками у Кальдьеро можно было услышать такие реплики: «Говорят, что…» — «Ах, так? Очень жаль!.. Такой красивый мужчина! Вы думаете, действительно?..»

Айседора знала секрет Фердинанда. Он сам ей во всем признался. Он никогда не ощутит желания по отношению к ней, впрочем, как и к любой другой женщине, его интересуют только красивые офицеры из собственной свиты. А дружеское расположение, какое он к ней испытывает, носит исключительно эстетический характер. В один прекрасный вечер, когда они прогуливались по молу, под крики чаек над головами, он сказал:

— Я понимаю, Айседора, что вам это будет нелегко, но все же я прошу меня понять. Вы единственная женщина на свете, которой я могу сделать подобное признание. Я знаю, как вы умны и чувствительны. Разве не может установиться между нами духовная дружба, к которой я всегда стремился? Возможно ли это? Я вас люблю, как люблю искусство, музыку, красоту, потому что вы красивы и в вас живет гениальность.

Через несколько дней пришла телеграмма. Айседору ждут в Мюнхене через два дня. Прощаясь с ней, Фердинанд поцеловал ей руку со словами:

— Прощайте, Айседора. Хочу, чтобы в вашей памяти сохранилось воспоминание о наших встречах. Я провел с вами незабываемые часы.

— А я обязана вам еще больше, ваше высочество, потому что вы вернули мне вкус к жизни.

Мюнхенский Дворец искусств — центр культурной жизни города. Каждый вечер за кружкой пива здесь собираются артисты, литераторы, музыканты. Среди постоянных посетителей — художники Каульбах и Ленбах, скульптор Штук. В густом табачном дыму они ведут бесконечные беседы. Айседора — одна из редких женщин, которых принимают в это общество. Ее

удивляет прежде всего метафизический туман, каким окутываются все их разговоры. В Германии метафизика проникает повсюду, от больших и важных тем до мелочей. Но Айседоре это нравится. Искусство и философия всегда отлично уживались в ее теории танца.

Она немного знала немецкий. В Мюнхене она начинает заниматься им серьезно и вскоре овладевает им настолько, что может читать в оригинале Канта и Шопенгауэра и понимать бесконечные споры «мэтров». Ее импресарио Александр Гросс предусмотрел несколько выступлений во Дворце искусств. Предприимчивость его растет по мере того, как повышаются шансы Айседоры. Каульбах и Ленбах не возражают против ее выступлений, а вот Штук сопротивляется. «Танцу нет места в храме искусства», — заявляет он. В одно прекрасное утро она приезжает к нему в студию, захватив с собой тунику, переодевается за ширмой и показывает свои танцы. Это его не переубедило, и тогда она подробно излагает свою концепцию танца — философскую и хореографическую. Через четыре часа он объявил себя побежденным.

После Дворца искусств она танцует в Королевском зале. Там ее ждет триумф. После концерта студенты распрягают ее открытый экипаж и везут по улицам, танцуя вокруг с зажженными факелами. У гостиницы, где она остановилась, поют во все горло под ее окнами добрую половину ночи. В другой вечер ее пронесли на руках до знаменитой пивной «Хофбройхаус», водрузили на стол и устроили вокруг хоровод; ее шаль разрезали на узенькие полоски и привязали, как кокарды, к своим фуражкам. С ужасным шумом только под утро проводили ее в гостиницу. В ту ночь жители Максимилианштрассе с трудом могли уснуть.

Из Мюнхена она едет в Берлин. Гросс приказал к ее приезду обклеить стены домов яркими афишами о начале гастролей в Кролл-опере. В программе — Седьмая симфония Бетховена, которую она танцует в сопровождении симфонического оркестра. На следующий же день после премьеры имя Айседоры Дункан у всех на устах. Пресса только о ней и пишет. Ее смелость вызывает аплодисменты. Ее пластику находят безукоризненной, а музыкальность танца позволяет заново открыть самые, казалось бы, известные произведения. Правда, некоторые критики упрекают ее за отказ от театральной иллюзии и от условностей мизансцены, иные возражают против ее босых ног и прозрачных хитонов. Но все восхваляют появление нового танца. «Приезд Айседоры Дункан, — писал один из критиков, — означает реализацию мечты, которая утешала человечество в мрачные моменты его истории, — мечты о возвращении золотого века и

потерянного рая». Айседора дает интервью берлинской ежедневной газете, где подробно излагает свои теории. Удивительно, что в стране Баха, Бетховена и Вагнера никто не упрекнул ее в отказе от балетной музыки с ее метрономным ритмом в пользу океана симфонической музыки.

В Мюнхене, во время гала-концерта во Дворце искусств, Айседора познакомилась с Зигфридом Вагнером. Она была потрясена: сходство с отцом невероятное. Тот же огромный шишковатый лоб. Тот же профиль хищной птицы, только подбородок не такой волевой. Она может часами слушать, как Зигфрид делится воспоминаниями об отце. Рихард Вагнер оказал на нее огромное влияние и как личность, и как композитор. С удивительной легкостью движется она в мире его музыки, полном символики, где царит интуитивное восприятие жизни и мира, свойственное древнегерманскому язычеству. Ирландии она обязана своим идеализмом, а долине Рейна — своим чувством фатальности. Она не материалист, но и не мистик, просто верит в неотвратимость судьбы, что испокон веков властвует над людьми.

В великих вагнеровских творениях предстает мир языческий и вместе с тем божественный, и она с восторгом погружается в него. По существу, она понимает танец так же, как Вагнер понимал музыку: как богослужение. Поэтому, думает она, должно родиться нечто новое, уникальное, в день, когда ей удастся выступить в Байройте. Ею овладеет дух гения этого места, и она наверняка достигнет небывалых высот в искусстве.

А пока она увлечена другой мечтой, не менее заманчивой. Но для этого надо объединить их «клан». Очень кстати из Америки вернулся Раймонд.

— Я устал от этих американцев, — говорит он. — До чего скучная публика! И потом, мне очень хотелось повидать всех вас.

— Ты выбрал отличный момент, — говорит Айседора. И тут же излагает свой замысел. Он в восторге.

— Потрясающе! Да, но где взять деньги?

— Об этом не беспокойся. Деньги есть. Последнее мое турне прошло удачно, и я почти все деньги сохранила. Загвоздка только в том, что мама и Элизабет не в восторге от моей идеи. Постарайся их убедить. Тебя они скорее послушаются.

Раймонду легко удалось уговорить остальных членов семьи. Ведь они всегда мечтали об этом! Этот замысел был мифом «клана», одним из тех, какими полно воображение Дунканов. Теперь они наконец смогут реализовать свою мечту и осуществить великое паломничество к истокам, совершить жертвоприношение на святом алтаре искусства, откуда получили духовную пищу. Они совершат путешествие в Грецию.

— А Августин? — вдруг вспоминает мать.

— Верно, как же Августин? Чуть не забыла. Не можем же мы отправиться в путешествие без него.

Тут же посылают телеграмму старшему брату в Калифорнию с предложением выехать первым же пароходом вместе с женой Сарой и дочкой. «Хорошо, — отвечает он. — При условии, что мы в точности повторим путь Одиссея». Почему бы нет? Идея понравилась. И все уселись перечитывать «Одиссею».

Осталось сделать самое трудное: уговорить импресарио. Он, конечно, разразится бурей, но Айседора сообщит ему новость в последнюю минуту по телефону.

— Как? Это несерьезно, дружочек. Как вы можете бросить все и ехать в Грецию в момент, когда начинается ваша международная карьера!

— Говорю совершенно серьезно, господин Гросс. Я уезжаю завтра.

— Что? Завтра? Вы с ума сошли!.. Одумайтесь, Айседора, прошу вас… Наверное, Раймонд вам внушил такую мысль, а? Меня это не удивляет. Ваш брат совершенно чокнутый. Но вы-то, Дора, вы… Послушайте, вы имели колоссальный успех в Будапеште, в Мюнхене, в Берлине. Вас сделали известной. Я должен подписать контракты в Италии… в Соединенных Штатах… Веду переговоры с Байройтом. Вы понимаете, о чем речь идет? Байройт! Не будете же вы все ломать из-за какого-то каприза…

— Я все обдумала. Байройт или не Байройт, мы уезжаем. Совершаем то же путешествие, что совершил когда-то Одиссей.

— Кто?

— Одиссей. Слыхали про такого?.. Одиссей, Пенелопа, Навсикая, Кирка… Одним словом, Гомер! Слыхали про Гомера?

— Кто эти несчастные? Не ездите с ними, Айседора, вы дискредитируете ваше имя. И опасайтесь греков, они все мошенники.

— Прощайте, господин Гросс. По возвращении я разыщу вас… Если вернусь.

ГЛАВА VIII

Венеция, 1903 год. Первая остановка по пути в Грецию — и первое разочарование… Поистине Айседора предпочитает Флоренцию. Там, в галерее Уффици, она открыла для себя картину Боттичелли «Весна». Это произведение приводит ее в восторг. Она говорит сестре:

— Посмотри, вот танец, который я хотела бы создать. Если бы я могла моим телом передать то же чувство, тот же экстаз, ту же загадку! Если бы могла дать людям почувствовать мягкость устилающих землю цветов под ногами!.. Представь себе, Элизабет… хоровод нимф, струящийся воздух, а посередине — я, Мадонна-Афродита, само воплощение Ренессанса! Я бы назвала это Танцем будущего…

Из Венеции их семья перебралась в Санта-Мауру, откуда должно было начаться путешествие. В тех же условиях — обязательно! — в каких совершал его Одиссей: под парусом, на рыбацком судне.

Раймонд выискал в порту подходящее суденышко и попытался объяснить хозяину, что их плавание должно точь-в-точь походить на путешествие Одиссея. Недоверчивый рыбак долго пялил глаза на американца, который жестикулировал, как одержимый, и говорил без конца про какого-то Гомера, причем очень настойчиво. Выслушав, рыбак постучал пальцем по лбу (международный жест, говорящий о сомнениях в умственном здоровье собеседника) и, пытаясь предупредить об опасностях предприятия, стал показывать на небо, повторяя:

— Бум! Бум!..

Все же при виде кучи драхм, протянутой ему Раймондом, хозяин судна согласился.

И вот наши путники плывут по Ионическому морю на борту рыбацкого судна. Сделали короткую стоянку в Превезе, где пополнили запас провизии: большой крут сыра, оливки, вяленая рыба (все, как в меню Одиссея). После чего взяли курс на Карвасарас. От жары продукты скоро превратились в желтоватую липкую массу с тошнотворным запахом. Нескончаемая качка совсем доконала пассажиров, и они один за другим перегибаются через борт, освобождая желудки ото всего, что в них было и чего даже не было.

К концу дня берега Греции наконец дают приют нашим семерым аргонавтам. С зелеными лицами, покачиваясь, сходят они на землю и падают ниц в изнеможении, только Раймонд запевает гимн наконец-то обретенной «отчизне»:

После долгих в пути испытаний наконец-то мы добрались.
Привет тебе, о Зевс-олимпиец! И тебе, Аполлон, привет!
Привет и тебе, Афродита! Вставайте, вакханки, и жены, и девы!
Идите сюда и с собой приведите Мастера оргий.
Пусть песнопения наши Диониса разбудят.

Можно себе представить изумление греческих рыбаков при виде людей, наряженных в хламиды и туники, то падающих на землю, то кидающихся их обнимать со слезами радости. Вся деревня сбежалась посмотреть на незнакомцев. Раймонд до полуночи разглагольствовал о мудрости Платона. Никто ничего не понимал, но всем было весело, как на свадьбе, и вино текло рекой.

На следующий день, «едва Аврора простерла свои руки-лучи», группа отправляется дальше. Мать и Сара с ребенком садятся в экипаж, запряженный двумя лошадьми. Остальные веселой гурьбой шагают, размахивая ветками лавра, к великому удивлению собравшихся крестьян. Дорога к Агриниону вьется в гору извилистой лентой. Кристально чистый утренний воздух и яркие краски разлиты вокруг. Даже туман в ущельях окрашен в розовый цвет.

На стоянках они танцуют и поют. Вплавь перебираются через реку Ахелоос. Пьют вино из свиных бурдюков со смолистым запахом и находят его восхитительным, несмотря на привкус лака. Одним словом, пьяны от счастья.

Ночью добираются до Агриниона, где садятся в дилижанс, идущий в Миссолонги. Короткая остановка, чтобы почтить память великого Байрона у его могилы, и все садятся на пароход, идущий в Патру, а оттуда допотопный поезд, трясясь и раскачиваясь по узкоколейке, довозит их до Афин. В сосредоточенной тишине поднимаются они по тропе, ведущей к Акрополю: место священно, волнение слишком сильно. Да и можно ли словами передать мощное дыхание окружающей красоты, от которой кружится голова? Солнце встает из-за горы Пентелик, золотисто-розовый свет озаряет ее мраморные склоны и сверкающий Эрехтейон, храм Афины… Их потрясает величие Акрополя. Часами бродят они по священной горе, с бьющимся сердцем, охваченные каким-то мистическим экстазом. А когда, наконец, спускаются, у них уже готово решение. Не сговариваясь, все охвачены одним желанием: никогда больше не покидать землю Эллады. Жить в сени Пропилеев, как можно ближе к богам.

Первой нарушила молчание Айседора. Минута торжественная.

— Слушайте меня. На моем счету в банке достаточно денег. Мы построим храм и посвятим его божеству танца.

Всеобщее одобрение. Осталось найти идеальное место. Они обошли Колон, Фалер, долины Аттики, но не находят места, достойного их святилища. Наконец на горе Пимет Раймонд замечает возвышение. Он втыкает в землю свой посох (отныне семейство одевается только по моде пастухов Аркадии: туника, сандалии, а в руках — посох) и громко зовет остальных.

— Идите сюда! Я нашел. Смотрите! Мы на одном уровне с Акрополем.

Действительно. Если взглянуть на запад, четко видны храмы Акрополя на такой же высоте. Холм, на котором они стоят, всего лишь голый бугор с каменистой почвой, где растут одни колючки. Называется Копамос. Не без труда путники разыскали пять крестьянских семей, считающих эту землю своей.

— Мы хотим купить ваш холм и построить здесь храм. Сколько хотите за землю?

Греки не растерялись и затребовали баснословную цену: несколько миллионов драхм. Начинается торг, спор, пытаются договориться. Напрасно. Крестьяне уперлись и не уступают. Тогда, по счастливой идее, пришедшей в голову Раймонду, семья приглашает всех: мужчин, женщин, детей и стариков на пир. На всякий случай пригласили также стряпчего из Афин. Ближе к полуночи, после обильных возлияний, между местными пастухами и эллинами из Нового Света подписывается купчая.

Копамос становится собственностью Дунканов. Цена, конечно, головокружительная, однако существенно меньше первоначально запрошенной. Объятия, поздравления, слезы радости, возносятся молитвы Зевсу, Дионису и Афродите. С утра начинают работать. Раймонд чертит план будущего храма, который должен быть точной копией дворца Агамемнона. Не меньше. Нанимают рабочих, и с горы Пентелик на повозках, в которые впряжены ослики, начинают привозить мрамор.

Закладка первого камня сопровождается самой фантастической церемонией. Позвали священника в черной рясе, с большим крестом на широкой груди. Первым делом он потребовал петуха.

— Петуха? Зачем петуха? — удивилась Элизабет.

— Необходимо для совершения обряда.

Пришлось довольно долго искать птицу, потому что кур в окрестностях не нашлось. В конце концов разыскали захудалого петушка и отдали его попу вместе с жертвенным ножом. Тем

временем со всей округи и даже из Афин стали собираться любопытные посмотреть на необычное зрелище: неоахейцы из Калифорнии хотят восстановить дворец Агамемнона. К закату солнца на вершине Копамоса собралась внушительная толпа.

Держа в одной руке нож, а в другой несчастного петуха, священник трижды обходит огражденный участок земли, потом резким движением перерезает горло жертве и обагряет ее кровью краеугольный камень будущего фундамента. После чего долго поет речитативом, провозглашая долгая лета, мир и покой жителям этого дома и их потомству.

По окончании молебна зажгли большой костер, на вертеле зажарили барашка, откупорили несколько бочонков местного вина и до рассвета плясали сиртаки.

В последовавшие дни семейство организовало свою жизнь согласно их идеалу, то есть в абсолютном соответствии с тем, как жили древние греки. Их священной книгой становится «Республика» Платона. Айседору провозгласили главным жрецом, и первая ее речь звучала так:

— Поклянемся никогда не расставаться, не жениться и не выходить замуж. Что касается тех, кто уже женат, они могут жить, как жили до сих пор, — добавила она, посмотрев на Августина, Сару и их дочку. — Мы будем жить на земле Эллады, как жили древние греки. Встаем вместе с солнцем, приветствуя его пением гимнов и провозглашая ему хвалы. После чего утоляем жажду кружкой козьего молока и учим юных афинян пению и танцам.

Мы будем воспитывать их в почтении к древним богам, в уважении к обычаям их предков, сами будем носить хламиды и туники. После скромного обеда, состоящего из овощей и фруктов (постепенно мы откажемся от употребления мяса), будем заниматься музыкой и медитацией.

Все семейство Дунканов поклялось свято выполнять изложенную программу.

В ожидании постройки храма Терпсихоры наши герои поселились в центре Афин, в гостинице «Англетер». Кроме занятий с детьми, дни проходили в наблюдениях за стройкой, посещении археологических музеев и осмотре главных достопримечательностей. Они совершили трехдневную экскурсию туда, где проводились элевсинские мистерии, в 24 километрах от Афин. При этом побывали в деревне Дафнис, сделали стоянку на острове Саламин, где танцами и мимансом прославили победу Фемистокла над персидским флотом.

Древние их наряды смотрятся гармонично на фоне Акрополя, но производят сенсацию в магазинах, трамвае и в ресторанах современного города. Однако постепенно жители Афин привыкли

к этой живописной группе, и она стала частью городского пейзажа.

Каждое утро с восходом солнца в полном безмолвии поднимаются они на священную гору с тем же чувством благоговения, что и в первый день. Айседора отрабатывает позы для танцев, остальные пытаются обнаружить следы козьих троп, которые существовали здесь до строительства храма Афины Паллады.

Присутствуют они также на продолжительных службах в греческой православной церкви, зачарованные пышностью богослужений и красотой песнопений. Раймонд серьезно изучает нотное письмо древних греков. Однажды он пришел из публичной библиотеки в возбужденном состоянии и тут же закричал:

— Айседора, это неслыханно и гениально!

— Что именно?

— Помнишь, мы слушали на днях песнопения в православной церкви?

— Да, великолепное пение. А детские голоса! Сверхъестественная чистота звука!

— Помнишь, я тебе сказал: «Голоса мальчиков в древнегреческом хоре должны были звучать именно так»?

— Помню. Ну и что?

— Так вот, у меня есть доказательства того, что существует преемственность между нынешней музыкой в греческой православной церкви и хором древних трагедий. Те же гаммы, мотивы и ритмы. Так, гимны Аполлону, Афродите и другим языческим богам после некоторых превращений перешли в греческую православную церковь.

— Очень интересно. Но куда ты клонишь?

— А вот куда. Если мы сумеем применить ритм современного византийского песнопения к хорам античной трагедии, например к «Просительницам» Эсхила, мы могли бы восстановить трагедию в ее первоначальном виде, как ее играли две тысячи лет тому назад. Представляешь?

— Раймонд, ты — гений. Завтра же начнем собирать детский хор и поставим «Просительниц». Согласен?

Как ему не быть согласным, ведь он давно мечтает применить на практике свои теоретические исследования. С помощью молодого семинариста Айседора отбирает путем прослушивания десять красивых мальчиков с чудесными голосами, «самые чистые голоса в Афинах», заверяет семинарист, и начинается работа.

Репетиции проходят в большом салоне гостиницы «Англетер», любезно предоставленном дирекцией в распоряжение танцовщицы и ее брата. Через две недели они считают, что

спектакль в основном готов. Слух об этом распространяется по всему городу. Студенты университета организуют в местном театре представление, вызвавшее восторженный прием. Услышав об успехе, король Георг I приглашает Дунканов выступить в Королевском театре. Айседора танцует «Просительниц» в сопровождении десяти хористов, одетых в разноцветные просторные туники. Прием ей оказан вежливый, но не более того. Принцессы не понимают ни слова из текста Эсхила, а музыкальные новации Раймонда, так понравившиеся студентам и преподавателям, оставляют аристократическую публику совершенно равнодушной.

Тем временем работы на Копамосе встали. Банковский счет Айседоры иссякал быстрее, чем росли стены храма. Дунканы узнали от одного крестьянина новость, которую до сих пор скрывали местные жители: Копамос — земля пропащая, воды нет на шесть километров в округе. По склонам горы Химет, весело журча, сбегают ручьи и речушки, с Пантелика ниспадают водопады, а вот Копамос упорно сохраняет свой засушливый нрав. Ни капли воды. Просто Сахара какая-то. Раймонд решает копать артезианский, колодец. Но чем глубже копали, тем тверже и суше была земля. Пришлось отказаться от плана строительства дворца Агамемнона и оставить его стены недостроенными.

Вскоре запасы денег иссякли, и Айседора собрала семейство на совет.

— Осталось денег на неделю жизни, не больше, — сказала она. — Скоро нечем будет платить за гостиницу и питание. Вижу только один выход: послать телеграмму Гроссу.

— Хороши мы будем, вернувшись! — простонал Раймонд.

— Копамос оказался безумным проектом, бездонной бочкой. Но мы еще вернемся в Грецию, потому что носим ее в груди с давних пор, не так ли? Теперь никто и никогда не сможет отнять ее у нас, поскольку она живет в наших душах. Где бы мы ни находились, куда бы ни направлялись, мы будем ее любить и почитать, как истинную отчизну.

Через три дня она получила ответ от Александра Гросса и целую серию контрактов в Вене и Мюнхене. В программе — «Просительницы» с хором детей из Греции. Железнодорожные билеты были заказаны на следующий же день.

В последнюю ночь Айседора не могла уснуть и отправилась к Акрополю. В амфитеатре Диониса она медленно обошла пустынный полукруг и присела на ступени. Вдруг ей показалось, что огромная бездонная воронка затягивает ее вниз. Только неумолчный звон цикад нарушал тишину. Серебристый луч луны освещал просцениум. Никогда благородное величие этого места

не казалось Айседоре наполненным такой тайной. Подняв глаза, она увидела края амфитеатра, черной тенью выделявшиеся на фоне звездного неба. Впервые она почувствовала себя чужой в этом окружении, под этим небом, среди давно умерших богов, чье невидимое присутствие она ощущала. Ей показалось, что античный мир, которому она так много отдала, теперь смотрел на нее с жалостью, культура, которую она попыталась воскресить, мстила ей за ее смелость. Движимая своей страстью, она наивно полагала, что можно вычеркнуть двадцать веков истории, что достаточно одеться, как одевались древние греки, питаться, как они, говорить на их языке, исполнять их музыку и гимны, возродить их танцы, поклоняться их богам — и люди станут жить их жизнью. Она нарушила неумолимый закон времени, осквернила гробницу, где покоится в веках душа минувших цивилизаций, нерушимая тайна их существа.

Беспредельная наивность и слепая влюбленность мешали ей понять, что идея воскресить Элладу остается, несмотря на все усилия, лишь плодом ее воображения и ничем иным. То, чего ей удалось достичь, — это Греция 1900 года, типичное «Новое искусство», так же далекое от античной Эллады, как и от современной Греции. Греция с дункановским Парфеноном, дункановской мифологией, платонизмом, музыкой, танцами, костюмами…

«Я ошиблась самым ужасным образом, — говорила она себе, обхватив голову руками, — все наши мечты лопнули, как мыльные пузыри. Мы никогда не сможем думать и чувствовать, как древние греки. Никогда! Я всегда буду американкой из Сан-Франциско, родившейся двадцать пять лет тому назад, наполовину ирландкой, наполовину шотландкой, и всегда у меня будет больше общего с краснокожими индейцами, чем с детьми Зевса». Но из этой ошибки возникнет ее самое оригинальное творение: танец, истоком которого является греческое искусство.

Рассвет застал ее распростертой на каменной ступени, где она незаметно для себя уснула. Она встала, дрожа от холода, накинула шарф на плечи. Перед ней возвышались колонны Акрополя, освещенные первыми лучами солнца.

И на фронтоне храма
Горят лучи Авроры…
Смотри… Бледнеет мрак веков,
Видны брега свободной Эллады.
Греция возрождается внутри нас,
Вечная, свободная Эллада!..

ГЛАВА IX

Приезд их небольшой группы в Вену не прошел незамеченным. Подобного никогда не видели под остекленной крышей вокзала «Сюдбанхоф». Впереди шел Александр Гросс с цветочными венками, за ним — все семейство Дунканов в туниках, а следом — десяток крикливых мальчишек в длинных белых одеяниях. Замыкал шествие семинарист в фиолетовом подряснике.

На этом сюрпризы для австрийцев не закончились. На первом представлении зрители переглядывались с недоумением, слушая древнегреческие хоры Эсхила, распеваемые на мотивы православных гимнов. Удивление достигло предела, когда объявили, что Айседора одна исполнит роли пятидесяти дочерей царя Даная.

— Ты надеешься выразить чувства пятидесяти дев сразу? — спросил ее Раймонд полушутя-полусерьезно.

— Не беспокойся, — ответила она ему. — Когда я танцую, у меня появляется дар разрываться на части.

Публика не была в этом уверена. В зале слышался шепот: «Это бессвязно», «Скандал!», «Спектакль безумцев», «И это называется танец?»

— Я бы отправил их всех к доктору Фрейду, — важно заявлял какой-то старик, поглаживая окладистую бороду.

— Ах, не говорите мне об этом человеке, — возражала соседка. — Он еще более умалишенный, чем его пациенты.

— Я полагаю, что фрау Дункан — объект для психоанализа. Кажется, так это называется, дорогая?

— Тихо, тихо! — протестовали с галерки.

К счастью, в Вене нашлось достаточно интеллигентов и передовых художников, способных понять, что пыталась выразить Айседора своим танцем. Писатель Герман Бар, один из вожаков «Молодой Вены», посвятил этому спектаклю несколько статей в газете «Нойе фрайе прессе». Он лично знал танцовщицу, поскольку встречался с ней два года назад, во время ее турне по Германии. Это был мужчина лет сорока с загорелым лицом и рыжеватой шевелюрой. Внимательно следя за новыми идеями и самыми смелыми экспериментами, он не мог оставаться равнодушным к революции, совершенной Айседорой в хореографии. Он, горячий защитник Рихарда Штрауса и Арнольда Шёнберга, видел в ней один из главных символов современного искусства. Самый требовательный художник был бы рад получить такую оценку из уст столь проницательного критика, каким был

Бар. Близкий к Шницлеру, Гауптману, Рильке, Герман Бар и сам активно участвовал в том небывалом культурном подъеме, какой наблюдался в Вене в начале XX века.

Между ним и Айседорой установились дружеские отношения. Их часто видели вместе в известном кафе «Грин-щтайдль», штаб-квартире молодой австрийской литературы. Порой к ним присоединялись Шницлер, Цвейг и Альтенберг, вместе они вели бесконечные дискуссии об искусстве и эстетике. Однажды к их столику подошел стройный молодой человек с резкими чертами загорелого лица, быстро поклонился и решительным тоном представился: «Гуго фон Гофмансталь»[14].

Каждый вечер после спектакля Айседора встречалась с Германом в баре ее гостиницы, где они болтали далеко за полночь. Однажды она пришла из театра в состоянии полного изнеможения. Бар поджидал ее.

— Ах, Герман, друг мой, как я рада вас видеть, если бы вы знали!.. Вы так мне нужны!

— Что случилось, Айседора? У вас измученный вид.

— Каждый вечер одно и то же. Им плевать на Эсхила, на «Просительниц» и на византийский хор. Им скучно, они зевают так, что рискуют вывернуть скулы. И когда я выхожу на сцену и объясняю, что мне хочется возродить сам дух греческой трагедии, знаете, что они делают, Герман?

— Нет.

— Они требуют, чтобы я станцевала «Голубой Дунай»… Такое впечатление, что ничего другого они не знают, честное слово! Представляете? В Вене, Герман, в Вене!..

— И что вы делаете?

— Я подчиняюсь, разумеется. А что я еще могу делать?

— Ну и как?

— Они в телячьем восторге. Аплодируют как сумасшедшие, кретины, дегенераты! Вскакивают, трепеща от радости. И требуют повторить! Четыре раза… Пять раз!.. И я повторяю, повторяю. Ох этот «Голубой Дунай»! Герман, если бы вы знали, как он мне опостылел!.. Тошнотворно надоел, сил моих больше нет! Мне кажется, я погибаю. Не могу больше.

— Успокойтесь, Айседора. Вы знаете, что лучшие люди в Вене на вашей стороне — интеллигенция, художники, студенты, молодежь. За вас готов бороться весь авангард, потому что вы представляете новое искусство, хотите изменить наш мир, потому что, как и мы, вы восстаете против традиционного, комфортабельного порядка, по-своему выступаете против абсурдных норм «красивой эстетики»… Вот к нам-то прежде всего вы и обращаетесь, не забывайте этого. Будьте уверены, Айседора,

нарождается новая эпоха, когда молодежь завоюет наконец свои права. Вчера я присутствовал при исполнении нового произведения Шёнберга. Какой-то тупой господин в зале принялся свистеть в свистульку. Тогда мой друг Бушбек, сидевший рядом со мной, пошел к нему и отвесил пару звонких пощечин. Не волнуйтесь. Мы поступим также на одном из ваших спектаклей, потому что мы хотим жить настоящей жизнью. «Nostra res agitur»[15], Айседора.

Так же принимают ее в Мюнхене, потом в Берлине. Полный успех у интеллигенции, аплодирующей ей, и непонимание у широкой публики, громко требующей «Голубой Дунай». Айседора неутомимо, трижды исполняет проклятый вальс, но не отклоняется от остальной части программы, то есть от главного. По существу, ей не важно, что ее смелые изыскания непонятны большинству зрителей. Ведь избранная публика — на ее стороне! Она знает, что идущий впереди обречен на одиночество, а в том, что она «впереди идущая», она никогда не сомневалась. Тем временем слава ее растет, причем не только в Германии, но и во всей Европе, и предложения контрактов поступают к Гроссу непрерывно.

Но настоящие неприятности за шесть месяцев турне по Германии доставляет не столько публика, сколько десять мальчиков-хористов из Греции. Поначалу все шло как нельзя лучше. Повсюду их называли чудесными, забавными, хотя и развязными. Дамы, а то и некоторые мужчины были в восторге от их огромных черных глаз, всячески их опекали и баловали. Мальчиков обучали немецким словам, забавлялись их греческим акцентом, прощали им капризы и глупости: ах, какие они миленькие, молоденькие, трогательные! Айседора вызывала всеобщий восторг, когда по утрам выводила на прогулку своих «пастушков». Однажды в берлинском парке Люстгарден, на перекрестке аллей, греческая группа неожиданно оказалась на пути императрицы, совершавшей прогулку верхом. Внезапная встреча вспугнула коня, он метнулся в сторону, и августейшая амазонка упала на землю. Происшествие тотчас же сделалось сенсацией.

Через несколько месяцев избалованные сыны Эллады начали доставлять серьезные хлопоты их покровительницам. Божественные голоса ломались, мальчишки фальшивили с каждым днем все сильнее, превращая хор «Просительниц» в кошачий концерт. К тому времени они выросли на добрых полфута, их щеки покрылись малоэстетичным пушком. Одним словом, очаровательные дети превратились в малопривлекательных подростков. Что касается семинариста,

награжденного звучным титулом «хородидаскаль», он все меньше интересовался своими питомцами, и его когда-то горячая вера в византийскую музыку стала ослабевать при контакте с германским окружением. Его отлучки становились с каждым днем все чаще и продолжительнее. Однажды мальчишек застали в низкопробном кабаке пьяными, в обществе отребья из греческих эмигрантов.

— Так больше продолжаться не может! — взорвалась Айседора, обращаясь к учителю пения. — Не могу допустить дальнейшей распущенности. Вы неспособны держать их в руках. Вы за ними не следите.

— Я не виноват, хозяйка, — отвечал тот. — Они вылезли через окошко, пока я спал. Это сущие дьяволята, честное слово.

— К тому же они фальшивят, когда поют. Голоса ломаются. Публика это замечает. Они портят мне весь спектакль!

— Но это… византийские песнопения, хозяйка.

— Я тоже так говорила поначалу, но теперь уже мне не верят. Конечно, можно сваливать вину на византийскую манеру пения! На самом деле это какофония. И вы отлично знаете это сами!

На дурное поведение мальчишек жаловалась и администрация гостиницы. «Херувимчики» требовали к каждому блюду черного хлеба, маслин и сырого лука. И если им не подавали требуемое, они швыряли в лицо официанту мясо вместе с тарелкой. А один из маленьких негодяев даже пригрозил метрдотелю ножом.

Наконец чаша терпения переполнилась. Айседора повела хористов в магазин, одела их в европейские костюмы, положила каждому в карман небольшую сумму денег, железнодорожный билет до Афин в вагоне второго класса и сама отвезла их на вокзал. Поезд медленно двинулся в клубах черного паровозного дыма.

А тем временем, устав от того, что он называл «безумными выходками» Айседоры, Александр Гросс объявил ей, что отныне отказывается быть ее антрепренером. Пришлось ей обратиться к Йозефу Шурману, импресарио многих звезд. Тот согласился заниматься ее гастролями. Многоопытный делец и специалист международного масштаба в зрелищных делах, Шурман давно присматривался к этой босоногой американке, почуяв в ней великую танцовщицу. И не ошибся.

Через неделю после отъезда молодых хористов Айседора получила письмо от Козимы Вагнер с приглашением обсудить с ней предстоящий фестиваль в Байройте.

Встретиться с Козимой, дочерью Листа, подругой Вагнера, было равноценно переходу, хотя и временному, из категории

смертных людей в царство полубогов. Несмотря на свои шестьдесят пять лет, вдова маэстро сохранила свою властную красоту молодости. Чудные зеленые глаза, хотя и слегка поблекшие, освещали удлиненное строгое лицо, унаследованное от отца. Смущенная, Айседора не смела рта открыть, но пожилая дама ободрила ее улыбкой.

— Мне очень понравился ваш спектакль, фрау Дункан, — начала она с места в карьер. — Уверена, что и Рихард высоко его оценил бы. Сколько раз он приходил в ярость от берлинского кордебалета! Он терпеть не мог академический танец. К тому же их костюмы он считал отвратительными. А вот вы — та дева-цветок, о которой он всегда мечтал. Сможете ли вы принять участие в предстоящем фестивале, танцуя в «Тангейзере»?

— Мадам, это моя заветная мечта, но одна я не могу танцевать и не знаю, как сложатся у меня отношения с театральным кордебалетом: у нас такие разные взгляды… Если бы у меня была своя школа танцев! Я бы привела с собой целую толпу нимф, фавнов и сатиров…

— Не беспокойтесь, все будет улажено. Я сама буду присутствовать на всех репетициях. Что же касается школы, то когда-нибудь она у вас будет, я уверена в этом.

Пришлось предупредить Шурмана, чтобы он отменил все текущие контракты. Импресарио был очень огорчен.

— Айседора, вы доконаете меня. Вы понимаете, что вы делаете? Надо именно сейчас выступать как можно больше.

— А что я буду делать в Байройте, разве не выступать?

— Байройт — это не для вас. Байройт — это молебен, священная высота, мистический фестиваль, религиозная мистерия… не знаю, как его еще назвать. От ваших вагнерофилов с их обмороками и истериками у меня мороз по коже. Вот увидите, к чему приведет вся эта идеологическая дребедень, вот увидите. Ведь вы считаете себя сторонницей социализма… Нет, серьезно, Айседора, скажите, что вы собираетесь делать в этой Мекке германистов? Будете кадить ладаном великому и оглушительному богу Одину? Вас там и не заметит никто. Сейчас не время для этого, уверяю вас… Уже повсюду появляются ваши подражательницы. А если будете оставаться в тени, ваши имитаторши вас переплюнут. Вот уже в Лондоне появилась некая Мод Аллан, она выступает с шумным успехом каждый вечер, слепо повторяя все, что вы делаете…

— Как вы сказали? Мод Аллан? Знаю ее! Бедная девушка из Америки, если не ошибаюсь. Прислала мне письмо несколько месяцев назад. У нее не было ни гроша, и она попросила разрешения смотреть из-за кулис все мои спектакли.

— И вы, конечно, разрешили.

— Конечно. Мне это не мешало: каждый вечер она забивалась в уголок и уходила, ни слова не говоря.

— Она не теряла времени, эта ваша протеже, и украла у вас все: ваши па, жесты, покрой одежды… Все, все, вплоть до цвета ваших занавесов. А сейчас каждый вечер народ ломится, чтобы посмотреть ее «Саломею».

— Ну а мне какое дело?

— Прошу вас, Айседора, хотя бы изредка вставайте обеими ногами на землю: вы не в Парфеноне. Больше того: представьте, что Мод Аллан заявила в одном интервью, что она вас не знает и даже не слышала никогда о вас, что вы, наверное, одна из ее бесчисленных подражательниц. Ну, что скажете? Если не верите, читайте газеты; я принес вам несколько вырезок.

— Йозеф, бросьте, все это меня не интересует.

— А если ваше место займет кто-нибудь другой, это вас тоже не заинтересует? Повторяю, Айседора, совершенно необходимо выступать, иначе через три месяца вы прекратите существовать, вас просто забудут. Я и так уже с трудом доказываю Фроману, директору «Дьюк оф Йорке тиэтар», что вы единственная создательница этого жанра. А все из-за мисс Аллан! В результате — никаких контрактов с Лондоном заключить не удалось. Поверьте, я не пожалел средств для этого, вы меня знаете.

— Не беспокойтесь, все уладится.

— Вы сохранили письмо мисс Аллан?

— Кажется, да… А что?

— Дайте его мне, я опубликую его в газетах. Это единственный способ заставить ее замолчать, и я смогу заключить контракт с Фроманом.

— Если настаиваете, я согласна, но сейчас оставьте меня в покое, я должна готовиться к фестивалю в Байройте. Прошу вас только договориться обо всем с руководством фестиваля.

— Вы настаиваете?

— Да, Йозеф, настаиваю, уверена, что я там многому научусь. Мне нужно испить из самого источника этой музыки, понимаете? К тому же я обещала Козиме Вагнер.

— Хорошо, но предупреждаю, Айседора, сразу после фестиваля вас ждут гастроли в Петербурге, Москве, Варшаве, в Голландии и опять в Берлине…

— Обещаю, что после Байройта вы будете делать со мной все, что захотите.

Импресарио, конечно, не поверил ей. Он знал, что она будет поступать как захочет, что душевные порывы ей дороже денег.

«В конце концов, — подумал он, — Байройт — не такая уж

плохая идея. Это может добавить ей международной известности: „Айседора Дункан в „Тангейзере““… „Вагнер и Айседора…“ Теперь мой долг сделать так, чтобы ее выступление там стало событием».

В Байройт она приехала в начале мая. До открытия фестиваля оставалось три месяца. Айседора работала то в театре, то у себя в гостинице «Черный орел», где стоял рояль. Каждый день получала она записку от Козимы с приглашением пообедать или провести вечер на вилле Ванфрид. Эта вилла в стиле барокко, с тяжелыми занавесями, мрачными обоями и слишком богатой мебелью, была местом, где Рихард Вагнер провел свои последние годы с Козимой. Кроме Айседоры, каждый день за столом было десятка полтора гостей, в большинстве своем артисты, музыканты, писатели, философы, порой королевские особы, приехавшие воздать должное памяти «пророка нового времени».

После обеда госпожа Вагнер уводила Айседору в сад и прогуливалась под руку с ней вокруг обвитой плющом плиты черного мрамора, лежащей на могиле композитора. По вечерам гости собирались в большом салоне, под портретом короля Баварии Людвига II. Знаменитые музыканты исполняли камерные произведения.

Однажды, гуляя по окрестностям, Айседора заметила старый дом с мраморным крыльцом и с видом на романтический парк. Оказалось, что это бывший охотничий домик маркграфа Байройта.

— Вот то, что мне нужно, — сказала она сопровождавшей ее Мэри Дести.

— Вы с ума сошли, Айседора. Он непригоден для жизни. Не будете же вы заниматься восстановлением дома, чтобы прожить в нем всего три месяца?

— Мэри, дело решенное. Постараемся узнать, кто хозяин, и завтра же я найду подрядчика. Хотите, будем жить здесь вместе?

— Конечно, Айседора, но повторяю: это безумие.

— Ну и что? Разве вам не говорили, что у всех Дунканов мозги набекрень? К тому же это не такое уж безумие по сравнению с Копамосом, уверяю вас.

— По сравнению с чем?

— Потом объясню. Пошли, нельзя терять ни минуты. Этот домик мне нужен срочно.

У нее все делалось быстро. На следующий день она заплатила владельцам дома и участка стоимость аренды на полгода — целое состояние. Тотчас приступили к работе каменщики, плотники, маляры, обойщики. Не прошло и месяца, как Айседора и Мэри въехали в дом, обставленный мебелью, привезенной из Берлина.

Вскоре после их вселения в Филипсруэ — так называлась вилла — произошло странное событие. Однажды ночью, когда Айседора уже спала, в ее комнату быстро вошла Мэри.

— Айседора, проснитесь, проснитесь скорее, прошу вас, — сказала она вполголоса.

— Это вы, Мэри? Что случилось? Что вам нужно?

— Пойдемте со мной, скорее… В саду какой-то мужчина. Айседора вскочила и спустилась с подругой на первый этаж. Подойдя к стеклянной двери, выходящей в сад, она увидела в темноте силуэт невысокого худощавого мужчины, неподвижно стоявшего под липой.

— Он всегда здесь стоит, — прошептала Мэри.

— Как «всегда»? Вы его знаете?

— Вот уже неделю он приходит сюда после полуночи. И стоит всегда на одном и том же месте, не спуская глаз с вашего окна.

— А почему раньше не сказали?

— Не хотела вас беспокоить. Вдруг это убийца?

В эту минуту луна выглянула из-за облаков и осветила лицо незнакомца. Айседора расхохоталась.

— Что с вами, Айседора? — с испугом спросила Мэри. — Вы знаете его?

— Ну, конечно, знаю, — отвечала Айседора, накидывая шаль на плечи. — Это Генрих Тоде.

— Кто-кто?

— Писатель Генрих Тоде. Я познакомилась с ним у Козимы. Он не спускал с меня глаз, но не решался заговорить. По-видимому, безумно влюблен в меня. Оставайтесь здесь, Мэри, я сейчас вернусь.

— Что вы делаете, Айседора? Вернитесь! Вы с ума сошли. Простудитесь!

Но та уже была в саду и направлялась к «привидению».

— Ну, что, господин Тоде, забавляетесь игрой в призраки? — спросила она со смехом. — А ведь вы меня очень напугали!

— Да… да… наверное… извините, — бормотал он, как ребенок, застигнутый врасплох.

Переменив тон и положив руку ему на плечо, она спросила:

— Друг мой, вы так сильно любите меня?

— О, Айседора, вы самая чудная мечта в моей жизни… Вы — сама святая Клара.

Тихо взяв за руку, она повела его в дом. Как сомнамбула, вошел он в гостиную, не спуская с нее своих зеленых глаз, горевших безумным огнем. Усадив его в удобное кожаное кресло и налив коньяка, она спросила:

— Господин Тоде, почему вы только что сравнили меня со

святой Кларой?

— Потому, что я сейчас описываю жизнь святого Франциска.

— Я читала вашего «Микеланджело». Чудная книга! Судьба его подобна грозовому небу! Вы словно слились со своим героем. Я полностью и абсолютно разделяю ваш взгляд на красоту. Но в вашем чувстве ощущается некая боль, словно красота причиняет вам страдание.

— Вы правы. Созерцание прекрасного всегда вызывает беспокойство. Быть может, прекрасное предстает, как нечто неуловимое. А может быть, связано со смертью. Это и путает, и пьянит одновременно. Красота — это желание и гибель каждого художника.

Он говорил тихим, глуховатым голосом, с какой-то жалобной интонацией, временами умолкая.

— А как вы перешли от Микеланджело к святому Франциску?

— Очень просто. Оба мне представляются, как две стороны одного и того же персонажа. Несмотря на различия в их судьбах, между ними существует тайное, волнующее сходство. И с каждым днем я нахожу все новые подтверждения своей догадки…

И он вдохновенно начал рассказывать о святом Франциске. Он видел в нем святого всех поэтов и художников, предшественника Данте, вдохновителя Джотто. Для него в святом Франциске воплотились два лика Средневековья, два лика Италии: влюбленной и грубой, восхитительной и жестокой.

— Франциск оставил глубокий след в религиозном сознании массы людей и в судьбах сильных мира сего, — продолжал Тоде. — Он стоял у истоков итальянского Возрождения. В его лучах согревались Мазаччо, Фра Анджелико, Донателло, Гоццоли, Синьорелли…

Он рассказывал горячо и непрерывно, почти не переводя дыхания. Об искусстве, о красоте, об Италии. Его слова то возносились вверх, то опускались, парили и возвращались к его любимому Франциску Ассизскому, словно непреодолимая сила влекла к нему после возвышенных рассуждений о чувствах людей Средневековья или о христианской символике. Глаза его загорались, когда он говорил о том, как страстно любил святой человеческую доброту. Не доброту слабых, а сильную доброту, способную спасти мир, вернуть человеческий разум к естественной природе, восстановить его величие и достоинство.

Айседора восхищенно внимала. Никогда не слышала она подобных речей, не видела такого напряженного взгляда. Она почувствовала себя вознесенной в небесные сферы. Рассвет застал их сидящими друг против друга. Казалось, оба потеряли чувство времени. Вдруг он замолчал, подошел к ней, обнял, поцеловал в

глаза и ушел навстречу первым лучам восходящего солнца. Она крикнула: «Генрих!» Он обернулся.

— Генрих, не забудьте о нашем свидании… Завтра вечером… Под липой в моем саду. Буду вас ждать.

Каждую ночь Тоде приходил в Филипсруэ. Он либо размышлял вслух, либо читал юной подруге последние страницы своей рукописи. Он ни разу не позволил себе никакого движения, выдающего желание овладеть ею. Самое большее — целовал в лоб или глаза, брал за руку, целовал ладонь. И никогда не пытался коснуться ее груди или снять тунику.

— Не понимаю я вас, — сказала однажды Мэри. — Вы, такая чувственная, как вы можете терпеть подобную ситуацию?!

— Что вы хотите, дорогая, я влюбилась в святого. Такое могло случиться только со мной. Генрих воображает себя Франциском Ассизским, а до того он был Микеланджело.

— Я бы предпочла Микеланджело!

— Я тоже, но что делать! И потом, он видит во мне возрожденную святую Клару. Он идеально воссоздает пару, которой увлечен в настоящее время.

— И не надоело вам играть эту роль?

— Я, возможно, вас удивлю, Мэри, но никакой роли я не играю. И никогда не умела играть. А что касается моей чувственности, тут уж ничего не скажешь! С тех пор как два года назад кончилось мое приключение с Бережи, я ни разу не спала ни с одним мужчиной. Не скажу, чтобы это мучило меня. Я полностью отдалась танцу.

— А сейчас?

— Сейчас я знаю, что никогда не буду принадлежать Генриху. Несмотря на то, что никто не владел мною так абсолютно, как он. Никто, верите? Он владеет моей душой. И когда я его слушаю и вижу его огромные глаза, такие умные и такие печальные, мне хочется умереть.

— Вы околдованы, Айседора.

Да, именно так. Она была околдована, сведена с ума чем-то, превосходящим ее понимание, что она могла сравнить только с той дрожью, которая охватывала ее во время репетиций, едва оркестр начинал прелюдию из «Парсифаля». Сидя где-нибудь в темном углу театра, замкнувшись в себе, во власти высшего сладострастия, так близкого к страданию, она с трудом подавляла в себе желание кричать о своей любви, желании и тоске. Когда сидящий рядом с ней Генрих брал ее руку, она чувствовала, как все тело ее начинало дрожать от ласкового прикосновения его руки, нежной и горячей, как страстный поцелуй.

Однажды рано утром, когда Тоде прощался с Айседорой на крыльце Филипсруэ, они увидели коляску, приближающуюся по аллее парка. Генрих побледнел:

— Смотрите, Айседора. Это фрау Вагнер.

И верно, из подъехавшего экипажа вышла Козима Вагнер, как обычно во всем черном, с небольшой тетрадкой в руке. При виде Тоде она чуточку замешкалась, и по ее всегда ясному лицу промелькнула легкая тень. По-видимому, она не ожидала, что застанет Айседору с мужчиной в столь ранний час. Тоде поклонился ей и исчез, а Айседора повела гостью в гостиную.



Айседора Дункан. Берлин. 1904 г.





Джозеф Чарлз Дункан, отец Айседоры.
Мэри Дора Грэй Дункан, мать Айседоры.





Элизабет Дункан, сестра.
Августин Дункан, брат.



Айседора Дункан. 1880 г.



Айседора Дункан. 1889 г.



Айседора Дункан. Рисунок Фрица фон Каульбаха на обложке журнала «Югенд». 1904 г.



Оскар Бережи (Ромео).



Айседора Дункан в «Сне в летнюю ночь».



Айседора Дункан. Рисунок Л.Бакста. 1908 г.



Генрих Тоде.



Айседора Дункан с учениками.



Айседора Дункан в Греции.



Айседора с учениками в Грюневальде. 1905 г.



Эдвард Гордон Крэг. 1895 г.



Гордон Крэг с матерью Эллен Терри.



Элеонора Дузе.



Дирдрэ. 1911 г.



Айседора Дункан



А. Дункан и Г. Крэг в день первой встречи. Берлин. 1904 г.



Айседора Дункан, Тэмпл Дункан и Мэри Дести. Германия. 1904 г.



Айседора Дункан. Рисунок Г. Крэга. Январь 1904 г.



Айседора Дункан. Пастель Г. Крэга. 1904 г.



Парис Зингер на своей яхте



Школа Айседоры Дункан в Париже.



С сыном Патриком.



Айседора Дункан

— Дорогая деточка, — начала Козима, — мой столь ранний приезд, должно быть, удивил вас. Но то, что я обнаружила, так

странно… и так важно… для вас… и для меня… что я не могла больше ждать. Я вам помешала, извините, я вспугнула этого беднягу Генриха. Он убежал, словно увидел черта.

— Это не важно. А что вы обнаружили, фрау Вагнер?

— Вы часто с ним видитесь, не так ли?

Айседора, злясь на себя, почувствовала, как кровь прилила ей к лицу. «В конце концов, я не обязана перед ней отчитываться. Почему она вмешивается?»

— Я понимаю, — сказала дама, — понимаю.

И хотя она изобразила улыбку, ее взгляд был полон непоправимого разочарования.

— Вот причина моего приезда, — продолжала она, протянув Айседоре то, что держала под мышкой.

Это была школьная тетрадка с записями, сделанными фиолетовыми чернилами.

— Я нашла ее, разбирая бумаги, оставшиеся после кончины Вагнера. Это его раздумья о танце Трех граций в сцене вакханалии в «Тангейзере». Он подробно описал, как должен исполняться танец. Именно так, как танцуете вы, Айседора, до мельчайших деталей. Интуитивно вы нашли танец, соответствующий его собственному видению. Не поразительно ли это? Держите тетрадь и сохраните ее как сувенир о Байройте и о Козиме Вагнер.

— Но, мадам, я не могу ее принять. Эта рукопись принадлежит истории…

— Действительно, она должна бы достаться Зигфриду. Но я надеялась, что, передавая ее вам, я в то же время отдаю ее Зигфриду… что рукопись будет принадлежать… вам обоим. Мне казалось это естественным. Зигфрид — сын Рихарда, а вы — его духовная дочь. Я думала, что… Но судьба решила иначе, и не следует идти ей наперекор. Бережно храните эту реликвию, Айседора. Моей рукою сам Рихард вручает вам этот дар.

Фестиваль приближался. С утра до вечера Айседора проводила дни в театре, присутствовала на репетициях опер. Они проходили без спешки, в атмосфере исключительной собранности всех артистов, музыкантов и танцоров, под строгим наблюдением Козимы и Зигфрида Вагнеров.

Айседоре предстояло исполнить самую трудную и опасную роль в своей карьере, но она не думала об этом. Ураганы музыки, исполняемой оркестром, которым руководил Ганс Рихтер, уносили ее в мир легенд: «Кольцо нибелунгов», «Тангейзер», «Парсифаль». Она была то Зиглиндой в объятиях Зигмунда, то Кундри, провозглашающей проклятия. Ей казалось, что душа ее возносится вместе с кровавым кубком Грааля… Когда она

выходила из театра, покачиваясь, будто пьяная, все вокруг казалось ей туманным, далеким, невесомым, нереальным. Реальностью для нее была лишь вагнеровская легенда.

Духовный экстаз, который вызывал у нее Генрих Тоде, постепенно сменился отчаянным желанием. Мысль, что этот неуловимый возлюбленный — вот он, рядом, и вместе с тем словно отсутствует, — отказывается от ее тела, доводила ее до невменяемого состояния. Она забывала есть, почти не спала. Такой режим не ослаблял, а усиливал остроту чувств. Она внезапно обнаруживала в себе энергию, какой не подозревала раньше. Часто она проводила в постели ночь без сна. Пытаясь облегчить страдания, руки ее ощупывали тело, пылающее внутренним огнем, ища выход в ласке. Это вызывало конвульсии и крики раненого зверя…

К счастью, был танец, ежедневные репетиции в театре. В отличие от многих артистов Айседора не умела отделять свою жизнь от искусства, и исполнение ею танца вакханок с детской непосредственностью выражало ее тогдашнее состояние. Она танцевала, как дышала, любила, страдала, не думая скрывать чувства правилами приличия. Произведения великих музыкантов становились ее музыкой, она владела искусством ставить ее на службу своим фантазиям, при этом оставаясь верной замыслу автора. Никто не знает, на каких загадочных путях была подготовлена встреча Вагнера, Айседоры и Генриха Тоде. Она произошла сама собой, не могла не произойти, поскольку Айседора обладала редким даром придавать непредвиденной случайности силу необходимости.

В одном из интервью она сделала, по сути дела, признание: «Музыка „Тангейзера“ выражает все безумство жажды сладострастия человека, живущего рассудком. Вакханалия происходит в голове Тангейзера. Закрытый грот сатиров, нимф и Венеры — это закрытая душа Вагнера, страдающего от вечного ожидания того, что он смог найти лишь в своем воображении. Эта музыка таит в себе всю неудовлетворенность чувств, отчаянное ожидание, все томление страсти и вожделения в мире».

Страдания на Венериной горе, сновидения Тангейзера, вакхический экстаз… Все вожделение мира!.. В тот вечер, когда состоялась премьера, Айседора бросила в безбрежный океан музыки свое тело, томящееся от страданий. Так она не танцевала со времен детства на берегу океана в Сан-Франциско. Ураган звуков унес ее. Освободил. Выпустил. Утешил.

Кто не видел конца сезона в Байройте, тот не знает, что такое грусть. Тишина там кажется более угнетающей, чем где-либо. Быть может, потому, что наступает после урагана. Театр

«Фестшпильхаус» напоминает в эту пору мрачный, бессмысленный и уродливый корабль, выброшенный на берег. Да и участники фестиваля похожи на людей, уцелевших после кораблекрушения. Они бродят без видимой цели вокруг священного холма, словно пытаются подобрать уцелевшие обрывки возвышенных аккордов. Сердца их пусты, и в душах смятение. Зеваки собираются у грузовиков, увозящих декорации и костюмы. Как будто чудо может свершиться и волшебство повториться: из этого тряпья и мешковины вновь оживет легенда, еще раз блеснув своею красотой.

До отъезда в Россию оставалось три месяца. Айседора воспользовалась передышкой и совершила турне по Германии. Начала с Гейдельберга, где Тоде читал лекции. Между репетициями она ходила в университет слушать Генриха. Днем студенты заполняли аудитории, чтобы слушать лекции о Микеланджело и итальянском Возрождении, а вечером аплодировали Айседоре в городском театре. Так молодежь объединяла в своем восхищении новаторские идеи писателя и хореографические открытия танцовщицы. Их часто видели вместе беседующими на «Тропе философов» вдоль берега Неккара. Вернувшись на виллу Филипсруэ, Айседора никак не могла остаться наедине с собой из-за нескончаемых приемов и встреч. Какая-то неожиданная жизнерадостность охватила ее; она пользовалась любым поводом для развлечений. Именно тогда при необычных обстоятельствах познакомилась она с королем Болгарии Фердинандом. Все присутствующие на вилле Ванфрид встали при его появлении, Айседора продемонстрировала свои демократические убеждения и осталась сидеть, хотя сосед и толкал ее в бок, шепча на ухо:

— Встаньте же, встаньте, это — король Болгарии!

Он вошел в полной тишине. Полулежа на софе, Айседора раскинула руки, с вызовом оглядывая всех и очаровательно улыбаясь. Юная и дурно воспитанная дочь Америки бросала вызов германской аристократии. Фердинанд Болгарский подошел к ней, попросил разрешения сесть рядом и начал рассказывать о своих всемирно известных коллекциях древнегреческих находок. Собравшиеся с изумлением взирали на беседующую пару. Айседора поделилась своим замыслом создать школу, специализирующуюся на возрождении античных танцев.

— Какая прекрасная мысль, — воскликнул король. — Почему бы вам не приехать в мой дворец на Черном море, где вы могли бы открыть школу?

— С радостью, ваше величество. Но это так далеко. Почему бы вам не приехать ко мне поужинать завтра вечером?

Гости чуть не поперхнулись.

В полночь следующего дня в Филипсруэ слышались громкие голоса, взрывы хохота, ржание коней, звон шпор: король в военном мундире и сапогах приехал в сопровождении свиты. Навстречу ему выбежала Айседора с верной своей Мэри. Ужин при свечах, шампанское, прогулка под луной в парке. Король обнимает Айседору, в кустах слышатся звуки поцелуев, шепот нежных слов. Вернувшись на виллу, она приглашает его в свою спальню и проводит с ним остаток ночи. Не потому, что Фердинанд так уж ей понравился. Скажем прямо, он не в ее вкусе; ей неприятен его нос, похожий на клюв коршуна, слишком большой рот, его шумное веселье и грубые манеры. Но когда он обнимает ее и смотрит в упор своими кошачьими глазами, она улавливает в них огонек загнанного зверя. Сначала это ее интригует, а когда она понимает причину, то даже трогает. Его величество Фердинанд Болгарский боится. Всего боится. Трех свечей в подсвечнике на столе. «Это дурное предзнаменование!» — восклицает он. Белой дамы. «Она всегда приносила несчастье Габсбургам». Его преследует страх перед покушением. Это его ахиллесова пята, его секрет. Айседора привлекает его к своей груди, целует в губы, успокаивает, отдается…

— Какая у него сильная натура! — восхищается Мэри на следующий день. — Настоящий жуир.

— Да… — задумчиво отвечает Айседора… — суеверный жуир… Напоминает мне мальчика, потерявшегося в темноте и ругающего небо, чтобы не умереть от страха.

Фердинанд приезжает чуть ли не каждую ночь. Порой он встречает в холле слоноподобного гиганта, тенора вагнеровских опер фон Барри, страстно влюбленного в Мэри Дести. Однажды король, лежа рядом с мирно спящей Айседорой, проснулся от страшного шума. Предрассветный сумрак разорвал голос Барри — фраза из партии Парсифаля: «Рана! Амфортас! Рана!»

Медленно приближалась зима. А с ней кончалось пребывание в Байройте. Через несколько дней надо будет собирать багаж, прощаться с Филипсруэ, с виллой Ванфрид, с Козимой и Генрихом… Возвращаться в реальную жизнь… Выходить из магического крута. В поезде, увозящем ее в Санкт-Петербург, Айседора спрашивала себя, не очнется ли она, одетая в сверкающие латы, со шлемом на голове и с длинным щитом, закрывающим тело, у подножия Вальхаллы, где восседает бог Один… Розоватый туман рассеивается в долине. Спускаясь с холма, что рядом со скалой, Зигфрид приближается к спящей, развязывает шлем, длинные кудри Брунхильды рассыпаются, словно золотые кольца. Склонившись над ней, он касается устами

ее губ. Тут дочь Одина открывает глаза, медленно выпрямляется и, воздев к небу руки, приветствует землю и небо:

Привет тебе, солнце!
Привет тебе, свет!
Привет тебе, яркий день!

Айседору убаюкивает ночное движение поезда. Ритмичный стук колес упрямо повторяет: «Святой Фран-циск Ас-сиз-ский… Святой Фран-циск Ассиз-ский…» Покачивание вагона словно подчеркивает ударные и безударные слоги. Она тщетно пытается прогнать их, заменить другими. Но они упорно возвращаются с назойливой регулярностью: «Святой Фран-циск Ассиз-ский… Святой Фран-циск Ассиз-ский…».

— Что за глупость, — злится она. — Дался мне этот святой Франциск Ассизский.

Поезд несется по заснеженному простору. Прислонившись лбом к стеклу, Айседора различает в ночи голубоватые поля, провожает глазами редкие мерцающие огоньки. И слышит непрекращающийся стук колес, отбивающий все тот же ритм.

Тогда она дышит на стекло и пальцем пишет: «ГЕНРИХ ТОДЕ». После чего ложится и засыпает глубоким сном.

ГЛАВА X

Из-за снежных заносов поезд прибыл в Петербург в четыре утра, с опозданием на двенадцать часов. Пустые перроны утопают во мраке. На площади извозчики в тулупах греются, притопывая возле саней, и крепко хлопают друг друга по спине, чтобы не замерзнуть. Так они часами ждут седоков на морозе и ледяном ветру. Айседора садится в сани с потрескавшимся верхом и лохматыми подушками, из которых вылезает волос.

— Отель «Европа!» — говорит она огромному мужику, сидящему на облучке перед ней.

— Но-о! Милая! — кричит извозчик, обращаясь к лошади, как к своей возлюбленной. Все извозчики здесь обращаются к своим лошаденкам с ласковыми словами. Сани трогаются со скрипом. Голова лошади скоро окутывается паром. Вдруг она останавливается и с испуганным ржанием чуть не встает на дыбы. Айседора всем телом подается вперед и в ужасе видит перед собой длинный обоз, бесшумно двигающийся навстречу. В каждых санях — по гробу, а вокруг них — мужчины и женщины в черном. Процессия приближается. Кучер снимает шапку и крестится справа налево, по православному обычаю.

— Что случилось? — спрашивает она на ломаном русском.

— Ничего страшного, барыня, — хриплым голосом отвечает мужик, оборачивая к ней свою бородатую физиономию с глазами, грустными, как у старого пса. — Это рабочие… Дело было… в воскресенье… Да, такое вот дело… Расстреляли многих, перед Зимним… Да… Солдаты стреляли…

— Расстреляли? Но за что?

— Не знаю, барыня… Говорят, они бастовали, хотели лучше жить… хлеба просили, знамо дело…

— Ужас какой!

— Конечно, сидели бы лучше дома. Смутьяны все это натворили, не сидится им… Вот они и устраивают беспорядки… политику на улицах… и все такое… Но, милая! Потихоньку поедем! Потихоньку, полегоньку. Так и доберемся…

Весь остаток дня Айседора прожила под впечатлением ночного происшествия. Швейцар гостиницы рассказал ей подробности случившегося. Говорил он тихо, с видом конспиратора, оглядываясь по сторонам.

В воскресенье, 22 (9) января 1905 года, в день всеобщей забастовки, рабочие Путиловского завода решили отнести царю прошение. Поп Гапон шел во главе толпы, вместе с ним другие священники в облачении, с крестами, иконами и хоругвями.

Толпа двигалась в полной тишине. К ним присоединились рабочие окраин, с женами и детьми. Перед выходом на Дворцовую площадь толпа остановилась. Путь преграждали шеренги солдат с винтовками. Несколько минут прошло в тишине. Солдаты и рабочие молча смотрели друг на друга. Вдруг раздался выстрел. Упал человек. Это стало сигналом. Послышались залпы. Толпа стала разбегаться: кто в сторону Невского проспекта, кто в противоположную. Войска окружили бегущих у Александровского сада. Конные казаки выскочили из засады и стали рубить всех подряд на Николаевской набережной и на мосту через Неву. В это Кровавое воскресенье около тысячи человек погибло и более пяти тысяч было ранено.

А во вторник вечером в Дворянском собрании сверкали хрустальные люстры, в партере блестели драгоценные камни в украшениях дам, сияли ордена на ярких мундирах кавалеров. Царский двор явился приветствовать юную калифорнийку, слегка растерявшуюся на огромной сцене. Босиком, в одной тунике, тонкой как паутинка, она танцует на фоне простого голубого занавеса полонезы Шопена. Она хочет выразить своим танцем впечатление от ночного видения, отклик на бунт угнетенного народа. Когда она, закончив танец, падает, ткань туники и ее лицо залиты слезами. Гром рукоплесканий раздается в зале. Айседора кланяется, в изнеможении от пережитого волнения.

Несмотря на свой триумф, Айседора боялась встречи со звездами классического балета, Павловой и Кшесинской. Как-то они встретят ее, анархистку от хореографии, не окончившую элементарной балетной школы? Однако ее опасения вскоре рассеялись. На следующий же день к ней явилась сама Кшесинская в собольей шубе.

— Я восхищаюсь вашим выступлением. Думаю, что мы многому можем у вас научиться. Сегодня вечером я танцую в Мариинском театре. Было бы очень любезно с вашей стороны, если бы вы могли прийти.

Айседора не верит своим ушам. Ведь в Байройтском театре балерины рассыпали гвозди на полу, чтобы она поранила себе ноги, а здесь, в храме академического танца, перед ней открывают двери настежь.

В тот же вечер великолепный экипаж, утепленный дорогими мехами, отвез ее в театр. В отведенной ложе ее ждут цветы и три красавца-гвардейца в роли переводчиков. Ее появление вызвало сенсацию в зале. Аристократия Санкт-Петербурга во все глаза разглядывает нимфу в сандалиях и белой тунике. Во время антракта кавалеры представляют ее августейшим особам: великому князю Сергею Александровичу, дядюшке царя,

великому князю Михаилу, княгине Орловой, графу Курагину. Неожиданно к ней подходит увешанный наградами офицер. Она инстинктивно отступает: от этого человека с короткой стрижкой, черной как смоль бородой и монгольским разрезом глаз исходят флюиды жестокости. Он представляется:

— Генерал Трепов. К сожалению, вчера не смог видеть вас. Был очень занят. Все же позвольте поздравить вас с успехом. Говорят, вы очаровательно танцевали под музыку Шопена.

— Я очень люблю полонезы. Это музыка свободы.

— И революции. Прощайте, мадам, — отрезает он, щелкнув каблуками.

В ее взгляде, обращенном к одному из светловолосых спутников, немой вопрос.

— Это новый губернатор Санкт-Петербурга, — отвечает тот. — Ему поручено подавление революционных элементов.

А через несколько дней Павлова пригласила ее на представление «Жизели». На ужине после спектакля Айседора оказалась между художниками Бакстом и Бенуа. Напротив нее сидел великан с молодым, но уже одутловатым лицом, — Сергей Дягилев. Друзья прозвали его «Шиншилла» за белую прядь волос, выделяющуюся на черной шевелюре.

— Я в восхищении, — восклицает Айседора. — Кшесинская!.. Сказочная! Поистине сказочная! Воздушна, как бабочка. А Павлова! Это чудо!

— Уж не стали ли вы поклонницей классического балета, госпожа Дункан? — спрашивает Дягилев с лукавой усмешкой на устах.

— Вовсе нет. Я восхищаюсь талантом, грацией, чудесной легкостью, а также физической выносливостью балерин… Но для меня остается вопросом, где же во всем этом танец, точнее — душа танца? У Павловой тело из стали, согласна, но зачем такая сила? Для чего эта тирания над собой, эти многочасовые упражнения, скажите, пожалуйста?

— Это — тренировка, отработка техники. Признаю, что это тяжелый труд, но он необходим, — отвечает Дягилев своим низким голосом.

— Согласна, но зачем нужна техника, если она полностью отделяет душу от тела? Поверьте, инстинкт только страдает от того, что его держат в стороне от усилий мускулатуры. Сегодня утром я была в Императорской балетной школе. Там видела пятилетних крошек, которых заставляют часами стоять на пуантах. Это варварство, да и только! Я находилась в зале пыток. Никогда не видела я ничего более противоположного моему представлению о танце.

— А как вы его себе представляете, госпожа Дункан? Очень хотелось бы знать.

— Я считаю, что тело должно быть воплощением прозрачности, интуиции, совершенным выражением души и разума. Считаю, что танцор — это прежде всего человеческое тело, то есть пластическая реальность в трех измерениях, живой, одушевленный, подвижный элемент, а не холодная механическая деталь. Думаю, что отделение танца, решившего, что он может жить сам по себе, породило такую ересь как классический балет. Во времена Софокла танец, поэзия, музыка, драматургия и архитектура составляли одно гармоничное целое и были проявлением единого чувства в различных формах. Когда я была в Афинах, я часто танцевала на рассвете в амфитеатре Диониса. Там я почувствовала, до какой степени все было подчинено единой гармонии. Я находилась в центре круга, образующего амфитеатр, и жесты рук моих соответствовали линиям, очерченным передо мною горизонтом его ступеней.

— Извините, госпожа Дункан, но вы говорите главным образом о душе… чувствах и ничего о дисциплине, которой требует танец, как и всякое другое. Не боитесь ли вы, что поддаетесь инстинкту женщины, а не художника?

— А почему вы их отделяете? Мне кажется, что вас шокирует больше всего то, что женщина способна вносить новое в искусство, совершать революцию… Можно подумать, что вы воспринимаете это как некое покушение на ваше превосходство. По-видимому, мы должны были бы покорно склоняться, подобно несчастной Павловой, перед тиранической волей господ Петипа и прочих истязателей-хореографов. Самое большее, на что вы соглашаетесь, это видеть в нас муз-вдохновительниц, но как только женщина начинает творить, вы ей затыкаете рот словами об интуиции. Вы читали книги доктора Фрейда, господин Дягилев?

— Признаюсь, нет… Пока нет.

— Очень жаль. Вы узнали бы, что интуиция, подсознательное находятся в центре всей деятельности человека, в том числе художественного творчества. Через несколько лет эти теории совершат переворот в наших концепциях в области искусства. Даже если публика еще не понимает меня, я знаю, что представляю собой, а это — главное. Я нахожусь у истоков нового искусства.

— И новой женщины, как мне сказали, — иронически добавляет Дягилев.

— Конечно! Я требую этого, и открыто требую. Кстати, я никогда не разделяла эти два понятия: женщина и танцовщица.

Хочу объединить их. Вы представляете, во что классический балет превращает тело женщины? Это же скандал! Вместо того чтобы показывать обнаженные плечи и ноги, их прячут в трико телесного цвета! Что может быть смешнее? А эти корсажи, твердые, как железные ошейники! А смехотворные пачки! Это издевательство над красотой женских форм! А слишком узкая обувь, стискивающая ступню, как орудие пытки! Все делается, чтобы лишить женщину ее естества. А я хочу вернуть ее в нормальные условия. Хочу, чтобы женщина не стеснялась своих форм. Вот почему меня так боятся пуритане всякого рода.

— Госпожа Дункан, можно я задам еще один вопрос? Почему вы не танцуете под музыку, специально написанную для танца?

— Потому что до сих пор не написана настоящая, великая музыка для танца. Я танцую под музыку Баха, Бетховена, Шопена, Шуберта и Вагнера, потому что только эти гении выражают ритм человеческого тела. Вагнер, возможно, лучше других понял, какой должна быть музыка для танца.

— Очень интересно, очень интересно, — говорит Шиншилла, откидываясь назад в синем дыму сигары. Хотя вид у него рассеянный, он запомнил все, что она сказала. По существу, он думает примерно так же, как и она. Но для него важно не создавать новое искусство танца, а радикально реформировать традиционный балет, объединить музыку, поэзию, живопись и танец, чтобы создать единый спектакль, приносящий полное наслаждение.

— А почему вы не открываете свою школу?

— Это — мое самое большое и давнее желание. Надеюсь осуществить его… Может быть, в Германии…

После недельного пребывания в Петербурге Айседора получает приглашение выступить в Москве. Прием публики гораздо более сдержанный. Слышны даже протестующие возгласы возмущенных балетоманов. Как всегда, самые горячие аплодисменты смелой новаторше исходят от артистов и художников. На премьере сразу после закрытия занавеса великий Станиславский бросился к рампе и своим могучим «Браво!» перекрыл свист недовольных.

В России театр для многих — государственная религия. Имя одного из богов этой религии — Константин Станиславский. У него все внешние атрибуты божества: фигура Аполлона, темная шевелюра с искрами седеющих волос, ослепительно сверкающие зубы, тонкое и вместе с тем сильное мужское обаяние, жесты проповедника, теплый, обволакивающий баритон, каждое слово четко очерчено, ясные, звучные гласные доносят музыку речи.

«Наконец-то я встретила настоящего мужчину», — шепчет про

себя Айседора, увидев его. Ей надоело платоническое обожание поклонников. Страстно захотелось прильнуть к его губам, к горячему телу этого красавца.

Но он каждый вечер играет в своем Художественном театре, и видеться они могут только ночью, после спектакля. Он очень серьезно излагает свои идеи о театральной постановке, о декорациях, об игре актеров, задает много вопросов о танце.

— У кого вы учились танцевать? — спрашивает он.

— У Терпсихоры. Я танцую с того дня, когда научилась стоять на ногах. И всю жизнь танцевала. Все должны танцевать. Жаль, что не все понимают естественной потребности, данной нам самой природой.

— Странно, — замечает он с упреком. — Впечатление такое, что вы не можете говорить о своем искусстве логично, последовательно, систематично… Вас тут же уносят чувства…

— Что же вы хотите, я не теоретик, как вы, — отвечает она с улыбкой. — Как объяснить словами то, что я не могу сформулировать даже для себя? Прежде чем идти на сцену, я должна завести в себе некий мотор. Он начнет работать внутри меня, тогда ноги и руки сами, помимо моей воли, будут двигаться. Когда мне не дают для этого времени, я не могу танцевать…

Станиславский тоже ищет такой двигатель, который необходим актеру перед выходом на сцену. Часами он наблюдал за Айседорой во время спектаклей и репетиций. Они ищут одного и того же, но лишь в разных отраслях искусства.

Она пытается отвлечь Станиславского от мыслей о театре, хотя бы на короткое время, но это ей не удается. Он живет только для театра. Страсть к сцене, по-видимому, пожирает его целиком, он предан ей душой и телом. Каждый раз, когда Айседора пытается заговорить о чем-нибудь личном, он переводит разговор на темы театральные. В Айседоре он видит только танцовщицу. Как женщина она для него, кажется, не существует. Однако она уверена, что он к ней неравнодушен. Инстинкт не обманывает ее. Конечно, он женат, у него семья, дети, к которым он очень привязан. Все же с хорошенькими актрисами, которые от него без ума, он, наверное, порой… «Ну что ж, придется мне первой пойти навстречу», — думает она.

В тот вечер он репетирует «Чайку». Ее он предупредил: «Закончу репетировать не раньше полуночи, а то и часа ночи». Она приехала в театр. Ждет конца репетиции в его кабинете, который служит и гримерной. На стенах, на столе, на диване — всюду макеты декораций, фотографии, эскизы костюмов. В углу — гримировальный столик с выгнутыми ножками и тройным

зеркалом, окруженным яркими лампочками. На столе — тюбики с гримом, пудрой, болванка для парика. Он входит измученный, небритый, капли пота на лбу, закуривает папиросу.

— Устал до смерти… но поработали, кажется, недурно. Нет ничего труднее для постановки… В пьесах Чехова сложно то, что внешнего действия нет, все прячется за бездействием персонажей. Говорят, что в его пьесах ничего не происходит. Ужасная ошибка! Наоборот, происходит очень многое. «Чайка» — это жизнь в отрицаниях. Посмотрите на реплику Маши: «Это траур по моей жизни…» По существу, они все носят траур по своей жизни. Самое трудное — передать их неспособность выйти из мира химер и действовать, показывать пустоту в них самих и в их окружении… Прелесть не в диалоге, а в том, что скрывается за ним, в молчании, во взглядах… Главную роль играет интуиция. Сомов сделал великолепные декорации, да, прекрасные декорации, настоящее произведение искусства, совершенно лишенное натурализма. Ему удалось создать мир, одновременно реальный и неуловимый, полный поэзии… загадочности… он сделал видимыми души Треплева, Нины, Тригорина… их иллюзии… и ту неврастению, которая есть во всем этом… — А вы?

— Что я?

— Вам не кажется, что вы на них немного похожи?

— Да нет, не думаю… право. А почему вы спрашиваете?

— Да потому, что вы совсем, как они, бедный мой Константин Сергеевич. Вот вы пришли и почти Не видите меня, а сразу начинаете увлеченно говорить о Чехове, о декорациях, о поэзии, о мечтах… Вы так заняты своей ролью… Как будто боитесь от нее оторваться. Хоть на минутку забудьте о театре! Ну, подойдите ко мне… Ближе…

Они стоят почти вплотную друг к другу, она вдыхает запах мужчины, ей хочется прикоснуться к его груди, она угадывает его мускулистое тело под рубашкой, смотрит на мужественный рот, на влажные и сильные губы, она видит, что он впивается в нее глазами. И вот она обнимает его за шею и целует долго, жадно пьет тепло его губ. Он нежно возвращает ей поцелуй, медленно освобождается от объятий, смотрит на нее с удивлением. Она опять хочет обнять его, но он останавливает ее порыв и, взяв за руки, говорит:

— Это безумие, Айседора.

— Безумие? Почему?

— Подумайте, что мы будем делать с ребенком?

— С ребенком? — спрашивает она в изумлении. — С каким ребенком?

— Да с нашим, с тем, которого мы рискуем заиметь вместе.

Что мы будем с ним делать? — И своим прекрасным низким голосом продолжает: — Я никогда не соглашусь, чтобы мой ребенок воспитывался вдали от меня. А поскольку мне будет трудно привести его в мой дом…

Он не успел закончить фразу. Стоя перед ним, Айседора почувствовала неудержимое желание расхохотаться. Схватив пальто, она выбежала в коридор, чтобы не прыснуть со смеху ему в лицо.

Зато на улице она дала себе волю и хохотала до слез. Но, вернувшись в гостиницу, почувствовала, что первая реакция сменилась горьким отчаянием. «Если бы я была мужчиной, то в моем нынешнем положении пошла бы в бордель. А у меня и такого выхода нет».

Она раздевается, долго рассматривает в зеркале свое обнаженное тело, любуется формой груди, округлостью бедер, очертанием ног.

— Просто Ренуар, да и только, — говорит она сама себе. — Такая же шелковисто-перламутровая кожа.

Вспомнив о сцене со Станиславским, думает: Самое смешное то, что он говорил совершенно серьезно. Ребенок!.. Ребенок!.. Ну и что? Есть из-за чего устраивать драму. Я бы его сохранила и забрала с собой, этого ребенка. Воспитала бы его. Ничего от него не прошу. Хотела, чтобы он взял меня, вот и все… Какой же он дурак! До чего же глуп!..

После короткого визита в Киев, где студенты, как обычно, распрягают экипаж и везут Айседору с триумфом по городу, она должна срочно выехать в Берлин. На вокзале ее встречает Мэри Дести. В такси, по дороге в гостиницу, они разговаривают так, как если бы расстались вчера, а не месяц назад.

— Я так беспокоилась о вас, Айседора.

— Поезд опоздал на двенадцать часов. Я видела похоронную процессию. Это ужасное зрелище, никогда не забуду. Тяжело сознавать, что ничем не можешь помочь, даже сказать ничего нельзя… Больше того: я чувствовала, что, присутствуя там, развлекала палачей. Но я отомстила им по-своему. Если бы вы видели, какой я им выдала полонез… Получился революционный гимн. А палачи радовались и требовали исполнить на «бис»…

— А Москва?

— В Москве я сама устроила революцию. Там произошли настоящие стычки между балетоманами и дунканистами. Эти русские сошли с ума. Некоторые из моих сторонников стрелялись на дуэли с моими противниками.

Потом Айседора рассказала о приключении со Станиславским:

— Ничего не понимаю, Мэри. Что происходит? Мне уже двадцать семь лет, а я только один раз в жизни познала любовь. Фердинанда Болгарского я не считаю, к нему у меня не было чувства. Но каждый раз, когда я влюбляюсь в мужчину, он убегает. Это ненормально… Вот посудите сами: Бонье…

— Ну, этот — явный гомосексуалист. Вспомните, как он переживал смерть Уайльда.

— Ладно. Но остальные… Не все же они педерасты, в конце концов.

— Вы отказали Родену.

— Это верно, я оттолкнула его, потому что он был стар. Знали бы вы, сколько раз я потом сожалела о своем ребячестве! Подумайте только: отдать свою девственность великому богу, самому Пану, могучему Родену! Думаю, если бы я ему отдалась, и искусство мое, и жизнь вообще обогатились бы. Но, откровенно говоря, это было невозможно, нет… это было выше моих сил. Но остальные, Мэри, остальные?

— Когда вы в прошлый раз задали мне этот вопрос, я ответила: «Вы — богиня», за что вы меня и отругали.

— Потому что это неправда. Я — женщина, Мэри, просто женщина. Страдающая женщина…

— Все равно. Вы не дали мне закончить мысль. Вы не просто женщина, Айседора, вы — Женщина с большой буквы. И, поскольку вы единственная такая женщина, я и назвала вас богиней, вот и все.

— Ничего не понимаю. Знаю только, что с мужчинами мне не везет. Если так пойдет дело и дальше, подамся в лесбиянки.

— Хотите, Дора, услышать правду? Вы отпугиваете мужчин.

— Отпугиваю?

— Да, отпугиваете. Право, можно подумать, что вы не видите женщин вокруг себя. Ну посмотрите, Айседора, откройте глаза. Все они — не женщины, а какие-то самураи, в нелепых нарядах, словно кони в сбруе и с султанами на голове, покрытые щитами, броней, зажатые китовым усом, в сапогах, кольчугах и поясах из атласа и бархата, украшенных каменьями… Какие-то священные скарабеи.

— Хватит, хватит, Мэри, остановитесь, а то я со смеху умру. Так вот они-то и должны отпугивать мужчин.

— В том-то и дело, что нет. Мужчины пугаются вашего тела, свободного от всяческих ухищрений, боятся вас как женщины. Вы освободили женское тело, и мужчины вам этого не прощают. Особенно те, с кем вы общаетесь…

— Что вы хотите сказать?

— Я имею в виду интеллигентов, артистов и художников,

наделенных воображением: Бонье, Галле, Эйнсли, Генрих Тоде и Станиславский… Таким людям нужно больше, чем другим, помечтать о том, что их волнует. Все женщины с детства воспитаны на необходимости возбуждать. В них видят не тело, имеющее половые признаки, а символ сексуальности, не желание, а возможность желания.

А вы, Айседора, предпочли избавиться от рабства и обмана. Браво, браво! Но вместе с тем вы принесли в жертву тайну, окружающую женщину. А именно ее-то мужчины и ищут. Открывая ваше тело, освобождаясь от покрова, вы мешаете их воображению. Вы ведь знаете, какую важную роль играет воображение в половом акте, а вы лишаете своего партнера этой возможности. В какой-то степени вы делаете его импотентом, кастратом. И вот еще что, Айседора, раз уж вы спрашиваете мое мнение. Дело в том, что вы — артистка, создательница культуры. Этого тоже мужчины не могут пережить. Им трудно спорить с вами об искусстве, о философии, как они привыкли спорить между собой. У них впечатление, что вы их унижаете. По сути дела, — смеясь, закончила Мэри, — вы — опасная революционерка и как танцовщица, и как женщина. К тому же действуете самым наивным образом, отчего становитесь еще более опасной.

— Что вы хотите, не могу же я в самом деле превратиться в это… как вы говорите?.. В скарабея.

— Это не я придумала, это сказал молодой французский поэт, которого я недавно повстречала. Надо будет вам познакомиться с ним. Увидите: он очарователен и очень остроумен. Знаком с Сергеем Дягилевым. А зовут его Жан Кокто.

— Ах, да! О Дягилеве я должна вам рассказать…

Крупные суммы, заработанные на гастролях в России, позволят Айседоре реализовать свою давнюю мечту: открыть школу танца. Вместе с матерью и Элизабет она целую неделю ищет и в конце концов находит помещение на Траубенштрассе, в Грюневальде. Это только что построенная вилла. Все трое пускаются на поиски необходимого для меблировки дома: сорок железных кроваток с пологами из белого муслина, подхваченных голубыми лентами, и целая подвода всякой всячины для украшения детских комнат. Тут и увеличенная гипсовая копия группы Донателло «Танцующие дети» («Прекрасно подойдет для вестибюля», — считает Элизабет), и бесчисленные фигурки всякого рода: розовые изображения младенца Иисуса, купидончики с толстыми попками, толстощекие херувимчики с крылышками и уйма гирлянд из фарфоровых цветов, украшения

из искусственного мрамора, олеографические картинки, барельефы…

Закончив приготовления, у входа прикрепляют бронзовую табличку с выгравированными словами: «Академия танца Айседоры Дункан».

Осталось набрать учеников. В газетах публикуется объявление. «Знаменитая танцовщица Айседора Дункан открывает школу танца для девочек от пяти до пятнадцати лет. Сорок учениц отбираются по конкурсу в зависимости от их физических данных и будут находиться на полном содержании школы. Родителей просят явиться по адресу: Грюневальд, Траубенштрассе, 5, в понедельник 15 марта 1905 года с трех до шести часов».

В полдень перед школой выстроилась очередь из нескольких сотен женщин, держащих за руку девочек разного роста и возраста. Некоторые мамаши принесли даже двухлетних крошек. «Извините, — объясняет им Элизабет, — но здесь не ясли».

Как производить отбор? Айседора и сама не знает. Она спешит и отбирает самых хорошеньких, не задумываясь о том, есть ли у них хоть какие-нибудь способности к танцам. Во всяком случае, открытие школы вызывает огромный интерес, германская пресса приветствует это событие как великое начинание. Айседора берет на содержание детей до конца их школьного возраста. Небывалая щедрость мецената!

Во время пресс-конференции журналисты просят госпожу Дункан уточнить задачи школы и методы обучения.

— В основе физического воспитания, — говорит она, — лежит гимнастика. Мускулы должны стать сильными и гибкими, тело должно пропитаться воздухом и солнцем, стать свободным. Девочки будут носить одежду на древнегреческий манер, что поможет наполнить тело жизненной силой.

После необходимой подготовки наступит обучение собственно танцу. Оно начнется с простой ходьбы, ритмичной, в медленном темпе, затем быстрее, в усложненном ритме, потом — бег, прыжки в определенном ритме. Так ребенок будет приучаться к гамме звуков и гамме движений.

Ее пылкое кредо вызывает у многих скептическую улыбку. Учиться ходить?.. Бегать?.. Какое отношение это имеет к танцу? А где же станок? Пуанты? Батман? Фуэте? Тело, пропитанное светом, солнцем, свободой? «Возможно, мисс Дункан и является символом, воплощением движения, мыслью в действии, — писал на следующий день критик Вейсман, — но в том, что касается танца, она барахтается в утопии».

Ее утопия оказалась еще и разорительной. Импресарио

Айседоры рвет на себе волосы.

— Ваша школа — идиотство! Вы разоритесь на ней, вот увидите. К тому же девочки ваши все больные. Им нужна не школа, а детский санаторий.

— Конечно, ведь их родители — малоимущие. Это дети рабочих, и часто безработных… они страдают от голода, от болезней, — доктор Хофф рассказывал мне. Поэтому мне их и доверили.

— Но вы же не служба государственного призрения! К тому же позвольте вам сказать, что вегетарианским режимом вы не укрепите их здоровье. Им нужны не фрукты и овощи, а мясо и еще раз мясо, поверьте мне.

— Молчите, Йозеф, вы ничего не понимаете. К тому же вы ужасный эгоист. У меня есть средства, чтобы обеспечить им достойную жизнь, и я считаю своим долгом сделать это.

— Подумайте, Айседора. Вам придется их одевать, кормить, воспитывать, содержать врача и постоянных сиделок. Вы и трех месяцев не выдержите.

— Но у меня же будут турне.

— Какие турне?! Мне пришлось аннулировать все договоренности, заключенные до Байройта. А ведь вы мне обещали: «Можете делать со мной все, что захотите». Я был прав, когда вам не поверил: вы всегда поступаете, как в голову взбредет.

— Организуйте мне сколько угодно выступлений здесь, в Берлине, пока я не налажу школу.

Шурман направился к двери.

— Да, Йозеф, одну секунду… сделайте… ну… повыше цену, а? Я же должна их кормить, этих девчонок… Они же мои дети…

ГЛАВА XI

— Чудесно! Необычайно! Невиданно!

— Благодарю вас…

— Но почему вы меня обокрали?

— То есть?

— Вы все взяли у меня! Мои идеи, декорации и даже голубой занавес, на фоне которого вы танцуете… Вы ограбили меня, как разбойник с большой дороги! Я должен подать на вас в суд.

— Вы с ума сошли! Я все придумала, когда мне было пять лет. Но, во-первых, кто вы? Зачем пришли в мою гримерную?

— Меня зовут Эдвард Гордон Крэг. Близкие зовут меня Тэд. Пришел высказать вам свое восхищение. Вы просто божественны!

— Гордон Крэг?

— Он самый. Если это имя вам ничего не говорит, может быть, вы слышали об Эллен Терри? Я ее сын.

Гордон Крэг! Как не знать! О нем говорят повсюду. Его постановка «Гамлета» вызвала скандал. Каждая его работа вызывает бурю возмущения. «Провокатор!» — кричат недоброжелатели, которых оскорбляют его декорации в виде геометрических фигур. «Крэг? Это субъект с претензиями на гениальность потому, что его мать знаменита. Ему на всех наплевать. Отменил антракты, убрал занавес, декорации выдумал — сплошной обман, изобразил тронный зал в „Макбете“ в виде сетки из линий и ширм, обтянутых грубой мешковиной! Чего только не придумает, лишь бы эпатировать зрителя! Если и есть у него талант, так это дар саморекламы!»

А сторонники провозглашают его гением. «Крэг — один из величайших гениев нашего времени, он, как Шелли, весь создан из огня и молний», — писал о нем критик Оливер Уайт. Макс Рейнхардт и Жак Копо называют его своим учителем. А великий Станиславский сказал о нем Айседоре: «Это король современного искусства оформления сцены». Точнее — принц: принц из замка Эльсинор. Что еще о нем сказать? Ему тридцать три года, но выглядит он на двадцать три. Замечательно тонкие черты почти женского лица, нежные, трепещущие губы. Но в речи никакой мягкости. Режет, как стальное лезвие. Когда говорит, в близоруких глазах за стеклами очков вспыхивают искры. Очень худощавый, утопает в своем широком плаще. Производит впечатление одновременно и хрупкости и властности.

— Моя дочь ничего у вас не брала, — решительно вмешивается миссис Дункан, присутствовавшая при разговоре. — Вы ею восхищаетесь, а сами позволяете себе говорить такое…

Она ворчит, но узнает в его лице аристократические черты Эллен Терри, великой актрисы, ей вспоминаются их лондонские встречи… Челси… скамейка в парке… булочки по два пенса. И, взяв его за руку, говорит:

— Ладно, господин Крэг, давайте закончим нашу ссору. Пойдемте поужинаем с нами.

За столом, где, кроме семьи, ужинали несколько друзей, приглашенных Айседорой, вскоре стало слышно только Крэга. Голос прерывистый, резкий, саркастические фразы хлещут, как удары бича. Достается всем прославленным театрам. Резкие фразы, перемежающиеся коротким смешком. А когда он говорит о своих планах, то перескакивает с одной мысли на другую, и его слушателям трудно уловить ход рассуждения. Время от времени он откидывает нервным жестом тяжелую прядь волос, но та вновь падает на лоб.

К середине ночи за столом остаются только Айседора да Крэг, даже не заметивший, что он уже утомил всех и они разошлись. Подперев подбородок рукой, Айседора слушает, не отрывая взгляда от его близоруких глаз за синим дымком сигареты. Внезапно он останавливается посреди монолога.

— А что вы здесь делаете? — восклицает он.

— Как что делаю?

— Да, что вы здесь делаете, с вашей матушкой, сестрой и братом, со всей этой ребятней? Это ужасно! Разве подобная жизнь для такой артистки, как вы?

— Что вы хотите этим сказать?

— Я хочу сказать, что вы должны жить со мной!

— Вы с ума сошли!

— Нет! Вас породил я. Вы принадлежите моему искусству.

— Я уже сказала, что ничем вам не обязана. Абсолютно ничем! Даже голубыми занавесями.

— Но это еще удивительнее! С нами происходит нечто фантастическое! Вы понимаете? Не зная друг друга, мы придумали один и тот же мир, вы — в области танца, я — в театральных декорациях, один и тот же стиль, одинаковое отношение к вещам. Да ведь это чудо, Айседора! Настоящее чудо! Такие встречи бывают, быть может, раз или два в сто лет! Мы сейчас переживаем редкий случай! Я чувствую, что это волшебный миг! Оглянитесь. Вам не кажется, что мир чуть-чуть изменился? Все изменилось, уверяю вас. Все уже не так, как было раньше, все вверх дном, topsyturvy![16]

— С каких пор?

— С тех пор, как я полюбил вас, Топси.

— Топси?

— Отныне это ваше имя. Берите скорее пальто, мы уезжаем.

— Куда?

— Не знаю… Куда-нибудь… Может, в Потсдам?

Не без труда они находят таксиста, который соглашается вести их в Потсдам. Приезжают на заре.

— А теперь что будем делать?

— Холод ужасный. Быстренько выпьем где-нибудь кофе и вернемся в Берлин.

О том, чтобы в Берлине вернуться к миссис Дункан, не может быть и речи. Поехали к Элизе де Брушер, подруге Айседоры.

— Приятная неожиданность! Каким счастливым ветром занесло вас в столь ранний час?

— Ледяным ветром, — ворчит Крэг, с подозрением оглядывая разбросанные в беспорядке вышивки и амулеты.

— Скажите, у вас не нашлось бы чего-нибудь вроде чашки чая, а заодно и яичницы? Умираю с голода.

Весь день Айседора проспала у Элизы. К вечеру поехала к Крэгу в его мастерскую, на последнем этаже гигантского бункера, сооруженного в архитектурном стиле «Neue Kunst»[17]. Интерьер мастерской напоминал макеты декораций к спектаклям Крэга: почти полное отсутствие мебели, голые стены; немногие предметы обстановки в виде кубов разбросаны по комнате; строгая гармония линий и плоскостей. Окна свободно и мягко задрапированы огромными шторами. Единственный штрих декадентской эстетики — черный блестящий пол, устланный лепестками искусственных роз.

Крэг провел весь день дома, задернув шторы и работая, по обыкновению, при электрическом освещении. Набросав несколько десятков эскизов, тут же выбросил их в корзину. Похоже, сегодня он не сделает ничего стоящего. Он думает только о Топси. Его возмущает ее отсутствие. А ведь он сам попросил ее позволить ему побыть в одиночестве. «Мне надо поработать, — внезапно сказал он повелительным тоном. — Приходи часам к восьми вечера». И вот он сидит один перед своими альбомами для рисования, с карандашом в руке, под ослепительным пучком света от лампы, обернутой голубой бумагой. Голова пуста, работать не хочется, он мечтает. Единственная мечта — Айседора, ее тело, улыбка, руки, глаза, смеющиеся и лукавые. Он принялся набрасывать ее портрет: она танцует перед ширмами, расставленными между колоннами, — такой он увидел ее накануне в театре, слева — черный рояль, за ним — аккомпаниатор, исполняющий прелюдии Шопена. На белом листе он описывает их встречу:

«Айседора. Женщина умная и прекрасная. Не маленькая, но и

не огромная. Рост подходящий. Выражение лица меняется с каждой секундой. В ее лице — черты всех женщин, каких я знал. Формы тела мягкие, кожа атласная. Тело ненасытное. Афродита».

«Самая спокойная из женщин, с которыми я встречался. Никогда не спешит. Величава. Походка, речь, манера есть за столом — все неторопливо. Привычный жест: говоря о театре, медленно смыкает руки перед собою кольцом. Никогда не видел человека более естественного и свободного. Не терпит лжи. В ней смесь грубоватой откровенности и чувства юмора. Выдает с невинным видом такие вещи!.. Меня она ничуть не разочаровала. Думаю, она меня поняла полностью. Или… почти полностью. Во всяком случае, судила обо мне хорошо. Она гениальна. Несомненно. ГЕНИАЛЬНА. Подарила мне свою фотографию с посвящением: „Эдварду Гордону Крэгу с любовью“. С ЛЮБОВЬЮ…»

Не пройдет и часа, как они будут обниматься, упиваясь друг другом. Прерывистые слова будут вырываться из ее груди, охваченной желанием, а он будет нежно ласкать ее шелковистую кожу, душистую, как прекрасный плод. Он будет обладать ее покорным телом, познает ключ к нему, а она будет непохожа на всех женщин, которых он встречал раньше. Ее бедра и торс откроют ему секреты колдовства, он проникнет в тайну ее таланта, открыв секрет ее тела.

Все произошло, как он и предвидел. Для нее день тоже тянулся томительно долго. Не удивила ее ни строгая обстановка, ни пылкость Крэга, чье сердце билось в унисон с ее сердцем, ни огненная вспышка в момент наивысшего наслаждения, когда он шептал ей на ухо: «Ты моя сестра, я сплю с моей сестрой…»

А на следующий день она ему писала: «Я совершила кровосмешение. Ты плоть от плоти моей, кровь от крови моей. Мы как два источника огня, слившиеся в один. Мы горим общим пламенем. Наконец я нашла равного себе, свое второе „я“. Мы уже не два человека, а один, вернее, две половины одной души. Спасибо! Спасибо, что сделал меня такой счастливой!

Только я знаю, как ты прекрасен. Тело твое белое и сияющее, как у Эндимиона[18], гибкое, как у ангела с картины Блейка[19]. Ты никогда не поймешь, какое счастье ты принес мне, ибо счастье это во мне. То, что ты даешь мне, нельзя выразить словами.

Бывает такая абсолютная радость, когда хочется умереть от счастья».

Инстинктивно она понимала, что в ее жизни произошел крутой поворот.

Крэг — сын грозы. Экзальтация — его естественное состояние. Впечатление такое, что его воображение зажигается с

утра и не гаснет весь день. Внутри его постоянный жар. В одну секунду настроение меняется от энтузиазма к гневу, от бурной радости, когда он смеется без причины, как младенец, к бездонной депрессии. Его обожатель, граф Кесслер, богатый меценат, пригласивший его в Берлин, предупредил Айседору:

— Остерегайтесь. Крэг — невозможный человек. Никто и никогда не мог с ним сработаться.

— Но почему?

— Потому что страх перед людьми наполняет его таким высокомерием, что через какое-то время вам захочется его убить. Он будет постоянно твердить о своем творчестве, в конце концов пресытит вас своим дарованием. Дело в том, что сам он никак не может поверить в свой талант. Вы увидите, он особенно жесток в период депрессии, когда сомневается в себе. Демон саморазрушения, сидящий в нем, толкает его разрушать и окружающих. Не забывайте, что он доконал свою жену, Мэй Гибсон, а потом и любовницу, Джесс Дорин. Он чуть не довел ее до сумасшедшего дома. Вспомните, как подло он поступил с Еленой Мео, которая ждала от него ребенка. Это чудовище, Айседора, завораживающее, неотразимое чудовище, и от этого еще более опасное.

Что же делать? Принять к сведению предупреждение? Покончить с романом, пока еще есть время? Об этом не может быть и речи. Крэг из рода гигантов, верно, но и она не из слабых. Она сумеет сопротивляться и защититься. И потом (в этом она не решается признаться даже самой себе), где найдет она более изобретательного любовника? Он открыл ей ее саму. Ее тело стало не только произведением искусства, но и инструментом неведомого доселе трепета, дарующего опьянение и забвение. Тело-скрипка… Она погружается в тайные глубины собственного бытия и открывает возможность вкусить настоящей свободы, как в первое утро новой жизни — жадного желания жить.

После нескольких недель безумной любви Крэг начал обнаруживать перед любовницей собственные мучения. Все чаще стали разыгрываться сцены одна ужаснее другой. Словно одержимый, он твердил: «Творчество, мое творчество, мое творчество!»

— Твое творчество — это главное. Ты гениален, я знаю, и скоро весь мир признает это. Но умоляю, не надо забывать, что у меня — танец, школа…

— Твоя школа? Тоже мне школа! Ты ею не занимаешься. Всю работу взвалила на Элизабет. Что касается танца, право, не понимаю, зачем ты так упорно выходишь на сцену, чтобы дрыгать руками и ногами.

— Тэд, запрещаю тебе так говорить! Что я буду делать без танца? В нем вся моя жизнь.

— Твоя жизнь, Айседора, — это прежде всего мое творчество. Мое творчество!

— Нет. Твое творчество принадлежит тебе. И только тебе. Ты никогда не соглашался делить его с другими. Те, кто пытался работать с тобой, поняли, что это невозможно, и были вынуждены отказаться. К тому же пользы тебе от меня никакой. Я — не человек театра.

— Ну что ж, будешь сидеть дома и точить для меня карандаши!

Он вышел, хлопнув дверью. Наступила долгая пауза. Айседоре стало ясно: Крэг завидовал. Завидовал ее таланту, тому, что у нее есть семья, школа, собственные взгляды. Сперва она гнала прочь свои сомнения. Такой человек, как он, не может никому завидовать. Ведь в нем умещался целый мир театральных форм. Но чем больше она узнавала Крэга, тем больше убеждалась в том, что ему было невыносимо видеть рядом с собой другого художника, мужчину или женщину. И это угнетало ее больше, чем его внезапные вспышки гнева. Постепенно она становилась соперницей, а значит, угрожала его славе.

На протяжении последовавших недель она терпеливо пыталась примирить свое искусство и любовь. Но Крэг оставался самым непредсказуемым мужчиной на свете. Под хрупкой внешностью скрывалась стальная воля. Под надменностью — безбрежное море мечтательности и идеализма. Под непримиримостью — поэтическая чувствительность. Под болезненной ревностью — безумное обожание Айседоры, в чем он признается только в своем дневнике. Он мог быть вспыльчивым, капризным, грубым, мог поднять на нее руку, а в следующий момент броситься на колени и умолять о прощении, безудержно лаская ее.

— Я сам себе противен, — сказал он однажды, после того как осыпал ее бранью. — Я не имел никакого права… Когда я встретил тебя, Топси, я еще был никем. А ты уже была знаменита. Ты знаешь, по-моему, во мне сидит зерно безумия.

— Нет, любовь моя. Дело в том, что ты, как все фантазеры: сооружаешь воздушные замки из дымка от сигареты, но не замечаешь слезинки в моем глазу. Тебя может взволновать лишь нечто воображаемое. Людей, какие они есть, ты не видишь. Они существуют лишь в твоих мечтах. Правда, я видела, что тебя могут растрогать какое-нибудь дерево, птица, младенец. Но будь откровенен с собой: ты любишь не их, а свой взгляд. Взгляд Эдварда Гордона Крэга, гения нового искусства! Ты видишь не

вещи, а иллюзию вещей. Твое сердце похоже на тебя, бедный Тэд. Оно тоже близоруко. Ты страдаешь от этого, и я — тоже. Но поделать ничего не можем ни ты, ни я.

Скоро весь Берлин узнал о близости Айседоры и Крэга. Газеты с удовольствием комментировали малейшие события в жизни знаменитой пары, и аромат скандала сопровождал каждое их появление. Журналисты следили за ними день и ночь. Их прозвали «избалованными детьми» современного искусства. Они не придавали большого значения пристальному вниманию к себе. Айседору это скорее забавляло, а Крэга злило. Но шум вокруг них мог иметь отрицательные последствия для школы танца. Берлинские дамы-патронессы школы в Грюневальде дали понять Айседоре, что не могут продолжать помогать школе, основательница которой имеет такие смутные понятия о морали. Пока любовь с Крэгом продолжается, они не могут участвовать в попечительском совете. Уязвленная Айседора сняла зал филармонического общества и прочла лекцию на тему: «Танец — искусство освобождения». Выручка от продажи билетов должна была поступить в фонд школы. Все шло хорошо, но в конце лекции она не выдержала, ее взорвало лицемерие общества, пытающегося запретить ей жить с любимым мужчиной. От свободы в танце она перешла к свободе женщины вообще и произнесла обличительную речь против брака.

— Любая разумная женщина, прочитавшая текст брачного контракта и согласившаяся вступить в брак, заслуживает последствий подобного шага, — заявила она. — Никакое феминистское движение не будет иметь права называться независимым, пока его участники не поклянутся отменить брак. Это самое унизительное и абсурдное из всех общественных установлений.

В зале послышались возгласы протеста: «А дети? Что будете делать с детьми?» Тогда Айседора стукнула кулаком по столу, — при этом ее волосы рассыпались по плечам, — и еще более убежденно произнесла:

— Я могла бы привести вам длинный список людей, родившихся вне брака, что не помешало им добиться многого в жизни. Но даже если вам недостаточно этого аргумента, то как может женщина выйти замуж за мужчину, который поступит столь низко, что откажется от участия в воспитании собственных детей? Если необходим брачный контракт, значит, между людьми нет доверия. Ведь главное — искренность и любовь между любящими людьми… А любовь — нечто большее, чем наличие двух подписей в конце бумажки… Кто может помешать женщине воспитать своего ребенка одной и без мужа?.. Никто!.. Повторяю:

никто!.. Общество, придумавшее эти законы, — общество мужчин… Женщины не участвовали в их принятии… Вот в чем настоящая беда.

Да, беда!.. Ведь именно женщины, нет нужды вам это говорить… да, именно женщины… Слушайте, прошу вас…

Говорить дальше она уже не могла. Крики и свист не раз прерывали ее речь и в конце концов полностью заглушили. До последней минуты она пыталась противостоять толпе, но когда в нее стали бросать разные предметы, была вынуждена отступить. Лекция закончилась невообразимым скандалом.

А через несколько дней миссис Дункан сообщила ей о своем решении вернуться в Соединенные Штаты. Причина, по ее словам, — берлинский образ жизни, к которому она так и не смогла привыкнуть. На самом же деле мать была совершенно не согласна с дочерью; она считала ее поведение скандальным, а связь с Крэгом позорной. Кстати, ее отношение к нему было более чем нелюбезным: они оба всей душой ненавидели друг друга. Айседора не очень горевала по поводу ее отъезда. Характер матери сильно испортился с некоторых пор — фактически с того момента, когда ее дети нашли свое призвание и профессию и смогли обходиться без нее.

Примерно через месяц после памятной лекции в зале филармонии солнечным апрельским утром Айседора пришла в мастерскую Крэга, бросилась его обнимать и, целуя, сообщила:

— О, Тэд, какая радость! Какая чудесная новость!

— Что, что случилось? Говори скорее, мне срочно надо закончить эскизы для выставки.

— Тэд, любовь моя… я беременна!

— Ты уверена?

— Абсолютно. Врач подтвердил сегодня утром.

Если бы небо обрушилось ему на голову, он не был бы так удручен. Он выглядел совершенно убитым. Отвернувшись от Топси, возвел руки к небу в возвышенном и смехотворном жесте, а опустив их, после короткой паузы жалобно сказал голосом жертвы:

— Опять! Когда же это кончится? Еще один!

Она застыла в изумлении, не зная, что сказать. А он набросился на нее и принялся трясти, словно пытаясь разбудить:

— Топси, подумай… У меня уже пятеро детей! Пятеро, слышишь? В Лондоне, от трех матерей…

— Ну и что?

— Как «ну и что»? Ты думаешь, этого недостаточно, пятеро маленьких бедняжек?

— Но послушай, Тэд, это же совсем другое дело. Этот будет

моим… хочу сказать нашим… Ты понимаешь? Наш ребенок…

— Ну конечно, это будет чудо из чудес. Нет, честное слово, все женщины одинаковы! А мое творчество? Ты даже не подумала об этом, а? Как, по-твоему, я могу заниматься творческой работой с ребенком на руках?

— Не беспокойся… Я одна буду им заниматься. Это будет мой ребенок. Вот и все разрешилось. До скорого свидания, Тэд, оставляю тебя с твоим творчеством.

— До скорого, Топси.

— Да, чуть не забыла, я тебе хотела сказать еще кое-что…

— Что еще?

— Да нет… не стоит. Ты рассердишься.

— Да уж говори, все равно.

— Ты разозлишься.

— Куда уж больше!

— Так вот, Тэд… Я хотела тебе сказать, что… никогда в жизни моей не была я так счастлива, как сейчас. Слышишь? Никогда, никогда, никогда.

Чтобы оплатить расходы по содержанию школы, Айседора согласилась совершить турне в Швецию и Данию. Ее сопровождал Крэг. В Стокгольме они попросили устроить им встречу с Августом Стриндбергом. Знаменитый драматург был ярым антифеминистом, он согласился принять Крэга, но без спутницы. Прощаясь с хозяином дома, Крэг произнес уже в дверях:

— Мэтр, позвольте задать еще один вопрос. Почему вы не захотели принять Айседору Дункан?

Лицо Стриндберга исказила гримаса:

— Никогда не говорите мне об этой женщине. Она ужасна.

— Она вас так путает? — спросил Крэг с улыбкой.

— О нет! Но я не хочу рисковать, чтобы не испытать соблазна.

— Боитесь, что не устоите?

— Нет, повторяю вам. Но разве она не пыталась соблазнить вас?

— Нет, конечно! — воскликнул Крэг. — Ну а если она предложит вам посмотреть на ее танец где-нибудь в закрытой ложе, хотя бы пять минут?

— Это она вам подсказала идею, а? Вот видите! Видите! Так это же почти похищение!.. Сексуальное преступление!.. Пусть не рассчитывает! Никогда! Повторяю, никогда!..

В начале июня Айседора поехала отдыхать на все лето в голландскую деревушку Нордвик на берегу Северного моря. Сняла там красивую виллу, одиноко стоявшую в дюнах, протянувшихся на десятки километров. Ее племянница Темпл,

ученица грюневальдской школы, приехала провести три недели своих каникул с Айседорой. Она танцевала на берегу моря. Крэг приезжал ненадолго, более нервный, чем когда-либо. Ожидание…

Долгие пешие прогулки босиком по влажному песку между Нордвиком и Кадвиком. Тихие, ласковые волны нежно касаются ее ног. Чайки то взлетают, то пикируют к воде. Пляж пуст и бесконечен. И ветер развевает волосы Айседоры, треплет ее длинный белый шарф, как парус яхты. А дома ждет тишина и крепкий запах мокрого камня. Постепенно и незаметно, неделя за неделей, месяц за месяцем, ее тело, подобно растрескавшемуся мрамору, ломается и деформируется под властным давлением изнутри. Предстоит трудная, страшная работа. Тайна, приносящая радость и страдание. И страх. Непривычный страх того, чего она еще не познала.

Заканчивался август. Бремя с каждым днем все тяжелее. Груди набухли и стали мягкими. Вначале Айседора радовалась этой теплой, успокаивающей тяжести, растущей внутри нее. Ложилась на песок послушать внутреннее колыхание, легкое и чуточку беспокоящее, сливающееся с далеким шелестом моря. Но скоро почувствовала первые боли в пояснице. Словно тысячи невидимых демонов с глухой яростью набросились на нее, и в этой борьбе с жизнью она предчувствовала свое поражение.

Потянулись долгие ночи ожидания и тревоги. Спать она не могла, ее тело жестоко страдало. На какой бок лечь, на левый? Сердце колотится. На правый? Боли усиливаются. На спине? В позвоночник впивается сверло. Невидимый безжалостный палач непрерывно ломает ей кости и терзает нервы. Но когда она кладет руку на живот, ей кажется, что тело обретает покой и мужество противостоять боли, что неведомая энергия исходит от зародившегося существа. Словно искорка новой жизни вдруг озарила ее существование ослепительным светом, неведомым до сих пор. И перед ней предстает во весь рост, со всей очевидностью значение слова «плодородие».

— Девочка! — закричала она, увидев входящего Крэга.

— Ну, выбор-то был невелик…

— Как назовем? Хочу, чтобы ты дал ей имя. Пожалуйста.

— А почему бы не дать ей какое-нибудь ирландское имя? Например, Дирдрэ, дочь человека, играющего на арфе.

— Дирдрэ! Чудесное имя! Самое лучшее на свете. Спасибо, милый друг! Помнишь стихи Йитса?

— Какие?

— Там есть слова: «Дирдрэ! О, Дирдрэ… Пусть имя твое никогда не откликается на призывы смерти».

ГЛАВА XII

— Что говорит эта чертова баба?

— Она говорит, мой милый, что ты гений, а твои макеты великолепны.

Это неправда. Дузе только что сказала Айседоре, какую декорацию она хотела бы видеть для первого акта «Росмерсхольма»:

— Обязательно скажите синьору Крэгу, что Ибсен именно так указывает в пьесе. Нужен интерьер старомодного салона. На переднем плане справа — печка, облицованная фаянсовой плиткой с изображением березовых веток. На стенах — портреты пасторов, офицеров и чиновников в мундирах. В глубине — небольшое окно, выходящее в парк, где видны большие деревья.

— Не забудьте, синьор Крэг, — настаивает Дузе, — нужно небольшое окно, una piccola finestra…

— Скажи этой старой кляче, чтобы не лезла не в свое дело.

— Non capisco niente[20].

— Он говорит, что вы совершенно правы и что результат его работы вам понравится, — переводит Айседора.

Элеонора Дузе и Гордон Крэг — два гиганта — противостоят друг другу. Британский интеллектуал борется с самой прекрасной трагической маской Италии. Мадонна со страдающим лицом, Дузе — великая представительница мистического эстетизма. Она прекрасно воплощает на сцене героинь Зудермана, Ибсена, Метерлинка, она вдохновительница Габриеле д'Аннунцио. Их общая подруга Жюльетта Мендельсон, жена богатого банкира и отличный музыкант, представила ей Крэга со словами: «Самый смелый декоратор этого поколения. Авангардист искусства „модерн“».

Горячий темперамент жеребенка, резвящегося на свободе, прельстил «Божественную», и она пригласила его сделать декорации к спектаклю «Росмерсхольм», который собирается поставить во Флоренции в следующем сезоне. Она не знает ни слова по-английски, он — ни слова по-итальянски.

Айседора им переводит. Тяжелый труд! Она выходит из положения, свободно обращаясь с их фразами, а в случае надобности и переделывая их, чтобы избежать преждевременных стычек. Она знает, что в любом случае Тэд сделает все по-своему.

Крэг весь день работает на сцене, среди горшков с краской и кисточек. Итальянских рабочих он считает «тупицами, лишенными малейшей сообразительности», а потому делает все своими руками. С всклокоченной шевелюрой, в рубашке,

покрытой разноцветными пятнами, он бегает туда-сюда, носится повсюду, то скатывается с головоломной лестницы, то вскарабкивается к софитам, исчезает в оркестровой яме и тут же появляется верхом на стуле на авансцене, таскает какие-то рамы, красит куски мешковины, которую целый отряд работниц потом сшивает на сцене, склоняясь над швейными машинками. По всему театру гремит его голос, отдающий приказания. Вдруг он взрывается, топает ногами, ругает кого-то на дикой смеси английского и итальянского:

— Черт бы побрал этих идиотов, навязались на мою голову! Я просил прислать мне прожекторы для левой стороны сцены. ЛЕВОЙ, я сказал!

Именно этот момент выбрала малютка Дирдрэ, оставшаяся с нянькой в фойе, чтобы громко дать о себе знать. Машинист сцены в синей спецовке нерешительно вышел на сцену. При его появлении Крэг рычит:

— А этот чего вылез? Петь собрался?

— Mi scusi, signor Craig[21]. Я ищу госпожу Дункан, perche[22] ребенок проголодался.

— Боже мой, действительно, я и забыла, дорогой, пора кормить, сейчас вернусь.

И Айседора с извинениями исчезает за кулисами.

— Кормить! Только этого не хватало! А моя работа, мое творчество? Издеваешься? И ты тоже! Как и все остальные! Черт! Черт! Черт!

Однажды Дузе захотела посмотреть, как идут дела, и передала через Айседору эту просьбу. Но Крэг ни под каким видом не разрешил впускать ее в театр.

— Если эта баба сунется сюда, я опрокину ей на голову горшок с красками!

Айседора с трудом уговорила актрису подождать несколько дней.

— Скоро все работы закончатся, — успокаивала она.

— Но будет ли окно именно таким, каким я его себе представляю? С уходящей вдаль аллеей старых деревьев?

— Не беспокойтесь.

— А изразцовая печка? Он не забыл про печку?

Через неделю великая трагическая актриса смогла наконец из ложи увидеть декорации Гордона Крэга. Айседора сидела рядом с ней. Чтобы успокоить ее, на всякий случай…

Это был шок.

За обширными голубыми просторами Крэг изобразил некий египетский храм с потолком, уходящим в небеса, и стенами, исчезающими в перспективе. Вместо маленького окошка он

установил огромное окно, десять метров на двенадцать, за которым открывался пестрый пейзаж, состоящий из красных, желтых и зеленых цветов. Их можно было принять за берега Нила, но уж никак не за дворик мещанского дома. Вдалеке простиралась не скромная аллея, а бесконечность вселенной.

Какое-то время Дузе молчала. Когда повернула лицо к соседке, Айседора увидела на ее глазах слезы.

— Ну как, синьора, вы не жалеете о маленьком окошке и изразцовой печке?

— О, Айседора, какое великолепие! — отвечала Дузе, сжимая ей руку. — В этих декорациях заключены мысли, созерцание и печаль человечества.

Когда взволнованный Крэг вышел из-за кулис, она поднялась на сцену, обняла и обрушила на него нескончаемый поток комплиментов на итальянском, которые Айседора не успевала переводить. Затем, держа Крэга за руку, обратилась к собравшейся в зале труппе, к машинистам, осветителям, костюмерам, реквизиторам с восторженной речью:

— Друзья мои! Я переживаю самое большое счастье в жизни. Я встретила гениального человека, Гордона Крэга. Оставшиеся мне годы жизни я хочу посвятить прославлению его творчества. Только он сможет освободить нас, бедных актеров, от безжизненности, наполнившей театр наших дней. Гордон Крэг — это не только современный театр и искусство, это — современная концепция жизни.

Слова, произнесенные величайшей актрисой эпохи перед залом, означали для Крэга официальное признание его таланта. В вечер премьеры, при поднятии занавеса, актеры еще не успели раскрыть рта, как публика криками восхищения и долгими аплодисментами приветствовала декорации.

Сразу после премьеры Крэг уехал из Флоренции, но продолжал обмениваться телеграммами с Дузе. Через несколько месяцев, в феврале 1907 года, включив «Росмерсхольм» в репертуар своего турне в Ницце, она послала ему такую телеграмму: «Восстанавливаем „Росмер“ в Ницце. Декорации недостаточны. Срочно приезжайте». Крэг потребовал тысячу долларов и добился согласия. Через сорок восемь часов он приехал в театр при казино.

О ужас! Его декорации были разрезаны пополам. Он зарычал, как дикий зверь:

— Что вы наделали? Вы уничтожили мое произведение! Вы разрушили мое искусство! Вы!.. От вас я ждал всего, Элеонора, но не такого преступления! Вы не артистка, вы вандал…

— Я огорчена до глубины души, Гордон. Это произошло,

когда я еще не приехала сюда. Говорят, это сделали, потому что сцена мала…

— Сцена мала? Так надо было отказаться и не играть на ней. Вы понимаете, что вы натворили? Вы недостойны своего гениального таланта! Вы недостойны моего творения!

Он стоял, скрестив руки на груди и, сверкая стеклами очков, выливал на голову несчастной Дузе потоки резких слов, а она чувствовала себя оскорбленной, хотя не понимала и десятой части того, что он говорил. В его голосе звенел металл благородного возмущения. В первый момент Дузе оторопела, настолько неожиданным было нападение, но скоро она пришла в себя. Выпрямившись в величественной позе и указывая властным жестом на дверь, она ответила тоном Агриппины:

— Вон отсюда, синьор Крэг, убирайтесь! И пусть глаза мои никогда больше вас не видят!

Как можно жить с Крэгом? А как можно жить без него? Неразрешимая дилемма. Только отказавшись от самой себя, от танца, от своей работы и своих взглядов, Айседора, может быть, привяжет его к себе. Отречься от танца? Согласиться на роль помощницы, которая точит Тэду карандаши? Никогда! Это означало бы стать инвалидом, отрубив себе половину души. И даже если предположить, что она согласится на такую жертву, никакой гарантии его верности у нее не будет. Крэг болен неизлечимой болезнью непостоянства. Причем это отнюдь не легкомыслие распутника: он по природе своей непостоянен. Он обманывает ее не задумываясь, поскольку непостоянство желания, как и характера, — неотделимая часть его существа.

Жить без него? Порой она подумывает об этом, не очень веря в такой вариант, напоминающий решения, принятые в эйфории под воздействием лишнего бокала вина и настойчивости партнера, который нашел вас сегодня особенно желанной. Но назавтра, проснувшись, убеждаешься в том, что страдания от измены любимого человека никуда не исчезли, а, наоборот, только усилились. Если бы она смогла легко относиться к этому, сочтя, что артистка должна быть выше буржуазных предрассудков, ревность — устаревшее чувство, пришедшее из глубины веков, а ее переживания не изменят ничего, тем более характер Тэда. Но она не может. Ее удел — лишь боль, и она страдает в одиночестве.

В конце 1907 года ей вновь предлагают совершить турне по России. Разумеется, не может быть и речи о том, чтобы взять с собой Дирдрэ. Но ехать надо, иначе она совсем пропадет. Провидение, кстати, приготовило ей небольшой сюрприз: она поедет туда не одна, а вместе с Пимом.

— Пим? А это что такое? — спрашивает Крэг.

— О, пустяк! Милый юноша, блондинчик с большими голубыми глазами и птичьими мозгами. Кстати, он без ума от меня.

— Ничего удивительного, если у него такие мозги… А чем занимается?

— Коллекционирует табакерки XVIII века.

— Очаровательно! Желаю тебе счастья.

— Тебе тоже.

По прибытии в Санкт-Петербург Айседора видит, как из багажного вагона выгружают восемнадцать чемоданов с инициалами Пима.

— Это что, ваши табакерки?

— Нет, это мой гардероб. В одном чемодане галстуки, в другом нижнее белье, вот в этом обувь, а в этом костюмы. В одном чемодане — меховые жилеты. Ведь мы в России, не следует забывать.

Не имей она неопровержимых доказательств его мужества, Айседора приняла бы его за гомосексуалиста. Во всяком случае, пижонства ему было не занимать. Он поминутно сбегал по парадной лестнице гостиницы «Европейская», каждый раз в новом костюме, разумеется, сверхэлегантном. Обслуживающий персонал только разевал рты от удивления и восторга.

В компании Пима Айседора впервые поняла, что жизнь может быть легкой и бездумной. Она вновь счастлива, молода, весела, и каждый час ее жизни дышит радостью. Она научилась наслаждению без романтики, любви без сожалений, удовольствию ради удовольствия, простой жизни без раздумий о завтрашнем дне, похожей на детскую радость при виде мыльных пузырей. Никогда еще она не танцевала с таким ощущением легкости. Это стало для нее открытием и столь необходимым лечением…

Турне закончилось так же радостно, как и началось, и каждый вернулся к себе, в свой дом. Айседора проснулась на следующий день словно после праздника, когда огни уже потушены. Легкое головокружение, как у ребенка после карусели.

По возвращении в Берлин одна из первых забот — ученицы школы в Грюневальде, которыми во время долгих ее отлучек занималась Элизабет.

Все труднее находить средства на содержание школы, и Айседора решила привлечь учениц к участию в спектакле. Она не в восторге от этой идеи, но другого выхода нет. Конечно, в идеале надо было бы найти правительство, признающее необходимость такого обучения и готовое взять на себя большую часть расходов.

В Германии она танцует с группой учениц под музыку

Бетховена. После каждого выступления Айседора обращается к публике с просьбой помочь продолжать ее эксперимент. Но встречает почти полное непонимание. Начинает подумывать о России, которая всегда благосклонно ее принимала. Не проходит и нескольких месяцев после возвращения, а она уже вновь собирается в Петербург вместе с Элизабет и двумя десятками учениц. Ее мечта — перенести туда школу из Грюневальда. Увы, вскоре она поймет, что бороться с императорской балетной школой невозможно, и ее попытки вновь провалились.

Айседора подумывает о возвращении в Англию и летом 1908 года везет в Лондон маленькую труппу. И вновь разочарование. Несмотря на поддержку придворных и благосклонность короля Эдуарда VII, существенной помощи она не получает. Зато личный ее триумф несомненен. Королева Александра, леди Грей, герцогиня Манчестерская и все дамы высшего общества очень хотят видеть, как она танцует со своими маленькими ученицами. По-прежнему прекрасная Эллен Терри часто приходит в «Дьюк-оф-Йоркстиэтр». Она обожает детей и много занимается ими. Айседора встречается со своими старыми друзьями Галле и Эйнсли, которых не видела без малого десять лет. Они предаются воспоминаниям, говорят о сегодняшнем дне, строят планы на будущее. Но ей пора возвращаться, поскольку доходы от турне недостаточны, чтобы покрыть расходы на школу, и банковский счет опять пуст.

Сразу по возвращении Айседоре позвонил по телефону Шурман.

— Дора, могу сделать блестящее предложение. Импресарио Чарлз Фроман готов подписать с вами контракт на полгода для турне по Соединенным Штатам. Что думаете об этом?

— Полгода? Слишком много. Не хочу расставаться с дочерью.

— Все же подумайте, по-моему, стоит согласиться. Контракт вам обеспечит доход минимум в двести пятьдесят тысяч долларов.

— Сколько?

— Двести пятьдесят тысяч долларов. Этого хватит, чтобы создать школы танца во всех столицах мира.

— О'кей, Джо. Можете договариваться. Я собираю чемоданы.

В Нью-Йорк она приехала в августе, в страшную жару (Фроман настоял на том, чтобы первые представления начались летом, хотя Шурман сильно сомневался в правильности такого выбора). Ужасающая духота. Ночью нечем дышать. Все богатые ньюйоркцы спасаются от жары на океанских пляжах. Результат: полупустые залы и никаких отзывов в прессе. Сборы не превышают тысячи долларов в день. Все они уходят на оплату

рекламы, музыкантов и аренду зала. Ни цента дохода. В Филадельфии, в Бостоне такая же удушающая жара: пятьдесят градусов в тени. И везде театры пустуют. Фроман в отчаянии и решает уменьшить расходы. Со стен исчезают афиши, вместо запланированных тридцати двух музыкантов остаются пятнадцать.

Айседора вне себя врывается в кабинет Фромана:

— Что это значит? Я требую объяснений.

— Это провал, Дора, я ошибся, — гнусавит импресарио между двумя затяжками сигарой, положив ноги на стол. — Америка ничего не понимает в вашем искусстве и никогда не поймет. Я разорился из-за вас. Если хотите знать мое мнение, вам лучше расторгнуть контракт и вернуться в Европу.

— Ни за что! Вы ангажировали меня на шесть месяцев, и я пройду этот путь до конца. А с вашим контрактом я сделаю вот что.

И, вынув из сумочки бумагу, она рвет ее и швыряет в лицо изумленному дельцу.

— Теперь, что бы ни случилось, — говорит она, — вы свободны от всякой ответственности.

В Буффало — полный провал. Музыканты играют невпопад. Из семи «виртуозов» двое оказались безработными учениками из парикмахерской, а один — учеником мясника. В дальнейшем она ограничится роялем.

Зато, в возмещение всех неудач, в Нью-Йорке Айседора знакомится со скульптором Джорджем Греем Барнардом. Он присутствует на всех концертах танцовщицы и приводит с собой друзей: режиссера Дэвида Беласко, художников Роберта Генри и Джорджа Беллоуза, писателей Перси Маккея, Макса Истмена, короче, весь авангард из Гринич-Виллидж. Барнард просит Айседору позировать ему для аллегорической скульптуры, которую он назовет «Танцующая Америка». Почему бы и нет? Мужчина довольно привлекательный, несмотря на угрюмую внешность. Сеансы происходят в его мастерской, заставленной гипсовыми эскизами статуи Авраама Линкольна, заказанной ему правительством. Каждое утро она приезжает к нему в Вашингтон-Хайтс с корзинкой для завтрака. Часами они беседуют на разные темы, сокрушаются о посредственности художественных вкусов в Америке и обнаруживают, что на многое в области искусства смотрят одинаково. Айседора ничего не имела бы против еще большего сближения, но что-то ее удерживает. Может быть, строгий взгляд Линкольна? Он холоден, как мрамор, из которого сделана его статуя.

В конце концов «Танцующая Америка» сохранится лишь в

виде наброска, а колоссальный Авраам Линкольн с его широким лбом и впалыми щеками украсит городской парк.

По совету Барнарда Айседора продлевает свое пребывание в Нью-Йорке и снимает мастерскую в Файн-Артс-Билдинг. Натянув свои любимые голубые занавеси, она устанавливает рояль и танцует для узкого круга писателей, артистов и художников. На следующий же день ее имя затмевает всех звезд Бродвея. Охваченная внезапной страстью к босоногой танцовщице, Америка празднует возвращение дочери-беглянки. Газеты печатают миллионными тиражами ее снимки, фотографы оспаривают право запечатлеть ее на пленке. Их огромные деревянные камеры постоянно заполняют ее ателье. Репортеры гоняются за подробностями ее личной жизни. Театральные критики превозносят эту курносую Дафну с красивыми серо-голубыми глазами и темными волосами, собранными на затылке. И, наконец, высшее признание: Уолтер Дэнрош[23], дирижер знаменитого Нью-Йоркского симфонического оркестра, подписал с ней контракт на проведение эксклюзивного концерта в «Метрополитен-опере», в программе — Седьмая симфония Бетховена. Как только эта новость стала достоянием гласности, кассы театра были взяты штурмом. Самому Фроману не досталось ложи. Сбор достиг рекордной суммы в семь тысяч четыреста долларов. По окончании спектакля восторженная публика устроила Айседоре овацию.

За первым выступлением последовали еще шесть, и, поскольку успех с каждым концертом нарастал, решили организовать турне. В Бостоне, Чикаго, Филадельфии, во всех городах, которые три месяца назад и не слышали об Айседоре Дункан, публика заполняла залы до отказа.

— Какой реванш! — ликует Шурман.

— Спасибо Дэнрошу. Когда танцую, мне кажется, что я связана всеми фибрами своего тела с оркестром и дирижером. Признаюсь, я вовсе не танцовщица, я — магнитный полюс, к нему тянутся и в нем концентрируются малейшие чувства, заложенные в музыку. Словно огненные лучи брызжут из моей души и связывают меня с оркестром. Я как Афина, вышедшая в полном вооружении из головы Зевса.

— Да, конечно, конечно… А пока, Афина вы или нет, докладываю, что сборы колеблются от десяти до пятнадцати тысяч долларов за вечер.

Единственная неприятность долгого триумфального турне — протест пасторов против неприличия ее туники. Но, к счастью, президент Теодор Рузвельт лично присутствует на утреннем спектакле и первым начинает аплодировать. Осаждавшим его

журналистам он говорит:

— Просто не понимаю, в чем священники могут ее упрекнуть. Она кажется мне невинным ребенком, танцующим в саду в утреннем сиянии солнца и собирающим прекрасные цветы своей фантазии.

Его слова, немедленно ставшие достоянием гласности, заткнули рот всем американским пуританам.

Но больше всего тронула ее статья в «Санди сан» от 15 ноября 1908 года, потому что в ней точнее, чем где бы то ни было, было выражено ее поэтическое видение танца.

«Когда Айседора танцует, — вдохновенно писал репортер, — мысли уходят в далекое прошлое. Мы словно видим зарю человечества, когда величие души находило свободное выражение в красоте тела, когда ритм движения соответствовал ритму звука, когда движения человеческого тела сливались со скоростью ветра и морских волн, когда жест женской руки был подобен лепестку распускающейся розы, а прикосновение ноги к траве было таким же легким и нежным, как падение листа на землю».

ГЛАВА XIII

— Что она делает? С ума сошла! Придется возвращать публике деньги за билеты.

Люнье-По[24] кладет в кармашек часы и продолжает нервно прохаживаться за кулисами театра «Гэте-Лирик», отирая пот со лба. Публика на галерке топает ногами и кричит: «Начинай! Начинай!» В оркестровой яме дирижер Колонн не знает, что ему делать. Они уже дважды исполнили увертюру к «Орфею в аду», чтобы утихомирить публику. В партере собрался весь Париж театральных премьер, дамы начинают переговариваться, обмениваться новостями. Шум нарастает. В ложе Сесиль Сорель[25] шепчет на ухо явно обеспокоенному Анри Батаю:

— Я понимаю, что она вернулась из ада… Но все же!..

— Не пойму… Должно быть, случилось что-то серьезное.

— Получасовое опоздание в первый вечер после возвращения в Париж! Признайтесь, что это чересчур. Американцы абсолютно невоспитанный народ. Люнье, должно быть, взбешен. Что за мысль пришла ему в голову организовать ее турне! Занимался бы лучше своим театром «Эвр», чем изображать импресарио!

— Вы несправедливы, дорогая. Не забывайте, что он открыл парижанам Дузе, Ибсена, Сюзанну Депрэ…

— Все равно! Заставить Париж ждать ее!..

Люнье-По поправляет галстук и, на грани сердечного приступа, готовится выйти с объявлением. Но в этот момент в конце коридора появляется Айседора, запыхавшаяся, но счастливая. На лице сияет улыбка.

— Что случилось, Айседора? — рычит Люнье-По. — Сорок пять минут опоздания! На премьере! Вы с ума сошли?

— Простите, ради бога! Я так счастлива!.. Представьте себе: когда я собралась ехать сюда, Дирдрэ стала сильно кашлять и задыхаться. Я подумала, круп. Схватила такси и поехала на поиски врача. Объехала весь Париж, пока не нашла педиатра, согласившегося поехать со мной. Он осмотрел девочку: это простуда, и не больше. Все хорошо. Можно начинать.

В тот вечер, 22 мая 1909 года, Айседора имела самый большой успех за всю свою жизнь. Парижские газеты рассыпались в восторженных отзывах. Поль-Бонкур посвятил ей три колонки в «Фигаро». Гордон Беннет, корреспондент «Нью-Йорк Геральд», выходящей на двух языках, уверяет, что «она привезла старому миру на закате его дней новую надежду на молодость и веру». «Иллюстрасьон» посвятила четыре страницы зарисовкам ее спектакля с хвалебным текстом. В зале была Колетт-Вилли, тогда

еще не подписывавшаяся просто Колетт[26]. Вернувшись из театра, она садится за стол, все еще под впечатлением очарования, и описывает увиденное в своей яркой и сочной манере:

«Посадка головы и шея напоминают мадам Пужи, но более молодую и сильную. В ее личности, надо прямо сказать, много наивного, выражающего англо-саксонскую манеру восприятия античной грации… Как только она начинает танцевать, она вся отдается танцу, от распущенной копны волос и до твердых голых пяток. Как весело, очаровательно движутся ее плечи! Как красиво и точно очерчено колено, внезапно появляющееся из-под ткани, как оно агрессивно и упрямо, словно бараний лоб! В ее вакханалии, и безудержной, и классической, одна рука призывает, а другая указывает, танец рук завершает и украшает радостный беспорядок всего ее тела, розового и мускулистого, проглядывающего сквозь газовую ткань, вихрем ее окружающую…

Она танцует, она рождена для танца. Могла бы танцевать, скрывая лицо под маской, ибо тело ее говорит больше, чем лицо, пусть даже и приятное. Ведь она танцовщица, а не мим. Когда, задрапированная темными тканями, она изображает боль, спасается от грозных теней, рыдает и умоляет Бога, скрывающегося где-то наверху, за тяжелыми складками портала, мы терпеливо и вежливо ждем, что через минуту она явится нам сияющей, с веночком из веток, почти обнаженной, с двумя-тремя метрами кисейной ткани, накинутыми на ее розовое тело…

В танце она неутомима. Ей неистово аплодируют и требуют повторить, она соглашается кивком головы и повторяет сначала. И могла бы танцевать без устали до конца своих дней, босая, абсолютно бесшумно. Здесь я могу не опасаться ужасного, хотя и приглушенного „бум!“, который портит мне в Опере впечатление от прыжков балерин… Она взлетает бесшумно, словно зверек на мягких лапках, а совершив оборот в воздухе, подобно вакханке, опускается беззвучно, как скошенный цветок…

Глядя на женщин, что аплодируют Айседоре Дункан, я думаю о женской странности. Приподнявшись, чтобы громче крикнуть от восторга, они склоняются вперед, затянутые, перетянутые, неузнаваемые в своих шляпах, чтобы лучше разглядеть обнаженную фигуру в тунике, что стоит перед ними на крепких и легких ногах, с распущенными волосами…

Но не будем ошибаться! Они аплодируют, но не завидуют ей. Приветствуют ее издалека, любуются ею, но как существом, вырвавшимся из плена, а не как освободительницей».

Перспектива выпускать на сцену учениц не радует Айседору. Она слишком хорошо помнит смрадную атмосферу кулис, от которой так страдала в своей молодости. «Это не место для

девочек», — то и дело повторяет она. Создавая свою школу, она просто хотела открыть детям новую радость в жизни, дать возможность их телу гармонично развиться, но никак не приучать их к актерскому ремеслу. Но у нее нет другого способа поддержать «айседорят», как привлечь их к участию в своих выступлениях. И хотя она свела число учеников до двадцати, финансовые трудности быстро становятся непреодолимыми. По приезде в Париж она сняла две квартиры на улице Дантона: одну для себя, другую — для труппы. За шесть месяцев накопились долги за жилье, счета от бакалейщика и булочника, гонорары врачам. Чтобы рассчитаться, ей нужно пятьдесят тысяч франков. И хотя она входит в десятку артистов, получающих самые высокие гонорары в мире, такой суммы у нее нет. Тем более что живет она на широкую ногу, а Тэд за последние годы немало попользовался ее сбережениями. Злые языки даже поговаривают, что он ее разорил вконец.

— Хорошо бы найти миллионера! — говорит она однажды своей сестре Элизабет.

Не прошло и недели, как горничная приносит ей визитную карточку:

— Мадам, пришел господин и просит передать это вам. Он ждет в прихожей.

Мельком взглянув на карточку, Айседора говорит:

— Жанна, скорее дайте мне платье… нет, не тунику… лиловое платье… Скорее, щетку… да скорей же… Вот так, хорошо. Скажите господину, что я жду его.

Фамилия господина — одна из самых известных в мире. От Гонконга до Пенсильвании, от Корфу до Черновиц, от Баия-Бланка до Тобольска и до Сахары висят рекламы с огромной буквой «S» и улыбающейся женщиной с пышными волосами за швейной машинкой. Посетитель — не кто иной, как Парис Зингер, король швейных машинок, призванных, как гласит реклама, «преобразить жизнь женщины». В его империю входят тысячи заводов, самый высокий небоскреб в Нью-Йорке и банковские счета, надежные, как само золото.

Выгладит он скромно. Ему лет сорок с небольшим, высокий рост, светлые волосы, небольшие залысины, бородка клинышком а-ля Николай II, которого он, кстати, напоминает. Аромат лаванды, скромная элегантность от лучших модельеров. Стоит, слегка смущенный.

«Похож на слишком быстро выросшего подростка», — подумала Айседора, пытаясь вспомнить, где она его встречала. И вдруг вспомнила. Похороны принца Полиньяка 9 августа 1901 года. Он стоял рядом с сестрой — Виннаретой Зингер, вдовой

принца Эдмона. Айседора запомнила высокого молодого человека, очень стройного и элегантного, со скучающим взором. Она пробормотала ему слова сочувствия. Он поклонился. Она отметила, что он красив.

Прошло восемь лет, и вот он перед ней, в ее салоне. Она не решилась начинать разговор с воспоминания о похоронах. Первым заговорил он:

— Извините за вторжение, мадам. Вы меня не знаете, но я вас уже видел.

Она ограничилась лишь ободряющей улыбкой.

— …Да, — продолжал он, — я часто аплодировал вам в театре. Я в восторге от вашего искусства и мужества, с каким вы боретесь за вашу школу. Именно поэтому я к вам и пришел. Скажу прямо: я пришел предложить вам помощь. Что я могу сделать для вас?

— Но, сударь… я очень удивлена… я хочу сказать… просто очарована вашим предложением… и смущена…

— Послушайте. У меня есть вилла на Лазурном берегу. Сделайте мне удовольствие, поселитесь там с вашими ученицами. Вы сможете спокойно работать, сочинять новые танцы, не заботясь о материальной стороне дела. Я беру это на себя. Прошу вас, не отказывайте мне. Вы уже так много сделали на ваши собственные средства!.. Теперь положитесь на меня. Скажите «да» прямо сейчас, без сомнений и колебаний.

— Ваше предложение так необычно!.. Так неожиданно!..

— Значит, я могу рассчитывать на вас? Согласны?

— Согласна.

— Жду вас. Приезжайте как можно скорее.

Едва он ушел, Айседора кинулась в комнату сестры и, обнимая ее, воскликнула:

— Элизабет! Свершилось! Мы спасены! Я так и знала, что он придет!

— Кто придет?

— Кто? Да Лоэнгрин, конечно! Лоэнгрин! Он только что вышел из своей ладьи, которую привел лебедь, чтобы спасти бедную Эльзу!

— Ты что, спятила?

— Сама ты спятила, сейчас объясню.

Через неделю вся компания в полном составе катила к морю в вагоне первого класса. В Ницце на вокзале их встречал Зингер в безукоризненном белом костюме с красной гвоздикой в петлице. Шофер в шикарной ливрее открыл им дверцы великолепной «испано-суизы» с надраенными медными украшениями. Айседора с сестрой, Дирдрэ и ее няней сели туда же, а все остальные, как

стайка воробьев, расположились в трех других автомобилях. И весь кортеж понесся по берегу моря. Не прошло и часа, как они остановились у ограды виллы, окрашенной в охряный цвет, с зелеными ставнями, мирно скрывающейся в тени пальм. «Приехали!» — объявил Зингер. Выйдя, сам открыл дверцу, взял руку Айседоры и первым делом провел ее на террасу, заросшую жимолостью. Показав на белоснежную яхту, стоявшую на якоре в нескольких метрах от берега, он представил ее, счастливый как мальчишка, показывающий новую игрушку:

— Ее зовут «Леди Эвелин». Это имя-фетиш. Если хотите, мы вместе покатаемся на ней.

Пока школа Дункан устраивалась в Больe, Зингер вернулся в Ниццу, в свои апартаменты в роскошном отеле. Почти каждый день он навещал свою подопечную: приглашал отужинать вдвоем в огромном ресторане отеля с позолоченной лепниной и зеркалами, как в бальном зале, с серебряными приборами, хрусталем и цветами на столах, расставленных между огромными пальмами. Спартанская туника Айседоры привлекала внимание дам в элегантных туалетах. Но их смешки смущали ее меньше, чем торжественное священнодействие метрдотеля во фраке.

После ужина они прогуливались вдоль набережной, на Променад-дез-Англэ, любовались морем. Звездное небо, луна, отражающаяся в воде, теплый воздух, напоенный ароматами юга…

— Прямо театральная декорация. Словно мы в театре «Шатле», — иронизирует Айседора.

Но Зингер не улыбается. Как все люди его класса, в этом райском окружении он видит лишь успокаивающе привычную обстановку. Он никогда не вникал в суть вещей, а лишь прикасался к их гладкой внешней поверхности. Любил ли он? Он говорил слова любви. А что было за этим? Он и сам точно не знал. Он достаточно разбирается в женщинах, чтобы понять, что она его не оттолкнет. И все же сомневается: Айседора не похожа на других. Смутно предчувствует, что с ней обычный сценарий может превратиться в бестактность. Впервые боится, что слова его прозвучат фальшиво, а жесты покажутся неестественными. Словно Айседора одним своим присутствием нарушала его игру во внешнее правдоподобие и завела в ловушку искренних чувств. Он не сможет произнести слово «любовь», готовое сорваться с его губ. К чему слова ради слов? Перед этой женщиной, олицетворяющей правду, он чувствует необходимость снять маску. Ни одна другая женщина не оказывала на него такого воздействия.

И вот, забывая и луну, и звезды, и прогуливающихся рядом с

ними, под звуки вальса, доносящиеся из казино, он начинает говорить о себе, о своем прошлом, о приключениях и опасениях. Опершись руками о парапет, глядя вдаль, он говорит слова, удивляющие его самого. Он слышит свой голос на фоне тихого плеска волн и приглушенных скрипок оркестра. Но сам ли он говорит все это? На горизонте небо слилось с морем. Он оборачивается к Айседоре, чей профиль вырисовывается на фоне ночного неба в рассеянном свете газового рожка. С моря дует легкий ветерок и шевелит его волосы. Она тоже смотрит прямо перед собой. Улыбка играет на ее губах.

— Не знаю, что со мной, Айседора, — говорит он, понизив голос. — Никогда и никому я этого не говорил.

После долгой паузы, будто не расслышав последних слов, она говорит, повернувшись к нему:

— Как странно… Порой вы мне кажетесь отцом, которого я не знала, уверенным, властным и добрым… А иногда вы похожи на балованного мальчика, так и не научившегося жизни, несносного и трогательного одновременно. Что меня особенно удивляет, это ваш страх перед смертью, хотя жизнь вам ужасно наскучила. Но надо же выбрать, — говорит она со смехом, — «To be or not to be…»[27].

— Не шутите, Айседора. Страх смерти меня преследует повсюду. Дня не проходит, чтобы я не вспомнил лежащую в гробу матушку… ее закрытые глаза… ее лицо. Поверьте, это невыносимое зрелище…

Расставаясь, Лоэнгрин пригласил ее на бал-маскарад, который он дает на следующей неделе в казино в Ницце.

— Все будут в костюмах Пьеро. Придете?

— Я не очень люблю этот персонаж… Но если вам так хочется…

В назначенный день, к десяти часам вечера она, среди двухсот других Пьеро, оказалась в просторном, ярко освещенном холле казино со стенами из розового мрамора и позолоченными деревянными панелями. Музыка не умолкает. Отдельные группки гостей выходят на террасу подышать морским воздухом. Их молочно-белые одежды развеваются среди веток мимозы и цветущего миндаля. Внезапно к Айседоре подходит женщина в костюме, висящем, как саван, на острых плечах, с ярко накрашенными губами и нарисованными бровями на белом лице. Айседора невольно вздрагивает. Эта маска вдруг вызвала из глубин памяти образ Джейн Мэй, актрисы мимического театра.

— Кажется, вы подруга Париса Зингера? Я узнала вас, несмотря на маскарад. Прошлой зимой я видела, как вы танцевали в «Гэте-Лирик» — походка Айседоры Дункан

незабываема. Меня зовут Оливия де Верёз.

Оливия… Значит, она. Лоэнгрин говорил о ней прошлым вечером. Он повстречался с ней в игорном доме месяц назад, и она стала его любовницей. «Настоящий вампир», — добавил он.

— Вы танцуете?

— Конечно, это моя профессия.

— Я хочу сказать: хотите потанцевать со мной? Я обожаю вальсы…

— А я не очень.

— Ну один разок, пожалуйста. Я буду за кавалера.

Чувствуя, что отказ вызовет скандал, Айседора идет танцевать. Резкие жесты и массивное тело этой женщины приобретают в танце какую-то кошачью гибкость. Она чувствует, что ее сжимают все сильнее, словно хотят задушить. Что это: объятия, вызванные желанием или ненавистью? Айседора не понимает. В вихре вальса ей кажется, что вот-вот у нее подвернется нога, она поскользнется, потеряет сознание, не зная, в чьих когтях она оказалась: безумной любовницы или голодного хищника.

— Айседора!

Крик действует отрезвляюще. С другого конца галереи Зингер кинулся к этой необычной паре и резким движением разъединил их.

— Айседора, идите со мной. Только что позвонила ваша сестра из Болье. Одна ученица тяжело заболела. Скорее берите плащ, я вас отвезу.

Молнией домчались до виллы. Айседора кидается к кровати больной. Это Эрика, самая младшая. Она задыхается, лицо почернело. Врач уже вызван. Диагноз — дифтерит, уже сделали три укола. Айседора и Зингер, не снимая костюмов Пьеро, всю ночь просидели у изголовья больной. Через несколько часов, когда первые лучи утренней зари осветили небо, врач говорит, что ребенок спасен. Айседора, рыдая от радости, кидается в объятия Зингера. Тот прижимает ее к себе и шепчет:

— Айседора, я люблю вас. Пусть свидетелем будет эта ночь, что мы провели вместе, и наш страх за малютку Эрику.

— Я тоже, кажется, начинаю вас любить, Лоэнгрин.

Тут он ослабляет объятия, их губы соприкасаются, сперва нерешительно, словно оттягивая момент наслаждения, его дыхание как будто привыкает к ее дыханию. Влажные губы скользят по лицам, нежно касаясь век, носа, мочек уха, вниз, вдоль шеи и сливаются в долгом, яростном поцелуе — в нем безумное нетерпение их плоти.

На этот раз, когда мужчина только просит позволения любить

ее, Айседора отдается ему всем телом и душой, забывая в его объятиях самую мысль об удовольствии. Никогда до него она не теряла контроля над собой, даже в самый острый момент наслаждения. Никогда ясность ума не уступала жару плотской страсти. Впервые познает она опьянение, безумство чувств, радость полета в пропасть. Освободившись от необходимости играть роль лесной нимфы, она испытывает новую, бесконтрольную легкость тела, возможность не думать о последствиях.

К счастью, Зингер — не творческий человек. Он не ищет в ней ни возбуждающего начала, ни защиты, ни утешительницы. Не видит в ней ни идеала, ни сестры, ни вдохновительницы. Она для него — женщина. Просто женщина, которую можно любить и охранять.

Через месяц они поднимаются на борт «Леди Эвелин» и отправляются на неделю в плавание вдоль средиземноморского побережья. На этой яхте Айседора проходит курс обучения жизни в том мире, о существовании которого она знала, но который только теперь открылся ей во всей своей вызывающей сути: райская жизнь богачей. Но Айседора неисправима! Пока гигантский белый лебедь скользит по волнам, она думает о кочегарах в машинном отделении, о полусотне матросов, работающих под палящим солнцем. И все это — для удовольствия двух пассажиров. Такое несоответствие вызывает в ней множество противоречивых чувств, незабытое нищенское детство сталкивается с роскошью сегодняшней жизни, порождая смесь ностальгии, бунта и чувства вины.

С другой стороны, она не может не наслаждаться роскошью, ее окружающей: ведь эта роскошь представляется ей признаком высокоразвитой цивилизации. Тонкая кухня, прекрасные вина, высокая мода и даже обслуживание, когда работа лакея доведена до уровня искусства, — все это благодаря деньгам превращается из банальной повседневности в нечто исключительное. Кто может отрицать, что Поль Пуаре[28], создающий платья для женщин, менее гениален, чем Ренуар? Уж во всяком случае, не Айседора, ставшая недавно одной из его клиенток, хотя каждый квадратный сантиметр ее вышитых платьев стоит целое состояние.

Вторая половина дня на палубе плавучего дворца тянется долго. Лоэнгрин, в адмиральской фуражке с тройным золотым галуном, раскладывает пасьянс. Дирдрэ забавляется, кидая хлебные крошки чайкам, парящим над ней. Стюард-цейлонец в белом кителе принес на подносе прохладительные напитки. Дирдрэ подбегает и берет апельсиновый сок. Лоэнгрин небрежно покачивает стакан виски со льдом, не отрываясь от карт,

разложенных в ряды по восемь, часть из них перевернуты, часть — лицевой стороной кверху. Прикрыв плечи индийской шалью, Айседора сидит в шезлонге, устремив вдаль отсутствующий взгляд. Солнце не спеша уходит в море, за ним тянутся красноватые лучи. На коленях Айседоры ее любимая книга: стихи Уолта Уитмена «Листья травы», открытая на странице с посвящениями:

> Одного я пою, всякую отдельную личность,
> И все же Демократическое слово твержу, слово «En Masse»[29]
> Физиологию с головы и до пят я пою,
> Не только лицо человеческое и не только рассудок достойны
> Музы, но и все Тело еще более достойно ее,
> Женское наравне с Мужским я пою.
> Жизнь, безмерную в страсти, в биении, в силе,
> Радостную, созданную чудесным законом для самых свободных деяний, Человека Новых Времен я пою[30].

Внезапно яхта кренится на борт, и слышится грохот якорных цепей. Дирдрэ вздрагивает и прижимается к матери.

— Не бойся, малышка, — говорит Айседора, гладя золотистые кудри дочери. — Это бросают якорь на ночную стоянку. Ну, как ваш пасьянс, Лоэнгрин?

— Не получился, дорогая, — отвечает Зингер, бросив в сердцах на стол колоду карт. — Мое желание не исполнится.

— Вы серьезно верите в карты?

— Я верю во все знаки судьбы, а карты, говорят, способны улавливать эти знаки. Вы ведь верите в предзнаменования небесных тел?

— Да, верю.

Он встает, подходит к борту, потом садится в плетеное кресло напротив Айседоры и начинает старательно набивать трубку своими ловкими пальцами.

— Мы, наверное, в десятке миль от Помпей. Там мы проведем день и завтрашнюю ночь. Знаете, что я хотел бы, Айседора? Увидеть, как вы танцуете при лунном свете в храме Пестума. Это было бы чудесно! Хотите? Как только приедем, я найму неаполитанский оркестр. Поедим барашка на вертеле, попьем итальянской марсалы… А что вы читаете?

— Уолта Уитмена, «Листья травы».

— Как вы можете забивать себе голову подобной ерундой?

— А вы его читали?

— Никогда. У меня на это нет времени.

— Вы не правы. Уолт Уитмен — один из крупнейших американских поэтов наряду с Эдгаром По.

— Он опасный большевик! К тому же педераст!

— Это неправда. Он хотел дать Америке идеал, философию, хотел освободить ее от капкана эгоизма и конформизма. Он не был большевиком, как вы говорите, а был демократом. Все его творчество — гимн братству людей. Это ему принадлежат слова: «Как можно ставить что-либо выше людей?»

— Да, он очень любил мужчин[31], — пошутил Зингер. Видя, что Айседора настроена серьезно, он продолжал:

— Какие-то странные книги вы выбираете, Дора. Кто берет с собой в круиз «Республику» Платона и «Капитал» Карла Маркса? Я в конце концов могу подумать, что вы — настоящая революционерка.

— Милый, а я и в самом деле революционерка, — ответила она самым сладким тоном. И поскольку он нахмурился, она поняла, что напрасно произнесла эти слова. «В конце концов, — подумала она, — он не виноват, что родился богатым. По природе он великодушен и щедр, а его презрение — результат воспитания». Потом она сумеет открыть ему глаза, он поможет ей создать великую школу для детей народа, она уверена в этом. И, подойдя к нему, она обняла его за крепкую шею и, коснувшись губами тонких усиков, сказала шепотом:

— Прости, дорогой. Я не хотела тебя огорчать.

Вернувшись в Болье, она застала сестру в большом волнении.

— Ну, наконец-то вернулась! Как только ты уехала, Шурман каждый день звонил. Не знал, как с тобой связаться.

— Ничего удивительного. Я была в морском круизе. А что случилось?

— Он хотел напомнить о турне в Россию. Послезавтра выезжаешь поездом из Парижа. Билет тебе заказан.

— Ну вот и отлично, нет причин волноваться. Я вернулась вовремя. Позвони ему и успокой. Пусть встречает меня на Лионском вокзале.

Когда Элизабет вышла, Зингер подошел к Айседоре:

— Вы ничего мне не сказали об этой поездке в Россию.

— Верно, дорогой, я не хотела, чтобы хоть малейшее облачко омрачало нашу сказочную поездку. Я хотела быть только вашей, любить вас и больше ни о чем не думать.

— Но, Дора, вы же не можете вот так просто взять и уехать? Это несерьезно!

— Очень даже серьезно, дорогой мой. Но я скоро вернусь. Примерно через месяц.

— Дора, пошлите немедленно телеграмму вашему импресарио. Скажите, что вы отказываетесь от этого турне. Я оплачу неустойку.

— Об этом не может быть и речи. Постарайтесь понять меня, Лоэнгрин. Это слишком важно для меня.

Зингер еще пытался ее удержать.

— Танец — это половина моей жизни, — отвечала она. — Он живет во мне как часть меня самой, независимо от моей воли. Не пытайтесь вырвать танец из меня, так вы убьете лучшую мою половину, самую возвышенную и чистую…

— Я хорошо знаю, что представляет для вас танец, Дора. Но, признаюсь, я мечтал о лучшем будущем для вас. Будущем, в котором мы были бы вдвоем. Я хотел поговорить об этом с вами попозже… но раз обстоятельства меня вынуждают… Дора, хотите стать моей женой?

Она долго молча смотрела на него, затем взяла его руки в свои и, сжимая их, сказала:

— Лоэнгрин, рыцарь мой прекрасный, сейчас это имя вы заслуживаете больше, чем когда-либо. Ваше предложение меня растрогало и взволновало до глубины души, я преисполнена радостью… Но не могу принять его. Поймите меня… Я отказываюсь не от вас, а от самого принципа замужества. Я решила еще в детстве, что никогда не выйду замуж.

— Это была фантазия ребенка…

— Но сейчас я не ребенок. Мне тридцать три года, и я точно оцениваю риск, который беру на себя. Чего вы хотите? Я остаюсь верна своим убеждениям. Тем хуже для меня, если я когда-нибудь пострадаю от них.

По приезде в Москву она с удивлением узнает, что за неделю до нее туда прибыл Гордон Крэг, приглашенный Станиславским, чтобы поставить «Гамлета» в Художественном театре. Как-то во второй половине дня он пришел к ней. Он не изменился. Та же упрямая прядь волос, которую он отбрасывал нервным жестом, тот же взгляд только что очнувшегося мечтателя. Он начал бесконечную речь о концепции пьесы, о своих планах и макетах…

— Сейчас я ищу новое искусство движения. Нельзя ставить тело актера, представляющее округлую выпуклость, рядом с плоскостью окрашенной ткани. Сцена требует искусства скульптуры, архитектуры, одним словом, объемов. Понимаешь, я стараюсь напрочь уничтожить декорации… Я имею в виду весь этот хлам: задники, рисованные плоскости, всю эту мишуру… А знаешь, чем все это заменяю? Смотри.

Он достал из кармана альбом для рисования, с которым никогда не расставался, сел рядом и стал перелистывать

страницы своими нервными пальцами.

— Видишь? Очень-очень простой фон, позволяющий бесконечное количество вариантов линий, цветных пятен, абстрактных мотивов, довольно близких, по сути, живописи кубистов. Но самое гениальное…

Она не сводила с него глаз, улыбалась, видя, что он остался совсем таким, каким она его знала, задыхающимся от сумбура в голове, жизнерадостным эгоистом, очаровательным и утомительным одновременно. Их разлука, похоже, не оставила в нем никаких следов.

— Ты слушаешь меня, Топси?

— Конечно, слушаю. Ты сказал: «Но самое гениальное…»

— …Это ширмы.

— Ширмы?

— Да, переносные ширмы, позволяющие делать намеки на разные архитектурные формы: утлы, ниши, улицы, залы, башни. Конечно, я рассчитываю на воображение зрителя, на сотрудничество с ним. Кроме того, я отменил занавес, отделяющий сцену от зала, и антракты. Ширмы будут как бы архитектурным продолжением зала. Понимаешь?

— Да, да, понимаю.

— Так вот, вообрази… Представление начинается. Прожекторы дают слабый свет. Ширмы начинают двигаться в тожественном ритме. Линии и планы переплетаются. Наконец они останавливаются в новой комбинации. Откуда-то вспыхивает свет. И вдруг зал и сцена сливаются в одно целое. Они перенеслись в другой мир, мир фантастический, монументальный, какой бывает только во сне… Вот так. Айседора зааплодировала.

— Браво, Тэд! Ты великолепен!

— Мы совсем не поговорили о тебе. Говорят, ты стала миллиардершей?

— Кто тебе сказал?

— Все только об этом и говорят. О твоей вилле на Лазурном берегу, об апартаментах в отеле «Рул», о круизе в Италию, о ночных посещениях казино в Монте-Карло… Одним словом, живешь, как герцогиня!

— Слушай, Тэд. Все это относится не ко мне, а к человеку, которого я люблю.

— А ты его любишь, торговца швейными машинками?

— Это может показаться странным, но я его люблю.

— А он?.. Он тоже тебя любит?

— Да, Тэд. Он любит меня так, как никто до сих пор не любил. Любит ради меня самой, понимаешь… не за тот образ,

какой создал в своей душе. Я — не муза его и не ангел-хранитель. Я его любовница.

— Значит, все отлично. Когда свадьба?

— Ты отлично знаешь мое отношение к этому… Но ты мог бы сперва спросить о нашей маленькой Дирдрэ… Не беспокойся, она вполне здорова.

Когда Крэг ушел, она вдруг почувствовала пустоту. И тишина вокруг показалась гнетущей после фейерверка идей, парадоксов, фантазий, отклики которых, казалось, носились в воздухе. «Какой потрясающий волшебник», — подумала она. Даже при том, что порой его хочется убить, у него гениальная способность создавать по своему вкусу каждый миг своей жизни — и возобновлять его по своему капризу. Там, где он появляется, он всем навязывает свое видение вещей. Все, что окружает его — люди, улица, пейзажи, — рано или поздно начинает походить на его рисунки.

После встречи с Тэдом у Айседоры появилось тягостное ощущение, что она бросила свою настоящую семью. Не ту, что связана с театром и к которой она никогда по-настоящему не принадлежала, больше того, которая внушала ей откровенное отвращение. А ту семью интеллектуального авангарда, где находки Гордона Крэга имели такое большое значение. Ее связь с Зингером резко отбросила ее в другой мир, в мир богачей, где отсутствие культуры и презрение к искусству были частью образа жизни. Но в чем она не решалась сознаться даже самой себе, так это в том, что, увидев Крэга, она испытала прежнее непреодолимое влечение к нему. Никогда она не чувствовала себя такой слабой и одинокой. Если бы Лоэнгрин был рядом, он сумел бы сказать ей нужные слова, обнял бы ее, крепко прижал к себе, покрыл поцелуями, уберег от самой себя.

В последний вечер своего пребывания в Москве Айседора дала прощальный обед, пригласив на него Крэга, Станиславского и свою ассистентку, очаровательную брюнетку с большими светло-золотистыми глазами. В середине обеда перевозбужденный Крэг стал умолять Айседору остаться с ним и бросить Зингера.

— Нет, Тэд, я не могу… это невозможно… Почувствовав в ее голосе колебания, он усилил нажим и, то мягко уговаривая, то сердясь, выводил ее из равновесия.

— Ну признайся же, ты сама этого хочешь. Ты сейчас лжешь и мне, и себе.

— Да нет же, Тэд, клянусь тебе, нет.

— Ладно, ладно, скажи еще, что ты счастлива со своим фабрикантом. Ты же понимаешь, что он не для тебя. Ну что у него

в голове, кроме денег, яхты и гольфа? Чем ты с ним можешь заниматься, кроме постельных утех?

— А это не так уж и плохо, — отвечала она с легким оттенком провокации.

Тут он взорвался:

— Так и есть! Все они одинаковы, все! Только об этом и думают, самки осатанелые. Трахаться, трахаться и еще раз трахаться! Но всю жизнь в постели не проваляешься, милочка. А в перерывах ты, может быть, читаешь ему «Антропологию» Геккеля?

— Довольно, Тэд! Ты уже сам не понимаешь, что говоришь.

Поняв, что зашел слишком далеко, он уже спокойнее произнес:

— Вообще-то тебе виднее. Я хотел просто открыть тебе глаза, предупредить. Забудь все, что я наговорил. Но спроси себя откровенно, не играй в прятки со своими чувствами, ответь мне, Топси: да или нет, хочешь остаться со мной?

— Нет, Тэд. Повторяю: это невозможно… Ты не можешь понять…

Тут он вскочил, весь дрожа от ярости, схватил ассистентку, отнес на руках в соседнюю комнату и закрылся на ключ изнутри. Станиславский бросился к двери:

— Крэг! Откройте! Это отвратительно! Не трогайте девушку!.. Откройте, умоляю вас!

Из-за двери поначалу слышались крики отбивающейся девицы, потом все смолкло. Станиславский в растерянности смотрел на Айседору.

— Он ужасен! — сказал он наконец.

— Надо уезжать, — отвечала она. — До отхода поезда осталось меньше часа.

В такси по дороге на вокзал они не промолвили ни слова. Прощаясь, Айседора взяла за руку своего старого друга:

— Не сердитесь на него. Он большой ребенок… И к тому же очень несчастный!..

ГЛАВА XIV

Айседора горячо обнимает и целует дочку под растроганным взором няни, молодой англичанки.

— Миленькая ты моя, какая же ты хорошенькая! Надеюсь, ты слушалась няню? Занималась упражнениями по танцу?

— О да, мамочка!

Няня улыбается и кивает утвердительно.

— Ну, тогда получай подарки и вот этот красивый рисунок, специально для тебя сделанный папой Тэдом. Есть еще один сюрприз, но обещай, что никому не скажешь. Это — секрет.

— Обещаю, мамочка, обещаю!

Айседора сажает дочку себе на колени и шепчет ей что-то на ухо.

— Ой, как здорово, мамочка! Замечательно! А когда я его получу?

— Подожди, детка, это еще не наверняка.

Через несколько дней доктор Боссон подтвердил новость. От сознания, что ее тело по-прежнему способно к деторождению, душа Айседоры наполняется радостью. Лоэнгрин страшно горд, что скоро станет отцом, он уже не предается былым сомнениям и опасениям. Айседора предчувствует, а интуиция редко обманывает ее, что родится мальчик. К тому же она обещала Дирдрэ именно мальчика.

А пока, несмотря на уговоры Зингера, она не хочет отказываться от запланированного турне по Соединенным Штатам.

— Умоляю вас, Дора, — повторяет он в сотый раз, — подумайте об опасностях, каким вы подвергаете себя и нашего ребенка: пароход, морское путешествие, концерты… Ведь доктор Боссон вам сказал: танцевать в вашем положении — безумие.

— В каком положении? Никогда еще я так хорошо себя не чувствовала. Вам не кажется, что ребенку полезнее танцевать вместе с мамой, слушая великую музыку, чем скучать в животе, пока я сижу в кресле и вяжу ему носочки?

— Ну что ж, вижу убедить вас невозможно, позабочусь хотя бы о том, чтобы вы ехали в самых лучших условиях. И вообще я еду с вами.

Хотя по происхождению Зингер американец, в США он едет впервые. Путешествовали по-королевски. Будущую мамашу опекали двое лакеев, таская за ней повсюду шезлонг. Ей был отведен отдельный зал в ресторане, где каждый день подавалось персональное, только для нее отпечатанное в типографии меню.

Айседора не могла не вспомнить свою первую поездку через океан в трюме суденышка.

В Нью-Йорке, Вашингтоне и Сан-Франциско турне проходит с колоссальным успехом и сопровождается бесчисленными приемами. Повсюду толпы зрителей у касс. Представители изысканного общества оспаривают друг у друга честь пригласить к себе Айседору Дункан. Ее связь с одним из богатейших людей в мире, конечно, способствует этому интересу. Дамы копируют ее прическу и покрой платья от Пуаре. И все же Америку, не освободившуюся от своего пуританизма, шокирует личность Айседоры.

В Филадельфии, после спектакля в ее гримерную ворвалась светская дама — председательница Лиги за оздоровление нравов, каких за океаном сотни.

— Дорогая госпожа Дункан, я восхищаюсь вашим талантом.

Айседора терпеть не может слова «талант», поскольку после него обязательно следует какая-нибудь гадость.

— Однако… — продолжает дама.

— Что «однако»?

— Однако позвольте заметить, что вы не можете продолжать танцевать вот так… я хочу сказать… одним словом… в вашем положении…

— Ах, вот что? — говорит Айседора, изображая удивление. — Но почему же?

— Потому что это видно из последнего ряда зала.

— Так вот, мадам, именно это и хочет выразить мой танец: Любовь, Женственность, Весна, Созидание, плодородие Земли, Мадонна, — все, что обещает новую жизнь! Представьте себе, что именно ради этого я и танцую с младенцем в животе!

Но есть и другая опасность, более грозная. Айседору подозревают в левых убеждениях. Некоторые даже называют ее коммунисткой. И поскольку даже доллары Зингера не могут помешать распространению этих слухов, она решает объясниться публично. После представления в «Метрополитен-опере» она выходит на авансцену и обращается к публике с речью. На следующий день газеты выходят со скандальными заголовками: «АЙСЕДОРА ДУНКАН ОСКОРБЛЯЕТ БОГАЧЕЙ».

А ведь она мужественно и честно воздала должное своей родине, той Америке, которую «слишком люблю, чтобы скрывать от нее некоторые истины, даже если их и неприятно выслушивать». Она сочла нужным признать, что ее искусство многим обязано картинам, сопровождавшим ее детство: «Этот танец называют греческим, но породила его Америка. Это танец будущей Америки. Откуда взялись все эти движения? Из великой

природы Америки, из гор Сьерры-Невады, из побережья Тихого океана, омывающего берега Калифорнии, из просторов Скалистых гор, из Ниагарского водопада».

Но больше всего шокировал публику ее призыв создать народный театр, народную культуру. «Дайте народу искусство, которого он требует, — воскликнула она в своей речи. — Великая музыка не должна больше радовать только немногочисленную группу избранных, подготовленных к ее восприятию. Она должна быть доступна массам, причем бесплатно. Она им так же необходима, как воздух и хлеб, ибо она — духовное вино человечества!»

В ушах американцев такая речь прозвучала как призыв к восстанию. Появились слухи о «сговоре с противником», об «измене» и «провокации»…

Пора было возвращаться. Тем более что беременность делала каждое выступление все более опасным. И Айседора уступила наконец просьбам Зингера. На пароходе, по пути домой, он сказал ей:

— Что скажете, Дора, о путешествии вверх по Нилу в ожидании родов? Бежать от этого серого неба, туда, где всегда светит солнце. Увидим Фивы, Луксор, все, что захотите. На яхте доберемся до Александрии. Там пересядем на мою «дагобу», египетское судно, и пойдем вверх по Нилу. Нас ждет экипаж из тридцати человек, каюты со всеми удобствами, приглашу первоклассного повара.

— А моя школа? А работа?

— Вашей школой отлично занимается Элизабет. А работой займетесь потом. Вы еще молоды.

— Не повторяйте мне это слово слишком часто: от этого стареют… Согласна, Лоэнгрин. Поедем навестить господина Фараона.

Зима прошла на борту «дагобы», медленно ползущей вверх по течению Нила, от храма в Дендере, где владычицей была Хабор, богиня неба, до Долины гробниц. Айседора долго стояла над захоронением мальчика-царевича, умершего, так и не став фараоном. «Ребенок в вечности, — подумала она, — как странно!»

Через несколько недель они добрались до Вади-Хальфа, пересекли Нубийскую пустыню, повидали Хартум. В колониальной каске, с неразлучным «Кодаком» на ремешке Зингер делает сотни снимков, пока Айседора записывает свои впечатления, очень сокрушаясь, что из-под пера ее выходят лишь избитые штампы, вроде: «пурпурной зари», «огненного заката солнца», «золотых песков пустыни» да «жалобного скрипа подъемного колеса, черпающего воду из Нила». Как ни старается

она, но получаются одни банальности: «ритм веков», «мускулистое, загорелое тело» феллаха, обрабатывающего поле на фоне «неподвижного пейзажа».

— Вы чудесно пишете, — восторгается Зингер, читающий из-за плеча.

— Спасибо. Лучше, чем в иллюстрированных рекламных буклетах фирмы «Кук и Сыновья».

Мальчик родился через месяц после возвращения во Францию. Нарекли его Патриком. Для Зингера отцовство — еще одно украшение к его титулу миллиардера. Он опасается, и не без причины, что ребенок может стать собственностью матери, а потому вновь возвращается к вопросу о женитьбе. На этот раз ему кажется, что у него появился новый аргумент:

— Ребенку нужен отец.

— Да? По-моему, он у него есть.

— Я хочу сказать, законный отец…

— Не вижу необходимости, — отрезает Айседора. — Патрик — ваш сын, мы оба это знаем. Я доверяю вам, знаю, что вы не откажетесь от него. Так что нет надобности заключать контракт.

— Конечно, конечно, Дора. Но разве для него, для вас, для меня не лучше урегулировать положение?

— Не будьте конформистом, дорогой мой. Для артистки выходить замуж — это безумие. Я должна проводить жизнь в поездках по всему миру, не будете же вы все время сидеть в моей гримерной с младенцем на руках!

— Давайте все же попробуем, а? Поедем на три месяца в Девоншир, в мой замок. Если за это время вы не измените свое мнение, обещаю больше никогда не заговаривать о женитьбе. Но, право, я удивлен, что такая жизнь вам не нравится.

Айседора согласилась, хотя идея женитьбы с испытательным сроком показалась ей абсурдной.

В Зингере жила душа строителя. Средства у него были, но отсутствие упорства и последовательности приводило к тому, что ему приходилось отказываться от самых смелых проектов. Не однажды он покупал участки земли и заставлял архитекторов возводить копии самых знаменитых дворцов Европы. Но едва работы начинались, как новая фантазия отвлекала его, и будущий Версаль оставался недостроенным. Бог знает каким чудом оказался достроен замок в Девоншире. Это было массивное здание, какие любят богатые промышленники. Большое количество остроконечных башен и окон с частым переплетом должно было напоминать замки эпохи Возрождения.

Зингер предоставил ей в замке сорок три комнаты, причем все с ванными, в гараже выстроились наготове четырнадцать

автомобилей, а в порту величественно красовалась яхта. Но Айседору с первых же дней все раздражало: бесконечные летние дожди, мрачные залы, обставленные мебелью темного дерева и утопающие в полумраке, ледяное молчание прислуги, беззвучно появляющейся в точно определенные моменты, чтобы объявить, что кушать подано, будь то завтрак по-английски (поджаренный бекон, почки и овсянка), ланч, чай или обед. Эти приглашения к столу объявлялись с неумолимой точностью церковных служб в каком-нибудь цистерцианском монастыре. Через две недели Айседора призналась Зингеру, что английский церемониал сведет ее с ума, если до этого она не умрет от скуки.

— А почему вы не танцуете? Это бы вас развлекло.

— Танцевать в этом окружении? Среди гобеленов? На паркете, отполированном до того, что по нему и ходить-то страшно, того и гляди поскользнешься и сломаешь ногу? Что вы!

— Ну что ж, прикажите, чтобы привезли ваши занавеси и ковры.

— Но мне нужен пианист.

— Вызовите пианиста.

Через неделю Колонн прислал ей одного из своих музыкантов, прекрасного исполнителя и талантливого композитора, как он уточнил. Его звали Андре Капле[32]. Айседора запомнила его в ту пору, когда он был первой скрипкой в театре «Гэте-Лирик», запомнила благодаря его безобразной внешности: огромная голова с выпученными глазами раскачивалась на бесформенном теле. Зрелище пренеприятное, и Айседора сразу почувствовала к нему активную антипатию.

— Но этот парень вас обожает, он просто без ума от вас, — говорил Колонн.

— Это меня не интересует, я не желаю его видеть.

Однажды вечером, когда Колонн был нездоров, он поручил Капле замещать его. Но Айседора заявила, что не будет танцевать, если за пюпитром окажется Капле. «Я не смогу вынести этого зрелища в течение всего представления», — заявила она.

Несчастный скрипач со слезами на глазах пришел к ней в гримерную, умоляя:

— Позвольте мне, мадам, хотя бы один раз продирижировать оркестром.

— Нет, сударь, — сухо отвечала она, — я сожалею, но это выше моих сил.

В конце концов заменить мэтра согласился Габриэль Пьерне[33].

И вот теперь Колонн прислал Айседоре именно Капле. Она

была возмущена и, увидев его с чемоданом, вскричала:

— Как, это вы? Что, в Париже не нашлось пианиста?

— Извините, мадам, — забормотал он, — но мэтр сказал, что вам нужен…

— Я просила прислать пианиста, а не скрипача.

— Но я… и пианист… и еще сочиняю камерную музыку, — добавил он, опуская глаза.

Через несколько дней Зингер заболел воспалением легких, что потребовало постоянного присутствия врача и медсестры. Айседоре пришлось переместиться в изолированную комнату в другом конце замка, причем ей было велено ни в коем случае не беспокоить больного. Зингер не столько страдал от болезни, сколько от страха смерти и поэтому боялся выходить из дома. Целыми днями он лежал в постели, питался только макаронами без масла и соли, а медсестра каждый час мерила ему давление.

Тем временем Айседора оказалась практически в одиночестве, В замке были только Лоэнгрин, ощущавший себя на краю могилы, и Капле, отвращение к которому у нее возрастало с каждым днем. Настолько, что она отгораживала рояль ширмами, чтобы не видеть его, пока танцует. Но по причине, недоступной рассудку, а объяснимой только движениями сердца, чем большее отвращение она к нему питала, тем сильнее была его страсть. Он не смел объясниться, лишь бросал в ее сторону умоляющие взоры, выводившие ее из себя. Его скромность, неловкость и неустанная предупредительность, какой он ее окружал, вызывали в ней такое же отвращение, как и его внешность.

В ту пору в замок приехала на несколько дней старая подруга Лоэнгрина, графиня де Эд. Она слышала, что Андре Капле — гениальный композитор, ученик Дебюсси, который предсказывал ему великое будущее, присутствовала при исполнении нескольких его квартетов. Ей было также известно, что он работает над большой ораторией «Зеркало Иисуса». Болезненно скромный, Капле, разумеется, ничего не говорил Айседоре о своих успехах. Но графиня де Эд, шокированная отношением Айседоры к одному из наиболее многообещающих французских музыкантов, упрекнула ее:

— Как можно проявлять такую жестокость по отношению к этому несчастному, слишком слабому, чтобы защититься, и к тому же обожающему вас?

— Что хотите, это выше моих сил. Я не могу смотреть на него. От одной мысли пожать ему руку меня тошнит.

Как ни старалась графиня объяснить ей, что Андре Капле — один из великих композиторов XX века, это ничего не изменило. Однажды мадам де Эд предложила совершить после ланча

прогулку на машине по окрестностям замка.

— Возьмем с собой Капле, это доставит ему удовольствие.

— О нет, ни за что! Ехать в машине рядом с этим уродом? Вы хотите меня доконать?

— Ну, Айседора, сделайте над собой усилие. Пожалуйста, для меня…

В конце концов Айседора дала себя уговорить и через пять минут уже была на заднем сиденье, зажатая между графиней и робким воздыхателем. Как всегда, шел проливной дождь. Все молчали… Айседора сердито уставилась в спину шофера, графиня рассеянно улыбалась, глядя в окно, а музыкант постукивал пальцами по колену, бросая робкие взгляды в сторону своего кумира. Примерно через полчаса Айседора, не в силах больше вытерпеть нервное напряжение, попросила водителя возвращаться. Шофер решил воспользоваться тем, что дорога свободна, и круто развернул машину, отчего Айседора оказалась в объятиях соседа. Она вырвалась, посмотрев на него уничтожающим взглядом, и вдруг, подчиняясь необъяснимому порыву, поцеловала в губы человека, которого еще несколько секунд до этого третировала, как зачумленного.

Что произошло? Почему его безобразное лицо, лишенное и намека на обаяние, приобрело вдруг сходство с Аполлоном? Почему эти невыразительные глаза вдруг зажглись огнем гениальности? Почему этот музыкант-неудачник молниеносно сравнялся с Бетховеном и Вагнером? Почему? Почему? Почему? Айседора не ищет ответа на эти вопросы. Просто она знает, что любит Капле, как любят грозу, освобождающую чувства, как любят небо, освобождающее ум, как она любит свое тело, освобождающее душу — Ненависть? Любовь? Все это слова, одни лишь слова, они ничего не значат, думает она. Ненависть к Андре Капле? Это была попытка противостоять тому бурному течению, которое несло ее к этому человеку и бросило, в конце концов, в его объятия, несмотря на сопротивление. Она начинает понимать, что для нее любовь и желание будут всегда синонимами. Поцелуй в губы «прокаженного» Капле — это своего рода перелом в ее жизни. Становясь его любовницей, она окончательно овладевает своим другим «я», о существовании которого она словно и не подозревала. До того дня, когда автомобиль сделал резкий разворот на сельской дороге недалеко от английского замка.

В конце лета Айседора вернулась в Париж вместе с Зингером, совершенно здоровым, но более чем когда-либо опасающимся смерти, после того как побывал вблизи от нее. Опыт супружеской жизни продлился не более двух месяцев и закончился полным провалом. Совместная жизнь продолжалась, но Зингер отказался

от идеи женитьбы.

Теперь надо было вернуться к работе и найти помещение для школы танца. Зингер хотел, чтобы она находилась на юге, в Больше-сюр-Мэр, но Айседора находит такое решение непрактичным из-за большой удаленности. Ей сообщили, что продается особняк художника Жервекса, прославившегося портретами особ из высшего общества и обнаженными фигурами в фиолетовых тонах. Это большое современное здание в Нейи-сюр-Сен, дом 68 по улице Шово, не очень красивое, но окруженное прекрасным парком. Зингер тотчас покупает его и дарит Айседоре. А она устраивается там с детьми, ученицами, Элизабет и недавно приглашенным молодым музыкантом по имени Генер Скенэ.

Бывшая мастерская художника занимает обширное помещение с высокими потолками, напоминающее часовню. Айседора: велит затянуть его своими знаменитыми голубыми занавесями. Там она танцует дни и ночи напролет под аккомпанемент Скенэ. Дети с няней живут во флигеле, среди парка, и музыка не нарушает их сна.

Поль Пуаре стал завсегдатаем их дома, он рисует эскизы туник для выступлений Айседоры и для нее же — изысканные выходные платья. Именно ему в ноябре 1912 года она заказывает оформление мастерской в персидском стиле в связи с предстоящим большим приемом, который Лоэнгрин задумал устроить для великосветского Парижа. Показав хозяйке дома свои наброски и планы, Пуаре присылает плотников, обойщиков, портных, и через неделю как по мановению волшебной палочки вырастает дворец из «Тысячи и одной ночи». Пол устлан пушистыми восточными коврами, сама «часовня» превращена в тропический сад под сине-золотым балдахином, со столиками на две персоны, расставленными так, чтобы парочки могли без помех наслаждаться уединением за рядами экзотических растений. Посередине — изящный, как на персидских миниатюрах, фонтан, вода из которого бьет прямо из-под земли и дождем ниспадает в бассейн из хрусталя, переливающегося всеми цветами радуги. Но особенно поработал Пуаре над оформлением мезонина, где он решил поместить потайную комнату, сосредоточив в ней все наслаждения Востока. Тяжелые занавеси из черного бархата ниспадают до пола, отражаясь в широких зеркалах, усыпанных золотыми звездами и покрывающих стены. Повсюду расставлены мягкие диваны с шелковыми подушками, шитыми золотом, располагающие к гаремной неге. Окна заколочены, а двери, покрытые серебристыми пластинами с геометрическими рисунками и украшенные двойным черным

крестом, напоминают этрусские погребения.

Пуаре держал все в секрете до последнего момента. Даже Айседоре не разрешалось входить в мастерскую, пока идут работы. И когда она видит наконец творение волшебника, то теряет дар речи, очарованная, взволнованная, почти без сознания. Да и сам Пуаре удивлен тем необычайным эротизмом, который исходит от его творения. Догадываясь о смущении Айседоры, он негромко, словно самому себе, говорит:

— В таком месте можно высказать и совершить то, чего не скажешь и не сделаешь в других местах.

В это помещение, уединенное и располагающее к чувственности, под звуки восточной музыки входили гости, наряженные в персидские одеяния, с тюрбанами на голове. Среди театральных знаменитостей и художников было много личных друзей Айседоры: Сесиль Сорель и Мари Леконт из «Комеди Франсез», скульптор Бурдель, художники Ван Донген и Морис Дени, Жан Кокто, д'Аннунцио, американский фотограф Стейхен, скрипач Изаи, Анри Батай и его постоянная спутница Берта Бади… Шампанское течет рекой, люди собираются в компании, Айседора переходит от одной группы к другой, каждому находит приветливое слово и шлет улыбку. Анри Батай задерживает ее дольше других. Целуя руку, говорит:

— Какой пышный прием, дорогая Цирцея. Вы возродили роскошь Персеполя. Здесь вдыхают самый пьянящий воздух и самые соблазнительные ароматы. Это просто осуществленная мечта Бодлера.

— Я здесь ни при чем, дорогой Анри. Все эти чудеса — дело рук Пуаре, он и есть настоящий Амфитрион. Но вы еще ничего не видели. Пойдемте со мной, я покажу вам мезонин. Вот там действительно можно упасть в обморок, милый мой поэт.

С улыбкой она берет его за руку, уводит по лестнице наверх, усаживает рядом с собой на кожаный диван, словно приглашающий к опасному священнодействию. Лампы фигурного стекла отбрасывают радужные лучи в бесчисленные зеркала, в полутьме лежат тела, сраженные опиумом, слышно, как кто-то вздыхает за лаковыми ширмами. Страстно прижимаются друг к другу женщины, молодые люди с напомаженными волосами признаются друг другу в любви.

Поздно ночью Батай и Айседора оказываются лежащими рядом. Вокруг них все дремлет. Приглушенные звуки: шепот, шуршание шелка, тихое позвякивание бокалов и браслетов, а снизу, из зала, доносятся звуки прелюдии Шопена в исполнении Скенэ. Возбуждающая атмосфера сближает их, вот они уже в объятиях друг друга, губы их сливаются. Вскоре Айседора, почти

совсем нагая, уступает ласкам друга. Именно в этот момент появляется Зингер, разыскивающий ее вот уже четверть часа. Останавливается перед обнявшейся парой, молча смотрит и, повернувшись, стремительно спускается по узкой лестнице. Айседора бежит за ним. Внизу он кричит гостям:

— Убирайтесь все отсюда! Насмотрелся я на вас! Здесь вам не бордель! Все вы только об одном и думаете и еще называете себя художниками! Творцами! Бездельники и крохоборы, хотите жить за чужой счет? Убирайтесь отсюда! Идите торговать вашим современным искусством, если найдете покупателей. Современное искусство! Современное искусство! Чепуха! Чепуха все это! И современный танец, мадам Дункан, тоже чепуха! Разве вы артистка? Танцовщица? Расскажите кому другому! Такая же, как и все! Ах, как прекрасно: искусство, культура, Карл Маркс, Уитмен! Все вы импотенты и неудачники! Трахаетесь, как шлюхи, с первым попавшимся. Коммунистка, а ухватилась за меня, чтобы содержать свою школу и носить платья за десять тысяч франков! Не беспокойтесь! Теперь вы будете свободны делать все, что захотите. Ухожу. Ноги моей в этом доме не будет. Никогда! Слышите, никогда!

Он вышел, громко хлопнув тяжелой дубовой дверью, так что эхо раскатилось под сводами. Во время этой сцены Айседора стояла неподвижно, бледная, словно окаменевшая, среди таких же неподвижных гостей. Пауза после ухода Зингера длилась секунды, показавшиеся вечностью. Никто не решался слова сказать. Тогда Айседора подошла к Скенэ:

— Сыграйте, пожалуйста, что-нибудь, а то вечер будет испорчен.

— Что сыграть?

— Все равно… «Смерть Изольды»…

И пока Скенэ садился за рояль, она быстро надела тунику, начала танцевать и танцевала до рассвета.

Через два дня она узнала, что Зингер уехал в Египет вместе с медсестрой, которая ухаживала за ним во время воспаления легких.

Когда Лоэнгрин уехал, она почувствовала облегчение. Наконец она могла согласовывать свою жизнь со своими чувствами. Теперь все переменится. Она позволит телу управлять ее поведением и будет послушна ему. Радость и наслаждение любви, в которых ей так часто отказывали, возьмут наконец реванш. И она не будет бояться ничего. Будет дарить любовь своему избраннику. Языческое тело ее превратится в жертвенный дар. Но избранника будет назначать только она.

После тридцати пяти ночь без любви — потерянная ночь. Но

свобода, оплаченная такой высокой ценой, столкнется с еще более тяжелым испытанием — ускользающим временем. Не успела она насладиться полученной свободой, как уже обозначились ее границы…

ГЛАВА XV

— Ничего страшного, не беспокойтесь. Легкое переутомление. Вам надо отдохнуть. Поезжайте на несколько дней в деревню с детьми, это самое лучшее. И главное, поменьше шампанского, — добавляет с улыбкой доктор Рене Бада. — Невозможно, доктор. Я должна дать несколько сольных концертов в залах «Шатле» и «Трокадеро».

— Ну что ж, поезжайте куда-нибудь неподалеку, в Версаль например. Там найдете тишину и необходимый вам покой, а каждый вечер сможете приезжать в Париж.

Обратиться к врачу ей посоветовала Мэри Дести. С некоторых пор Айседора плохо спит, ее преследуют кошмары. Несколько раз у нее были галлюцинации, как-то вечером ей показалось, что в детской комнате она увидела трех черных кошек. В это время с ней был лорд Альфред Дуглас, старинный друг Оскара Уайльда.

— Да нет, Айседора, нет никаких кошек, — сказал лорд Альфред, тщательно осмотрев детскую. — Окна закрыты, и выйти они не могли.

— Я видела их, Альфред, уверяю вас. Они бежали друг за дружкой, вон там… возле занавесей.

После бурной молодости Альфред Дуглас принял католическую веру. Он не стал больше спорить с Айседорой: возможно, только она и видела черных кошек, а может быть, тут была какая-то дьявольщина. Поэтому он серьезно спросил:

— Ответьте искренне: ваши дети ходят в церковь? — Что?

— Я спрашиваю, были ли крещены Дирдрэ и Патрик?

— Нет, конечно. Я никогда в Бога не верила и не вижу причины крестить детей.

— В этом случае, — отвечал Альфред Дуглас, ничуть не смущаясь, — с вашего разрешения, я это проделаю прямо сейчас.

— Что?

— Я сам совершу крещение. Велите принести мне немного воды.

— Что за комедия! Лорд Альфред Дуглас крестит моих детей! Только этого не хватало! Впрочем, если вам так хочется… Мэри, — сказала Айседора подруге, присутствовавшей при разговоре, — принесите, будьте любезны, немного воды господину аббату Дугласу!

— С удовольствием. Если он и не изгонит демонов, пусть хотя бы прогонит ваши страхи.

Итак, в тот вечер лорд Альфред Дуглас, восьмой маркиз Куинсберри, злой гений Оскара Уайльда и причина всех его

несчастий, крестил детей Айседоры Дункан.

Через некоторое время после этого Айседора с криком проснулась среди ночи. Мэри Дести спала на первом этаже. Услышав шум, она тотчас поднялась к подруге.

— Ой, Мэри! Я видела ужасный сон. Останьтесь со мной, пожалуйста, до утра, прошу вас. Иначе я не смогу уснуть.

— Скажите, Дора, что вам приснилось?

— Как будто я была в Киеве, на гастролях, со Скенэ. Мы ехали вместе в санях. Вдруг я увидела, что к нам приближаются сотни, тысячи черных гробов. Они скользили по снегу сами по себе… все ближе… ближе…

Такие видения, одно другого страшнее, стали часто посещать ее, и Айседора согласилась показаться доктору Бада, специалисту по нервным болезням. Диагноз ее не успокоил, но она решила послушаться его совета. Сняла апартаменты в гостинице «Трианон» в Версале и переехала туда с Дирдрэ, Патриком и их няней. А по вечерам ездила в Париж давать представления. После этого возвращалась в Версаль и проводила там дни, играя с детьми и обучая их танцам.

Первые признаки весны давали о себе знать. На каштанах набухли почки. Яркое солнце отражалось в воде большого канала, и его лучи золотили стены дворца. Дирдрэ и Патрик носились по участку, прилегающему к овчарне Марии-Антуанетты, или бегали по Зеркальной галерее дворца под суровым взором смотрителя.

Айседора чувствовала, как жизнь и здоровье возвращаются к ней. Временами ей даже казалось, что она счастлива. Ведь у нее были успех, состояние, самые лучшие в мире дети. Конечно, не хватало любви. Генер Скенэ был верным и преданным спутником, одним из ее самых горячих поклонников и к тому же прекрасным любовником. Но она тщетно искала в нем того необузданного огня, какой был в Крэге, Станиславском и Генрихе Тоде. Скенэ был послушен, как и Капле, но ему не хватало таланта. Айседора же могла привязаться только к исключительным личностям, и Зингер, в своем роде, тоже принадлежал к их числу. Своим богатством, силой, составляющей основу его характера и выражающейся как в ревности, так и в бурной влюбленности, размахом, выдумками, неосознанным страхом, капризами он походил на балованного ребенка.

Крэга она любила за его нетерпение творца, спешащего придать форму своим мечтам, а Зингера — за исходящую от него звериную силу, когда им овладевало желание, за мужественную, непреклонную уверенность в себе, основанную на безошибочном чувстве партнера. Каждый раз, отдаваясь ему, она открывала в себе способность к неведомым прежде ощущениям. С ним она

чувствовала себя за пределами обычных наслаждений. Теперь, в общении с другими мужчинами, ее утонченные, усилившиеся и освободившиеся чувства нашли простор для поиска новых, бесчисленных и смелых желаний. Она отдавалась им с невинностью язычницы, не знающей лицемерия и лжи. Она отдавалась, как танцевала, с той же страстью, верой и самоотдачей. Своей любовью она воссоздавала золотой век детства, чистого утра жизни, освещенного светом красоты.

18 апреля 1913 года, в пятницу, состоялся благотворительный гала-концерт в помещении театра Шатле в пользу организации «Сотрудничество артистов». В нем приняли участие Айседора Дункан и Муне-Сюлли. Хором и оркестром дирижировал Габриэль Пьерне. В программе — «Ифигения» Глюка. Перед началом — лекция Жозефена Пеладана. Он говорил о греческой трагедии, об «апофеозе страдания», выразить который могли только Муне-Сюлли («дионисиец») и Айседора Дункан, «нашедшая в своей душе такие секреты античных барельефов, которые ускользнули от внимания археологов». Первая часть концерта заканчивается длинным монологом Муне-Сюлли. Потрясая львиной гривой, старый актер «Комеди Франсез» стоял на авансцене и своим знаменитым рыком пел гимн свету:

«О, Зевса свет, факелоносный день, в другую жизнь я ухожу, в судьбу другую! Приветствую тебя, о Зевса свет!..»

Бурные аплодисменты. Антракт. Айседора направляется в свою гримерную. По дороге костюмерша протягивает ей полотенце, чтобы вытереть пот со лба и плеч. Туника намокла, стала прозрачна и прилипает к бедрам.

Переводя на ходу дыхание, она говорит Пьерне:

— По-моему, в аллегро мне не хватает легкости. Совершенно необходимо соблюдать режим. За год я прибавила пять килограммов, так нельзя.

— Поменьше бы курили, — отвечает дирижер.

Открыв дверь гримерной, она вскрикивает. В кресле, спиной к двери, сидит мужчина. Он встает, поворачивается к ней.

— Лоэнгрин! Вот это неожиданность! Когда вернулись? Не отвечая, он обнимает ее.

— Дорогая, вы были восхитительны. Я смотрел весь спектакль из зала. Лишь когда начали вызывать, вышел, чтобы оказаться здесь раньше вас. Сейчас там господин Пеладан снова бубнит свою лекцию, я уже слышал ее в прошлый раз.

— Как я рада видеть вас, — говорит она, смеясь и прижимаясь к нему. — Путешествие в Египет было удачным?

— Об этом в другой раз, Дора. Я хочу провести сегодняшний

вечер вдвоем. После спектакля поужинаем вместе, идет?

— Не могу, дорогой. Мой брат Августин в Париже. Я обещала ему, что поужинаю с ним в отеле «Елисейские Поля».

— Тогда пообедаем со мной завтра. Мне очень хочется повидать детей. Постарайтесь их привезти с собой. В час дня в «Поккарди».



Айседора Дункан в Египте.



На вилле «Мария». Голландия.



Генер Скенэ с сыном Августина Дункана Ангусом.



Ученицы Айседоры Дункан. Слева направо: Тереза, Ирма, Лиза, Анна, Эрика, Марго. Нью-Йорк. 1915 г.



Айседора Дункан. Рисунок А. Андерсона. Художник изобразил 200 бронзовых ключей, символизирующих то, что Айседора открыла своим искусством так много дверей на пути к личной

свободе.





Айседора Дункан. Рисунки А. Бурделя. Акварель и пастель. 1916 г.



Айседора Дункан с Антуаном Бурделем, Морисом Дени и Ван Донгеном.



Французский офицер благодарит Айседору за то, что она предоставила виллу Бельвю французскому правительству под госпиталь. 1914 г.



Театр на Елисейских Полях. 1913 г.





Айседора Дункан. Резьба по дереву С. Коненкова. 1916 г.

Айседора Дункан. Рисунок карандашом Дж. Слоуна. Нью-Йорк. 1915 г.



Айседора Дункан. Рисунок карандашом О. Родена.



Айседора Дункан с учениками в танцевальной школе. Москва. 1921 г.



Здание, где в 1921–1928 годах размещалась московская школа танцев Айседоры Дункан.



Афиша спектакля московской школы танцев Айседоры Дункан. 1922 г.



Айседора Дункан около своей дачи под Москвой. 1922 г.



Айседора Дункан и Сергей Есенин. 14 августа 1922 г.



Айседора Дункан и Сергей Есенин. Берлин. Май 1922 г.



Айседора Дункан и Сергей Есенин приехали в Америку. Октябрь 1922 г.



Айседора Дункан в «Славянском марше» П. И. Чайковского.



Айседора Дункан и Сергей Есенин. Рисунок В. Барта. Париж. 1924 г.



Ученики московской школы танцев Айседоры Дункан с детьми рабочих на Красном стадионе. 1924 г.



Гордон Крэг. 16 марта 1953 г.



Раймонд Дункан около одной из фигур в хранилище банка отца. Около 1977 г.



В студии Айседоры Дункан. 1926 г.



Айседора Дункан.

Ночью, по дороге в Версаль, она размышляет о Лоэнгрине. В глубине души она знала, что он вернется, несмотря ни на что. Их союз должен быть выше всякой ревности. Именно это она

постарается ему объяснить. Она не сможет заставить себя любить только одного мужчину, да и ему не удастся иметь только одну любовницу. Так зачем разыгрывать глупую комедию об измене? Почему не продолжать любить друг друга открыто, полностью уважая свободу партнера? Все станет проще, и они смогут начать сначала. «Кстати, раз он вернулся, значит, он дорожит мною. Теперь он знает меня достаточно, чтобы понимать, что исключительного права на обладание мною у него не будет никогда. А я знаю, со своей стороны, что верен мне он не будет никогда. И, несмотря на это, мы оба знаем, что не сможем обойтись друг без друга. Таким образом, созданы все условия, чтобы составить идеальную современную пару. И потом, есть Патрик… и Дирдрэ он любит как собственную дочь. Вот они нас и помирят. Они будут свидетелями и гарантами этой редкой связи, до сих пор не состоявшейся нашей жизни… Лоэнгрин… Лоэнгрин, — шепчет она, кутаясь в машине, едущей вдоль парка Сен-Клу, — Лоэнгрин, я думаю о тебе… я тебя люблю… люблю… люблю…»

На следующий день она проснулась поздно. Дети уже давно встали и играли в парке под присмотром няни. Айседора любовалась ими из окна. Их золотистые кудри блестели на солнце. Трехлетний Патрик стоял на качелях, крепко держась руками за веревки, а сестра сильно раскачивала его, упираясь в его попку крепкими, как у матери, руками. Доносился веселый смех. Няня вязала, сидя в плетеном кресле. Время от времени, поглядывая на них, приговаривала:

— Не так сильно, Дуди. Уроните Патрика. Не забывайте, вам уже шесть лет. Вы большая девочка. Должны присматривать за братишкой.

Заметив маму, они подбежали к окну, стали звать ее поиграть с ними. Улыбаясь, она кивнула головой. Никогда еще не чувствовала она себя такой счастливой, уверенной в будущем, преисполненной надежды. Скоро она увидит Лоэнгрина, его спокойный, глубокий взгляд, почувствует его сильную, уверенную руку, прекрасную руку мужчины.

Спускается в сад. Патрик и Дирдрэ кидаются к ней на шею. Она прижимает их к себе, целует в лоб. Поправляя белый воротничок у дочери, говорит:

— Дети, у меня для вас новость. Сегодня мы все втроем поедем обедать с Лоэнгрином.

Дети радостно кричат и кидаются к няне:

— Энни, угадайте, с кем мы обедаем сегодня?

— Не знаю, не знаю… — отвечает няня, поправляя рукоделие.

— Мы будем обедать с мамой и Лоэнгрином. И с вами. Вы

поедете с нами, Энни.

— Да, да, поедешь с нами, — настаивает Патрик и тянет за руку няню. — Ведь правда, мама, Энни поедет с нами?

— Ну, конечно, милый, она поедет… Если захочет…

— Извините, мадам, — говорит гувернантка, подойдя к Айседоре. — Но я не уверена, что надо везти детей в Париж. Набегают тучи, погода меняется, будет дождь, а у Патрика со вчерашнего дня насморк. Было бы лучше остаться сегодня дома.

— Ой, нет! — возражают хором дети. — Мама, ты ведь возьмешь нас? Скажи, — умоляет Дирдрэ. — Пожалуйста, мамочка. Так хочется повидать Лоэнгрина!

— Хорошо, дети, но при условии, что вы сразу вернетесь домой. Энни, поедемте с нами. В четыре часа у меня репетиция в Нейи. После обеда мы вместе поедем на улицу Шово, а потом шофер привезет вас с детьми сюда.

Ровно в час дня шофер останавливает машину на бульваре Монмартр, перед входом в «Поккарди». Зингер поджидает их за большим столом на втором этаже. Встает, идет навстречу. Дети бросаются в его объятия. Он нежно целует в шею их мать.

— Вы сияете, Дора. Прекрасны, как никогда. Если бы вы знали, как я счастлив вновь видеть вас и детей. Ведь я отец им обоим.

— Да, да, дорогой.

Обед проходит весело. Заказали спагетти по-болонски и кьянти. Пока дети болтают с гувернанткой, Зингер вполголоса рассказывает Айседоре о поездке в Египет:

— Если бы вы знали… Я все время думал о вас. Приезжая в те места, которые вам так понравились, я вспоминал, как мы были счастливы четыре года назад.

— Однако, мне кажется, у вас там было и приятное времяпрепровождение, — замечает она с иронической улыбкой.

— Не будем говорить об этом. Это был мой маленький реванш, если хотите… Но все кончено. Эта девица способна только банки ставить.

Так они беседуют вполголоса довольно долго, вспоминают прошлое, строят планы на будущее, прикидывая, какой будет их новая совместная жизнь, при условии, что каждый сохранит свою свободу. Айседора излагает свое видение супружеской жизни спокойным, тихим голосом, как нечто простое и совершенно естественное. Внезапно, накрыв своей рукой руку Айседоры, Зингер говорит:

— Любовь моя, все будет так, как вы захотите. В конце концов, возможно, вы и правы. Ведь вы — артистка, и ваши мысли не могут… не всегда могут быть такими же, как у всех. Но я вас

слишком люблю. Никогда не смогу расстаться с вами. Мне нужно знать, что вы всегда здесь, рядом со мной.

— Что бы ни случилось?

— Клянусь, Дора, что бы ни случилось.

Как договорились, в половине четвертого шофер приезжает за ними. Зингер тоже уезжает. Айседора, дети и Энни Сим садятся в лимузин. Едут в Нейи. Айседора выходит у дома 68 по улице Шово и поручает шоферу отвезти Дирдрэ, Патрика и няню в Версаль.

— До свидания, малыши, я приеду к ужину, сегодня у меня нет спектакля, — говорит она, целуя детей.

Начинает накрапывать дождь, и мисс Сим поднимает стекла в машине, чтобы не было сквозняка. Дирдрэ прикасается губами к стеклу заднего окна. Айседора наклоняется и целует холодное стекло там, где изнутри прикоснулись губы дочки. Машина трогается, дети машут рукой. Она, улыбаясь, отвечает им широким взмахом руки и уходит в студию. До репетиции есть еще четверть часа. Она хочет прилечь отдохнуть, поднимается в свою комнату и ложится на диван. На столике рядом с диваном букет и коробка конфет, присланные каким-то поклонником. Она кладет в рот конфетку, лениво потягивается, а сама думает о разговоре с Зингером: «Теперь все будет хорошо. Начинается новая жизнь. Чего еще можно желать! Да, это и есть счастье». Незаметно она засыпает.

Сколько времени она спала? Час? Полтора? Два? Когда Скенэ пришел на репетицию, горничная не решилась будить ее. «Мадам спит. Она очень устала, — сказала она. — Начинайте работу с мадемуазель Элизабет и с учениками. Она подойдет позже».

Айседора с трудом открывает глаза, смотрит на часы. Из зала, снизу, слабо доносятся звуки рояля. Вдруг она слышит под окном визг тормозов. На лестнице слышны торопливые шаги, они приближаются, дверь с шумом распахивается. Комнату наполнил крик. Дикий, нечеловеческий крик:

— Айседора!

Она вскакивает. Зингер падает у ее ног.

— Что случилось? Отвечайте! Что случилось?

— Айседора! Дети!..

— Что дети? Отвечайте ради бога, отвечайте!

— Айседора, дети погибли.

Какая-то бессмыслица… Бессмысленные слова. Погибли? Только что она их проводила, только что, на улице, у тротуара… Они в Версале, с Энни… Они спокойно ждут ее… А в голове, как эхо, неумолимо звучит слово: «Погибли… погибли… погибли… погибли…» Это абсурд! Дети никогда не погибают. Они не могут

погибнуть. Зингер сошел с ума. Не понимает, что говорит. Она тупо смотрит на него. Его глаза полны слез. Никогда она не видела его плачущим. Какой глупый вид у плачущего мужчины, будто гримасничает, как состарившийся ребенок. Ей хочется рассмеяться. Но эхо вновь проснулось и, как набат, повторяет это холодное слово: «Погибли…» Потом всплывает в памяти вся фраза, четко, словно она читает написанное: «Дети погибли…»

И вдруг смысл этих слов взрывается бомбой в ее сердце. «Их нет… Никогда, никогда… Не увижу их…»

Ее молчание для Зингера тянется вечность. Айседора не спускает с него глаз, широко раскрытых, непонимающих. Не желающих понять. Отказывающихся поверить. Вся она — огромный жалобный вопрос. Чтобы прервать невыносимое молчание, Зингер рассказывает о случившейся катастрофе.

Лимузин свернул с улицы Шово на набережную. На углу с бульваром Бурдон появилось такси, несущееся наперерез с огромной скоростью. Чтобы избежать столкновения, шофер резко затормозил, и мотор заглох. Он выскочил из машины, чтобы завести мотор ручкой, но не поставил на тормоз. Он еще не успел сесть обратно в машину, а она покатилась по улице к берегу Сены, где не было парапета. Шофер пытался догнать машину, но колеса уже ушли в реку. Вместо того чтобы позвать на помощь, он повалился на мостовую и начал биться головой о камни. На помощь позвали прохожие. Машину отнесло течением далеко от места падения, и понадобилось не меньше полутора часов, чтобы вытащить пострадавших на поверхность. Дети и няня были доставлены в Американский госпиталь, и дежурный врач тщетно пытался вернуть их к жизни. Вечером их тела перевезли на улицу Шово.

На следующий день новость о несчастье появилась в газетах, вызвав живой отклик в обществе. С утра в адрес Айседоры стали поступать телеграммы соболезнования. Дузе, Луи Барту, Морис Метерлинк, Сесиль Сорель, Поль-Бон-кур, Жюль Кларети, Габриэль Пьерне, Фредерик Массой и многие другие выражали ей сочувствие, а Гастон Кальметт, издатель «Фигаро», и Антуан Бурдель, близкие друзья семьи, приехали лично засвидетельствовать сочувствие Айседоре. Она приняла их с невиданной выдержкой, вся погруженная в свое горе.

Через день состоялись похороны. В ночь накануне студенты Академии изящных искусств покрыли сад Айседоры белыми цветами, от земли и до верхушек деревьев. «Как в волшебном саду», — сказала она поутру. Несмотря на настояния друзей, она отказалась хоронить детей в землю. Пришел кюре Нейи, чтобы убедить ее в необходимости отслужить панихиду в церкви, но она

сказала:

— Сожалею, господин аббат. Я — язычница, родила детей вне брака, отказалась их крестить и отказываюсь их хоронить по христианскому обряду. И я увижу моих крошек не на ваших небесах, а в каждом прекрасном пейзаже, подаренном природой, в каждом благородном жесте человека, во всех великих его творениях. Души моих детей вечно будут жить в лучах утреннего света.

Было решено, что Дирдрэ, Патрик и их няня будут кремированы. Айседора отказалась от черного крепа, похоронных венков и траурных одежд. Она сама надела простую белую тунику, как всегда, покрыла голову и плечи большой шалью. По дороге в крематорий она с силой сжимала руку Мэри Дести и повторяла: «Главное — не плакать, Мэри, главное — не плакать. Смерти нет».

Все последующие дни она сидела дома, никого не принимала и ни с кем не разговаривала, даже с ученицами, в которых она видела горький отблеск живого образа ее собственных детей. Из своего дома в Нейи она выходила только для долгих пеших прогулок вдоль Сены. Опасаясь, что она может покончить с собой, за ней повсюду, как тень, ходил ее брат Раймонд. А вернувшись домой, она часами молча сидела в кресле, не двигаясь, с остановившимся взглядом. Как угрызение совести, память ей сверлило воспоминание о словах, сказанных няней Энни Сим в Версале в то трагическое утро: «Кажется, погода меняется… Было бы лучше остаться сегодня дома».

Лоэнгрин слег на следующий день после похорон. Что касается Гордона Крэга, оповещенного телеграммой в день смерти дочери, то он ограничился ответной телеграммой из Флоренции, где работал над спектаклем для театра Гольдони: «Не отчаивайся и не теряй мужества. Они обрели вечное блаженство. Не сомневайся».

Раймонд Дункан и его жена Пенелопа были самыми верными помощниками Айседоры в эти трагические часы и дни. Рядом с ней были также Элизабет и Августин. Так, спонтанно, воссоединился «клан» вокруг одного из своих членов, которого постигло несчастье. Раймонд, по-прежнему одержимый античностью, незадолго до несчастья решил поехать в Албанию, помогать греческим беженцам. После Балканской войны турецкая армия оставила эту страну в состоянии полной разрухи. Многие деревни были разорены, дети умирали от голода. Убежденный, что сестра забудет свое горе при виде такого массового бедствия, он предложил ей поехать с ним. Сперва она отказалась:

— Я никому не могу быть больше полезной. Жду только

смерти.

— Ты не имеешь права так говорить, — возражал Раймонд. — Подумай, сколько людей там страдает, матери с голодающими детьми на руках. Турки убили их мужей и братьев, сожгли их дома, угнали скот, уничтожили урожай на корню. Нельзя оставаться безразличной, пережевывая личное горе. Надо спасать людей, ты можешь им помочь. Поедем с нами.

В конце концов Айседора согласилась и поехала на остров Корфу[34] с братом и невесткой.

Раймонд не преувеличил. Он даже недооценил бедствие. Нищета, царящая в лагере беженцев Санта-Каранта, невообразимая. Впервые в жизни видит Айседора женщин, стариков и детей, умирающих от голода. Забывая о себе при виде этих несчастных, она закупает и раздает пищу и медикаменты, палатки и другие временные жилища, вместе с Раймондом организует прядильный и ткацкий центр, где женщины могут заработать в день драхму, прядя шерсть на станках, изготовленных местным умельцем. В качестве образца тканей Раймонд предлагает изображения на древних греческих вазах. Женщины ткут одеяла, которые Дунканы продают затем в Лондоне, получая пятидесятипроцентную прибыль, благодаря которой они кормят целые деревни.

Постепенно Айседора приобщается к простым вещам, от которых давно отвыкла: вставать с восходом солнца, купаться в море, бегать по берегу босиком, с распущенными волосами, чувствовать, как струи дождя бегут по всему телу.

Однажды она схватила большие ножницы и, отрезав свои волосы, бросила их в морские волны.

ГЛАВА XVI

— Не могу я видеть столько страданий. У меня нет призвания к святости. Эти многокилометровые походы пешком меня изматывают. Что, если мы вдвоем совершим побег в Константинополь?

— Я бы с удовольствием, — соглашается Пенелопа, — но что скажет Раймонд?

— Не беспокойся, это я беру на себя.

Вот уже месяц, как она на острове Корфу. Поначалу работа ее увлекла, она самозабвенно погрузилась в благородную и трудную задачу, забывая о себе, о том, для чего жила до сих пор. Даже танец виделся ей сквозь некий ореол, как нечто дорогое, но сохранившееся лишь в воспоминаниях, как пожелтевшие фотографии. Она полагала, что больше никогда не будет танцевать, что сможет протянуть руки только в жесте отчаяния.

Вспоминая трагедию 19 апреля, она спрашивала себя о собственной ответственности. Не совершила ли она ошибку, доверив воспитание своих детей посторонним людям? Но могла ли она поступить иначе, если вся жизнь ее проходила в поездках? Не следовало ли именно в тот день оставить детей с собой? Так ли поступила бы настоящая мать? Не было ли для нее материнство лишь эстетическим украшением жизни? Крэг часто упрекал ее, говоря, что она забывает свои материнские обязанности, ведя артистический образ жизни. Она не соглашалась с ним, пока дети были рядом. Но теперь к ее горю прибавилось чувство собственной вины.

Вместе с тем, по мере того как продолжалась ее миссия в Албании, ей все больше хотелось вырваться из окружавшего ее мира несчастий. Бежать. Как можно дальше. Прочь от ежедневного ужаса голода и смерти. Вернуться, хотя бы не полностью, в прежнюю жизнь, туда, где искусство, танец и, может быть, любовь… Освободиться. Порвать нити, связывающие ее с беженцами. Жалость к ним помогла ей вынести свое собственное горе, но теперь это чувство запирало ее в адский замкнутый крут. Надо было вырваться из него любой ценой, иначе она могла потерять себя навеки.

После краткого пребывания в Константинополе Пенелопа вернулась в Албанию, а Айседора направилась в Триест, где ее ожидала машина с шофером. Оттуда она поехала в Париж, по дороге побывав на берегу Женевского озера. Больше всего она опасалась возвращения в свою студию в Нейи, которая стояла пустая со дня отъезда хозяйки. Она оттягивала срок возвращения,

продлевала свое пребывание в каждом городе и деревне, через которые проезжала. Но вот шофер доставил ее к калитке на улице Шово, она пошла по аллее, ведущей к большому дому с закрытыми ставнями. Она вошла в студию, погруженную во мрак и тишину, увидела голубые занавеси, рояль, покрытый тонким слоем пыли, туники учениц, валявшиеся на полу тамбурины и гирлянды увядших цветов. Поднялась на второй этаж. Звук ее шагов гулко раздавался в пустых коридорах. Она вошла в свою спальню и, не снимая пальто, села на диван рядом со столиком, где по-прежнему лежали конфеты и пачка сигарет. Машинально взяла одну, закурила, откинулась на спину, сделала несколько затяжек. И не заметила, как по щекам потекли слезы. Впервые она оплакивала смерть своих детей.

Вернувшись в холл, где лежал ее багаж, она почувствовала себя пассажиркой, потерявшейся на перроне вокзала, и поняла, что воспоминания стали неотделимы от этих стен и выгоняют ее из дома. Она не стала разбирать вещи, а позвонила верному Генеру Скенэ, — как взывают о помощи, — ибо не могла больше выносить этого тяжелого молчания умолкших голосов, этого дома, населенного дорогими ей тенями. В тот же вечер она уехала в Италию вместе с молодым пианистом.

Венеция, потом Римини, Флоренция, где уже давно обосновался Крэг, с которым она даже не захотела встречаться. И, наконец, побережье Италии, где она получила телеграмму от Элеоноры Дузе: «Айседора, я знаю, что вы путешествуете по Италии. Приезжайте ко мне. Я сделаю все, чтобы утешить вас». Телеграмма отправлена из Виареджо — курортного городка, где поселилась недавно великая актриса. Не из-за бурного романа с д'Аннунцио, как об этом многие говорили, и не по состоянию здоровья, а потому, что предпочла уйти со сцены, но не играть в спектаклях, ее недостойных. Она поселилась в розовой вилле посреди виноградника.

По совету Дузе Айседора арендовала большой кирпичный дом в глубине сосновой рощи, за высоким каменным забором. Здание слишком велико для нее. В нем не менее шестидесяти комнат, а наверху — огромный балкон, выходящий с одной стороны на море, а с другой — на горы. У дома мрачный вид. Говорят, что внебрачный сын императора Франца-Иосифа, когда сошел с ума, прожил здесь долгие годы взаперти в узком застенке, под самой кровлей, с зарешеченным окошком. Стены этой комнаты до сих пор хранят рисунки, рожденные больным воображением несчастного. По словам местных жителей, в двери камеры было проделано отверстие, через которое ему передавали еду, когда он стал буйным и опасным для окружающих.

Однако Айседору устраивает это неудобное и мрачное жилище, которое она вскоре переоборудует, чтобы придать ему привычный вид. Во-первых, нужен хороший рояль для Скенэ, ведь со времени возвращения из Албании ей очень хочется вновь заняться танцем. Постепенно предметы словно сами по себе оказываются в самых неожиданных местах, отчего вокруг Айседоры, где бы она ни находилась, устанавливается типичный для нее беспорядок, как на поле боя. В номере гостиницы или на даче, в каюте парохода или в вагоне поезда — закон хаоса срабатывает повсюду. Через какое-то время, в зависимости от размеров, ее жилище теряет свой первоначальный вид и принимает тот образ, который соответствует нраву хозяйки. Комната Айседоры больше всего напоминает скопление предметов, уцелевших после кораблекрушения. Научные книги валяются рядом с тамбуринами, украшенными лентами, с пустыми бутылками из-под шампанского, с шелковыми вышитыми шалями, с фотографиями, письмами, газетами и журналами. Все это образует на полу множество небольших кучек. Непривычный глаз не сумеет увидеть хоть какой-то логики. На самом деле этот кажущийся беспорядок подчиняется строгим и неисповедимым законам.

Итальянцы говорят: «наша Дузе», как говорят «наша Мадонна», с таким же чувством поклонения и фамильярности одновременно. Местоимение «наша» отражает уникальный и почти священный характер этой неповторимой актрисы, к тому же исключительной женщины. Если бы она не была страстно влюблена в театр, она наверняка была бы одной из великих исторических деятельниц. Дузе — полная противоположность Саре Бернар, с которой некоторые упорно сравнивают ее. В Дузе не было ничего от параноического самолюбования, когда крайней экстравагантностью пытаются вызвать восхищение глупцов. Одним словом, ничего от насквозь фальшивого мира театра, ни в образе жизни, ни в мировоззрении.

Несмотря на свои пятьдесят с лишним лет, она не носит корсета, не боится показать свою полнеющую фигуру, не признает косметики и крашения волос, морщины придают ее лицу сходство с трагическими масками из пьес Эсхила. Отказываясь от модных костюмов и побрякушек, она носит черные платья, словно купленные на рынке в Сицилии. Одежда полнит ее и вечно свисает с одного бока. Ее можно было бы принять за крестьянку из Абруцц с крупными благородными чертами лица, если бы не глаза: они смотрят словно из океана всепрощения, добрые и трогательные, как молитва о безутешном горе людском.

Великая итальянка смотрит на себе подобных глазами

философа, воспитанного на идеях Платона, Данте и Фомы Аквинского. Преисполненная глубокого и истинного великодушия скорее интуитивно, чем в силу христианской благотворительности, она знает, что забвение смягчает боль сердца, но никогда не излечивает полностью. Не боясь растравить раны, она просит Айседору рассказывать ей о своих детях, рассказывать долго, не упуская деталей, чтобы освободить ее от самых мрачных мыслей.

Особенно Айседору завораживает способность Дузе предсказывать события, дар прорицания. Однажды во время сильной грозы, в момент, когда молния осветила бушующее море, она вскрикнула, указывая на точку у горизонта:

— Смотрите, там сверкают глаза Шелли. Вон он блуждает по волнам. Вы его не видите?

В другой раз, во время их прогулки вдоль берега, она резко обернулась к Айседоре, долго смотрела на нее странным взглядом и, тронув пальцем между глазами, хрипло сказала:

— Айседора, не старайтесь стать вновь счастливой. У вас на лбу клеймо несчастья. То, что случилось — лишь начало. Не испытывайте больше судьбу.

И все же в своем большом и печальном доме Айседора вновь занялась танцем. Каждый день, под аккомпанемент Скенэ, она работает над сонатами Бетховена. Время от времени Элеонора приходит приободрить ее.

— Возвращайтесь к вашему искусству, — говорит она ей. — Это единственное ваше спасение.

Но Айседоре это кажется невозможным.

— Я никогда не смогу вновь танцевать на публике. У меня не хватит ни сил, ни мужества. Как можно передать счастье другим, когда самому совсем не хочется жить?

— Вы не правы. Желание жить вы получите только от публики. Вам стоит шевельнуть пальчиком, и контракты посыплются дождем. Не сомневайтесь. Принимайте предложения. Поезжайте. Бегите от печали и скуки.

В виллах закрывали ставни, одну за другой. До следующего сезона. На пляже стали редкостью полосатые бело-зеленые тенты. Отель «Белла-Виста» с ротондой, нависающей над берегом, напоминает выброшенные морем останки корабля. Гуляющих вдоль берега становится все меньше.

Однажды во второй половине дня Айседора, как обычно, вышла одна на прогулку. Она шла босиком по влажному песку, смотрела на линию горизонта, где облака сливаются с морем. В памяти всплывал другой пляж, под другими небесами, в другие, такие далекие времена: Нордвик, низкие тучи, словно на

картинах фламандских мастеров, вилла «Мария» среди дюн и глухие удары в ее чреве, предвещающие близкое рождение Дирдрэ.

Каждую ночь ей снятся крепко обнявшиеся дочь и сын. И вот они вдруг появляются перед ней. Вон там… в нескольких метрах… они играют на песке. Она их видит. Это они. Вечернее солнце пламенеет в их светлых волосах. Она зовет их. Слышит, как ветер уносит голос ее: «Дирдрэ!.. Патрик!..» Они повернули к ней свои розовые лица. Она бежит к ним с протянутыми руками… И падает ниц, лицом в песок, не в силах удержать рыдания. Вдруг чувствует, как чья-то рука касается ее головы, ласково гладит по волосам. Значит, это не мираж! Они живы! Это они!

Перед ней молодой мужчина. Ветер колышет его широкую белую рубаху. Он опускается на колено, приподнимает подбородок Айседоры, ласково смотрит в ее голубовато-зеленые глаза, затуманенные слезами. Тихим и нежным голосом спрашивает по-итальянски:

— Почему вы так горько плачете? Могу ли я что-нибудь сделать для вас? Чем-нибудь помочь?

— Да, спасите меня. Спасите мне жизнь. Спасите рассудок. Дайте мне ребенка.

В ту ночь, когда с высоты своей виллы она увидела восход луны, залившей горы волшебным светом, почувствовала рядом со своим телом тело молодого незнакомца, когда губы их соединились и долгожданное семя жизни вновь потекло в ее теле, она почувствовала, что выходит на свет после долгого пребывания в царстве тьмы.

Время близилось к ноябрю. Дузе вернулась во Флоренцию, Айседора же поехала в Рим, где Скенэ уже несколько дней поджидал ее. Она выбрала именно Рим, потому что ей нравились печальный характер его руин и чистота предвечернего голубого неба, в котором веет ветер надежды. Надежды найти умиротворяющую гармонию между прошлым и настоящим, между смертью и обновлением, верой и неопределенностью, между свидетельствами исчезнувшего мира и пробуждением вечного возрождения.

Однажды, вернувшись с прогулки, Айседора находит в гостинице телеграмму от Зингера, он умоляет ее вернуться к нему в Париж. «У меня созрел великолепный проект для вас», — писал он. Телеграмма сначала удивила ее, ведь от него не было вестей со времени ее отъезда в Албанию. Потом она обрадовалась, ей захотелось вновь увидеть его, но к этому примешивалось опасение: за восемь месяцев, прошедших после смерти детей, она изменилась, располнела, перестала следить за

собой, она боялась, что Лоэнгрин разочаруется, хотя и скроет это от нее. В ее душе поселилось сомнение. Больше всего ее беспокоит приключение в Виареджо. Как признаться в этом Лоэнгрину? Как объяснить ему ее безумное поведение? Дузе, та вполне допускала, что прекрасный незнакомец появился из моря, чтобы утешить ее. Сама пребывая в мире необычайного, она ничему не удивилась: ни чудесному появлению юного Адониса, ни невероятной просьбе Айседоры. Ибсен или д'Аннунцио могли бы представить себе все это. А значит, ничто не мешало этому произойти, ведь действительность существует лишь в воображении поэта. Но как отнесется ко всему этому Лоэнгрин, человек, далекий от творчества и так часто поражавшийся «экстравагантностям» Айседоры? Опять назовет ее сумасбродкой, бросившейся в объятия незнакомца. Он никогда не поймет чудесной тайны этого приключения, очаровательного инстинктивного порыва к жизни. Но было нечто, в чем ей еще труднее признаться и о чем она только что сама узнала. Ее вызов судьбе принес плод, на который она так надеялась: ребенка, о котором она просила и который начал шевелиться.

Генер Скенэ убедил ее в конце концов:

— Вы еще слишком молоды, чтобы отказываться от своего творчества. Вспомните, что говорила Элеонора. Подумайте об искусстве и о том, что вы способны привнести в мир. Не забывайте о вашем призыве к любви и миру. Никогда он не был еще так востребован. В Париже вы принесете больше пользы, чем здесь, вы вновь будете танцевать и обучать танцу…

Зингер снял для нее в гостинице «Крийон» апартаменты, куда он велел принести огромные венки от Лашома. «Да, мне следовало этого ожидать», — подумала она, глядя на эти цветочные излишества. Он оставил ей записку, что придет за ней, чтобы вместе пойти пообедать. В ожидании его она вышла на балкон и оперлась на парапет. У ее ног бурлила площадь Согласия с нескончаемой каруселью автомобилей. Один из них, словно величественный корабль, сверкающий черным лаком, не спеша подъезжает к отелю. Из него выскакивает шофер в белой ливрее и голубой фуражке и проворно открывает дверцу. Выходит Лоэнгрин. Айседора замечает: по-прежнему строен, только чуть-чуть полысел.

Через полчаса они сидят рядом за столиком в ресторане Ларю.

— Я так боялся, что никогда вас не увижу. Спасибо, что откликнулись на мой призыв, — сказал он, когда прошел первый момент смущения, неизбежного после долгой разлуки. — Дора, я должен вам сказать… За эти восемь месяцев дня не прошло,

чтобы я не думал о вас. Ведь вы так страдали! Да и я тоже… Это было ужасно! Я был тяжело болен. Повторилось воспаление легких. На этот раз я был уверен, что не выкарабкаюсь. Теперь все в прошлом… Вы здесь, рядом со мной, и это главное. Я уверен, что мы можем начать все сначала, на новой основе… Но поговорим об этом позже…

И тут же, с ходу, как мальчишка, которому не терпится раскрыть свой секрет, говорит:

— Прежде всего я должен сообщить вам важную новость. Помните, я писал в телеграмме о проекте?.. Дора, вы слушаете меня?

— Ну да, конечно… Да, отлично помню.

— Так вот, Дора, у меня для вас приготовлен великолепный сюрприз. Мечта вашей жизни исполнится. В прошлом месяце было объявлено, что замок Бельвю, в Мёдоне[35], выставлен на продажу. Это огромное здание, окруженное парком. Я купил его… для вас.

— Для меня?

— Чтобы вы устроили там свою школу танца. Вы сможете принять там хоть тысячу детей, если захотите. И на этот раз никто не посмеет выгнать вас оттуда, уверяю вас… Дора, вы молчите…

Она действительно не знала, что сказать. Только тихо проговорила:

— Но, Лоэнгрин… Почему?.. Почему?..

— Потому что только так я могу сделать для вас хоть что-то, чтобы вы могли забыть свое горе… И потому что… Несмотря на все, что произошло между нами… я люблю вас, Дора. И никогда не переставал любить.

Она смотрела на него глазами, полными слез.

— Лоэнгрин, милый Лоэнгрин, вы настоящий сказочный рыцарь… Но я не могу это принять.

— Почему?

— Не возражайте. Я не могу принять от вас ничего. Ни Мёдон… ни апартаменты в отеле «Крийон»… ни даже цветов… Ничего!.. Ничего!..

— Но почему, Дора? Объясните!

И она все ему рассказала. Про Виареджо и галлюцинации, про юного итальянца, явившегося словно из моря, про ребенка от него…

Зингер слушал молча, уставившись в тарелку. Когда она кончила, медленно поднял глаза на нее:

— Дора, бедная моя Дора… Казалось, он колебался.

— Но почему… почему не я?

— Вы были слишком далеко… А я так боялась… Мне казалось, я лишаюсь рассудка… И потом, между нами всегда был бы Патрик…

Ее прервал метрдотель, подошедший с меню.

— Еще бутылку шампанского, — заказал Зингер.

Когда шампанское принесли, он взял руку Айседоры и сказал, подняв бокал:

— Прошу вас, выпьем вместе за будущее, за ребенка, который родится, за вашу школу… Мы назовем ее Храм Танца будущего. Согласны?

Утром следующего дня он повез ее осматривать замок Бельвю. Огромное здание состояло из центрального корпуса и двух боковых крыльев, выдвинутых вперед, наподобие Большого Трианона[36]. Оно было построено на холме Мёдон около 1880 года неким богатым негоциантом, который разорился и через двадцать лет продал его под гостиницу. Перед зданием был разбит парк во французском стиле, откуда открывался вид на Париж. А вокруг сады ступенями опускались к Сене. Айседора осмотрела заброшенные залы первого этажа, поднялась на верхние этажи, заглянула в несколько комнат, прошлась по бесчисленным коридорам и только через два часа вернулась в исходный пункт, откуда начала осмотр. Действительно, там можно было свободно разместить двести — триста детей и оборудовать несколько студий. Но все надо было переделывать. Обои жалобно свисали со стен, краска облупилась, сантехника была допотопная.

Через неделю бригады плотников, слесарей, маляров и обойщиков принялись за работу под руководством новой хозяйки. Бывшая столовая замка будет преобразована в зрительный зал для демонстрации танцев. Будут сооружены эстрада и ступенями поднимающиеся ряды для зрителей. За два месяца работа продвинулась настолько, что можно было говорить о скором открытии школы. Организованы конкурсные вступительные испытания для отбора пятидесяти учениц. Для них заказана одежда: белая туника до колен и разноцветная накидка. Забывая об усталости, о беременности, Айседора с головой окунается в преподавательскую деятельность. Раз в неделю, по субботам, с одиннадцати утра до часу дня в зале танца проводится открытый урок, главным образом для друзей, артистов и музыкантов. Роден, живущий теперь весь год на даче в Мёдоне, часто заходит по-соседски и делает наброски детей, занимающихся упражнениями.

— Если бы у меня были такие модели, когда я был молод! — говорит он со вздохом Айседоре. — Модели, чьи движения в

полной гармонии с природой… Правда, у меня были великолепные натурщицы, но они не умели двигаться, как двигаются ваши ученицы.

Порой оба улыбаются, вспоминая забавный эпизод пятнадцатилетней давности.

— Вы, должно быть, нашли меня смешным, — с беспокойством спрашивает старик.

— Что вы! Наоборот, это я была идиоткой… Вы знаете, я много раз жалела потом…

— А я ни о чем не жалею. У меня сохранились наброски вашей фигуры, сделанные тогда с натуры. Временами я рассматриваю их. Как-нибудь сделаю по ним статуэтки.

13 июня 1914 года Айседора показала своих учениц на гала-спектакле в «Трокадеро». Публика была в восторге. По окончании представления зал стоя скандировал ее имя, и ее появление на сцене было встречено бурными аплодисментами. И действительно, горячий прием оказали не столько неопытным танцовщицам, сколько искреннему звучанию любви и гуманизма, которым было проникнуто действо. Аплодировали ее пацифистским идеям, ее неустанным призывам к братству и единению людей, духовной концепции танца этой артистки — поборницы любви. Даже те, кто не разделяет ее взглядов (добропорядочные буржуа и католики-реакционеры), преклоняются перед ее мужеством и приветствуют ее стойкость. Но те, кто аплодирует сейчас идиллической картине танцующих детей — символу миролюбия, еще не подозревают о приближении трагических событий в мире.

В начале лета 1914 года Париж беспечно предавался мечтам. Париж прихорашивался. Париж развлекался. В театрах — бесплатные утренники и балы под фонариками на всех площадях, улицах и перекрестках. Все танцуют «жава». Впервые появляется танго. В воскресенье, 28 июня, в парке Принцев начались велосипедные гонки «Тур де Франс». В тот же день состоялся парижский Гран-При на ипподроме в Лоншане.

Погода стояла великолепная. «Глаз радуется, щедрое солнце, жара, ослепительный свет, пыль от копыт, всеобщее оживление», — писал репортер в «Жиль Блас». По-прежнему Пуаре — законодатель мод. Женщинам надлежит носить глубокие декольте с утра, а не только по вечерам. Мужчинам предписывается носить короткий приталенный пиджак, серые гетры, напомаженные, гладко зачесанные волосы. Смотрят с легкой иронией на туалеты модниц, восхищаются великолепным видом двенадцати коней, участвующих в соревновании. Всеобщее

внимание вызывает появление президента Пуанкаре, бурными аплодисментами встречают победу Сарданапала, принадлежащего барону Морису де Ротшильду. Во всеобщем ажиотаже никто не заметил, как удалился с ипподрома посол Австро-Венгрии. Ему только что сообщили об убийстве в Сараево наследника престола, эрцгерцога Франца Фердинанда и его морганатической супруги.

25 июля людей охватывает беспокойство: Сербия и Австрия объявили мобилизацию. Германия готова начать войну? Вопрос неясен. На следующий день Россия приводит войска в состояние боевой готовности. Великобритания и Италия предлагают свои услуги в качестве посредников. Из-за нависшей угрозы войны в газетах отодвинулись на вторую полосу сообщения о процессе над мадам Кайо, убившей пятью выстрелами издателя газеты «Фигаро» Гастона Кальметта, одного из близких друзей Айседоры. Биржа в панике: рента упала на 3,5 процента.

Националисты потрясают боевыми знаменами: «Стихия бушует, но корабль наш прочен, и каждый на своем посту. Поднять флаг!» «Война — священный долг», — надрывается передовица в «Лантерне». «Да здравствует армия, да здравствует Франция!» — захлебываются члены Лиги патриотов.

В другом лагере проходят митинг за митингом, распевают «Интернационал», объявляют «войну войне». Жорес призывает к народному разуму, Клемансо публикует передовицу под заголовком «На краю пропасти», а «Борьба профсоюзов» бросает клич: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Вечером 31 июля, после десяти часов, распространился слух, поверить которому было трудно: «Убили Жореса!» Он ужинал в кафе «Круассан», в двух шагах от редакции его газеты «Юманите», сидя спиной к открытому окну, выходившему на улицу. Рука с револьвером откинула муслиновую занавеску. Среди всеобщего шума раздались два выстрела.

Последний оплот антимилитаризма пал. Отныне начинается бег к пропасти. 2 августа, в воскресенье, объявлена всеобщая мобилизация.

В тот же день, рано утром, у Айседоры начинаются схватки. Ничего не приготовлено. Накануне она уехала из Мёдона в отель «Крийон». Вызванный срочно доктор Боссон не может к ней приехать: он мобилизован в армию. К счастью, рядом с ней Мэри Дести, она умоляет Айседору не выходить из отеля, пока не найдет врача. «Об этом не может быть и речи, — отвечает та. — Я пойду вместе с вами». И вот они едут в машине по Парижу, украшенному, как в национальный праздник. На тротуарах — толпы мобилизованных. Тысячами направляются они на

Восточный вокзал в сопровождении семей. Все кричат: «На Берлин!», «Мы им покажем!» На бульварах, в пивнушках музыканты играют «Марсельезу» и «Походный марш», а толпа подхватывает и поет хором. Из окон барышни и дамы приветствуют пехотинцев в серо-голубых шинелях и форменных красных брюках. Им бросают цветы, пачки сигарет, машут флажками. Со всех церквей столицы слышится набат колоколов.

Лимузин с трудом прокладывает дорогу через скопление повозок, грузовиков и автомобилей, реквизированных для армии. В первом родильном доме Айседору, корчащуюся от боли в машине, принять не могут. Во втором соглашаются впустить ее, но помочь не в силах, так как все врачи ушли на фронт. Надо ждать несколько часов, быть может, до следующего дня, пока не организуют родильное отделение. Ждать невозможно. Теряя последние силы, Айседора виснет на руке Мэри, чтобы подняться на крыльцо третьего роддома. Только вошли в лифт, Айседора издает ужасный крик:

— Нет, не здесь! — умоляет она. — Отвезите меня в Бельвю!

— Это невозможно, Дора. Выезд из Парижа охраняется. Нас не пропустят.

— Все равно. Я скорее умру в автомобиле, чем в этой ужасной больнице. Шофер, срочно едем в Мёдон!

У ворот Сен-Клу машину останавливает первый пост вооруженных солдат. Офицеру кажется подозрительным иностранный акцент этих женщин, и он сверхбдительно проверяет их документы. Смотрит и так, и этак, по десять раз задает одни и те же вопросы, тщательно обыскивает всю машину. Мэри пытается объяснить ему, что перед ним знаменитая танцовщица Айседора Дункан, что она вот-вот родит, ей надо срочно добраться до ее дома в Мёдоне, что жизнь ее в опасности. Офицер скептически выслушивает, сомневается, тянет, заставляет подписать протокол и в конце концов пропускает. Но не проехали они и пятисот метров, как Мэри видит вдали второй пост. Приказывает шоферу проскочить его на полном ходу, не обращая внимания на приказ остановиться. Лимузин проносится перед носом часовых, они подают сигнал тревоги. Как только машина оказалась вне пределов досягаемости солдат, Мэри выходит и начинает искать врача.

Не без труда удается найти врача-акушера. Он приходит как раз вовремя и принимает ребенка, после чего срочно исчезает, оставив на месте медсестру. Айседора, без ума от радости, может наконец прижать к груди мальчика. Но… что это?

— Ребенок странно себя ведет, — испуганно говорит она. — Смотрите, Мэри: он неподвижен… Ему трудно дышать.

Позвали медсестру:

— Легкие не расширяются. Нужен кислород.

Найти кислород вдали от больниц, в такой день!.. Звонят Зингеру, тот ставит на ноги весь Париж. Когда, менее чем через час, он приезжает с кислородом и врачом, уже поздно.

Сидя у окна, закрыв глаза, Айседора баюкает мертвого младенца. А вдали слышится пение марширующих новобранцев:

На войну, на войну, на войну!
На войну идти нам пора!

ГЛАВА XVII

Для Айседоры настали мрачные времена, такие же трагичные, как после гибели Дирдрэ и Патрика. Она все чаще вспоминает предупреждение Дузе: «Не ищите больше счастья… Никогда не испытывайте судьбу». Нельзя сказать, что она искренне верит в предсказания итальянской актрисы. Но ей легче смириться с неумолимой фатальностью, чем с произволом абсурда.

Что теперь делать? По сравнению с войной, с ее жертвами и страданиями горе Айседоры — капля в море. Что такое смерть новорожденного, когда столько семей оплакивают гибель сына, брата или мужа? Что такое горе одной матери по сравнению со страданиями всего народа? Имеет ли она право стенать, когда миллионы людей каждый день рискуют жизнью?

Она кусает себе губы, чтобы не крикнуть: «Какое мне дело до вашей войны! Не я ее развязала! Всю жизнь я выступала за мир и любовь, призывала к ним своим искусством. Так что дайте мне оплакать мое дитя». С каждым днем она чувствует себя все более чужой среди народа, охваченного страхом и безразличного ко всему, что не касается войны.

Она понимает, что ей нечего больше делать в этом городе, думающем только о том, что происходит там, на фронте. Искусство? Танец? Какое значение они имеют сегодня? Они так же ничтожны и бесполезны, как музыка, поэзия, литература. И даже больше того: заниматься ими сегодня — измена, ибо все, что не служит священной защите матери-родины, направлено против нее. А ей приходится сдерживаться, чтобы не крикнуть: «Искусство важнее, чем отечество! Важнее самой жизни!»

К счастью, ее ученицы, среди которых пять или шесть немок, в безопасном месте. Еще во время летних каникул, в начале июля, Зингер пригласил их в Девоншир. А она, сразу после объявления всеобщей мобилизации, решила отдать свой дом в Бельвю французскому правительству, чтобы там организовали военный госпиталь, — единственный способ сделать полезное дело.

За три первые недели войны немецкие войска захватили Бельгию. К 23 августа они прорывают оборону у Шарлеруа, а на следующий день вынуждают англичан оставить Монс. Дорога на столицу открыта. За следующие двенадцать дней немцы продвигаются почти на двести двадцать километров из двухсот семидесяти, отделяющих Париж от границы. Конечно, населению не сообщают всего масштаба бедствия. Впрочем, некоторые замечают, что «поражения» немцев, празднуемые во французской

прессе, происходят все ближе к столице. Но вот в коммюнике от 28-го сообщается, что «наша линия обороны простирается от берегов Соммы до Вогезов», и этим приподнимается завеса маскировки. Уже не могут скрыть, что Парижу угрожает опасность. 29-го в столице слышна далекая канонада.

А 30 августа, в двенадцать тридцать пять, шум мотора в небе столицы заставляет всех поднять головы — это аэроплан «Таубе»[37], напоминающий птицу. Он сбрасывает пять бомб на улицу Реколе и набережную Вальми. Там они причинили небольшой ущерб, а вот на улице Винегрие убило старушку (об этом не сообщалось в прессе). Был сброшен также мешок с песком с привязанной к нему запиской: «Германская армия у ворот Парижа. Сдавайтесь. Лейтенант фон Хайдсен». Мальчишки подобрали записку и отдали полицейскому, а тот составил рапорт «по поводу мусора, брошенного с аэроплана неизвестным лицом на проезжую часть в нарушение распоряжения господина префекта».

2 сентября немцы вошли в Санлис, что в тридцати восьми километрах от Парижа. Начинается паническое бегство. В ту же ночь правительство эвакуируется в Бордо. Генерал Гальени обещает оборонять столицу «до конца», но тысячи французов уже наводнили все дороги, покидая обреченный город. Айседора едет в Довиль[38].

За неделю перед этим штабные офицеры предложили ей осмотреть госпиталь, оборудованный в Бельвю. Ужасное зрелище! В зале для показа танцев выстроены больничные койки, и над каждой — черный крест с распятием. Обивка и барельефы с нимфами и вакханками ободраны. В библиотеке оборудована операционная. Храм искусства превращен в живодерню. Докторам в длинных белых халатах с окровавленными передниками помогают сестры милосердия в накрахмаленных чепцах и медицинские сестры в косынках с красным крестом; санитары в военной форме носят туда-сюда носилки, покрытые серыми одеялами, из-под них доносятся стоны.

— Это ужасно! — говорит Айседора. — Можете называть меня эгоисткой, но я не могу смириться с этим. Не могу выносить идиотскую пропаганду. И лживую прессу. Эта война невыносима. Сколько жертв!.. И чего ради? Поистине люди слишком глупы! Хочется кричать и выть.

В автомобиле Мэри пытается ее успокоить.

— Совершенно с вами согласна. Но стоит ли возмущаться? Мы ничего не можем поделать. Надо, несмотря ни на что, попытаться прийти в себя, вернуться к вечным ценностям, которые вам принадлежат: искусство, танец…

— И любовь, Мэри, любовь… Пусть обвиняют меня в чем угодно, в дезертирстве или измене, но ни в коем случае, никогда нельзя забывать о любви. Даже сейчас. И именно сейчас… Кстати, что слышно о наших девочках, как они там?

— О них не беспокойтесь. В Англии они в безопасности, не то что здесь. Особенно немки…

— Вы правы как всегда. И все же мне очень хотелось бы повидать их. Теперь они — единственные мои дети…

Через несколько дней, 3 сентября, их «панар-левассор» подъезжает к нормандскому побережью, спокойно преодолевая посты, расставленные по всей территории страны. Видя в документе имя Айседоры Дункан, офицеры галантно отдают честь и пропускают машину. В Довиль приехали вечером.

Казино в Довиле превращено в госпиталь. Сразу по приезде Айседора и Мэри нанялись туда сиделками. Из просторных салонов вынесли столы с зеленым сукном и вместо них расставили походные кровати. Сотни раненых в битве на Марне расположились на них. У большинства легкие ранения, они беседуют, едят, гуляют в парке, играют в карты. Айседора сняла меблированную виллу под названием «Черное и белое»: все в доме — от гардин, одеял, каменного пола и мебели до посуды и кухонной утвари — черно-белое, и никаких других красок. Впечатление удручающее.

Еще не вполне оправившаяся от беременности, измученная дежурствами в госпитале, где она самоотверженно работает и днем и ночью, Айседора чувствует себя плохо, настолько, что не может дойти до берега моря, подышать морским воздухом. Это состояние изнеможения совершенно несвойственно ее природе. Она просит Мэри пригласить к ней главного врача госпиталя. К большому ее удивлению, тот отказался прийти, отделавшись письменными извинениями и несколькими советами. Прошло несколько дней. Состояние ее не улучшилось, и она решила сама пойти к врачу. Увидев ее издали, он попытался увильнуть. Но она пошла ему наперерез.

— Что происходит, доктор? Я не понимаю. Вы знаете меня с тех пор, как я работаю у вас, но отказываетесь прийти, когда я прошу об этом. Почему вы избегаете меня? Уверяю вас, вот уже несколько недель я очень плохо себя чувствую. Слабость во всем теле с момента пробуждения, руками и ногами шевелю с трудом…

— Извините, — бормочет он. — Я сейчас так занят… Ничего не успеваю. Но положитесь на меня. Завтра я к вам зайду.

На следующий день он пришел в назначенное время. Была поздняя осень. С моря дул ветер. Айседора тщетно пыталась

разжечь огонь в камине. Он ей помог. Потом пощупал пульс, измерил давление, послушал грудную клетку. И все время смотрел на нее. В глазах его постоянно угадывалась нерешительность, хотя голос был уверенный и даже властный. Как будто внутри этого человека таился какой-то страх. «Впечатление такое, что он боится меня, — подумала она. — Но на робость это непохоже. Или он сердится на меня? Но за что? Я его почти не знаю. До приезда сюда я его не встречала».

Окончив осмотр, доктор выписал Айседоре тонизирующее лекарство, потом приблизился, взял за руку и, не переставая глядеть на нее с выражением беспокойства и недоверия, сказал:

— Не волнуйтесь, ничего страшного. Просто сильная усталость и немного неврастении. Я зайду завтра в это же время.

Завтра и в последующие дни он приходил аккуратно. Был убежден, что недуг его пациентки вызван главным образом ее психическим состоянием, и потому старался заставить ее рассказать о своих невзгодах. По мере того как доверие к нему возрастало, она все подробнее излагала ему интимные детали своей жизни. В ходе их бесед он также постепенно освобождался от стеснительности, но временами, особенно когда она говорила о гибели своих детей, он опять замыкался.

Однажды во второй половине дня они сидели у камина. За окном шел дождь, поливая черные и белые плитки дорожек в саду. Вдруг он подошел и обнял ее. Она поддалась, прижалась к нему и тихо заплакала, как заблудившаяся маленькая девочка, которую незнакомец взял за руку. Она так давно бродила одна, затерявшись в этом мире, неожиданно превратившемся в дикую орду. Ей казалось, что никто больше не станет ее слушать, не склонится над ней и не спросит: «Почему ты плачешь, Айседора?»

Да, ей было приятно: уверенность исходила от мужских рук, обнимающих ее. Она вытерла слезы оборотной стороной ладони, и лицо ее просветлело.

— Я плачу от счастья.

Он приходил к ней каждый вечер после работы в госпитале. А если не требовалась его срочная помощь какому-нибудь раненому, то он мог провести и всю ночь на вилле.

Однажды он пришел потрясенный.

— Что случилось, Андре?

— Ничего особенного. Просто временами я не в силах видеть страдания других. Это ужасно.

— Но я никогда не видела здесь тяжелораненых.

— Мы стараемся скрыть от вольнонаемных самые тяжелые случаи. Не хотим их путать. Но за последний месяц положение ухудшилось. Раненые поступают сотнями и в очень тяжелом

состоянии. Порой — бесформенные остатки человека, изуродованные тела и лица, гниющие внутренности… невыносимо. Временами силы меня покидают. Нестерпимо хочется крикнуть: «Довольно! Остановите убийство!» А если раненый умирает в тот самый момент, когда вынимаешь из него пулю, то думаешь только об одном: бежать. Бежать куда глаза глядят, хоть на край света, и больше ничего не видеть. Ничего. Слышишь? Ничего.

— Успокойся, Андре. Война не долго продлится.

— Да? Ты веришь в это? Так пишут в газетах. Но они лгут! Чтобы не снизить боевой дух в войсках. Все врут. И я тоже вру.

— Ты?

Смутившись, он пытался сохранить самообладание, помешивая угли в затухающем камине. Она подошла, взяла его за плечи:

— Андре, посмотри на меня. Странно… У тебя вдруг опять появился тот взгляд, как тогда, в начале знакомства. Ты ведь не в операционной, а я чувствую у тебя желание убежать, о котором ты говорил. Почему? Почему ты иногда ускользаешь? Почему не раскрываешься? Ты мне не доверяешь?

— Да нет, что ты, конечно, доверяю…

— Тогда что же? У тебя есть какой-то секрет, и ты скрываешь его от меня, я же вижу. Что это? Скажи, ведь я имею право знать его. Я не только сплю с тобой…

— Не могу ответить.

— Скажи мне все.

— Нет. Ты перестанешь любить меня.

— Есть другая женщина?

— Ладно. Раз ты настаиваешь, я скажу. Ты сама захотела. Предупреждаю: тебе будет очень трудно слушать это.

— Все равно говори.

— Так вот. 19 апреля 1913 года…

— Это день, когда…

— Знаю. Я тогда дежурил в отделении скорой помощи Американского госпиталя. И мне привезли твоих детей. Патрик был безнадежен. А вот Дирдрэ я еще надеялся спасти. Искусственное дыхание изо рта в рот. Она умерла у меня на руках. Когда я тебя увидел впервые здесь, в больнице, я подумал, что у меня галлюцинация. Она была так похожа на тебя… Теперь ты понимаешь, почему я избегал встречи с тобой.

Она окаменела. Он стоял к ней спиной, опершись руками о камин. Потом она встала, подошла к нему вплотную, губами прильнула к его губам. Оба молчали. Медленно догорал огонь…

После вступления Англии в войну Зингер счел необходимым

из осторожности вывезти учениц Айседоры в Соединенные Штаты. В Нью-Йорке ими занялись Августин и Элизабет. Они слали сестре телеграмму за телеграммой, уговаривая ее приехать к ним. О том же писал Лоэнгрин в своих письмах. В конце концов она решилась. По крайней мере там нет войны. Не льется кровь. Нет убийств и разрушений. Там — молодое сообщество людей, занятых мирным трудом. Беззаботное, прекрасное общество, еще верящее в человека и прогресс. Одним словом, нечто чистое и новое. Далекое от загнивающей Европы, превратившейся в огромное поле битвы. Подальше от окопов, куда люди зарылись заживо, как кроты. Подальше от всеобщей ненависти. От слепого, жестокого безумия. Подальше от ненавистного мира, вдруг ставшего чуждым всякой музыке, всякому возвышенному чувству, мира, живущего единственным желанием убивать, победить. Париж… Берлин… Вена… Столицы траура и забвения. Призрачные города, былое величие которых улетучивается вместе с памятью мертвых.

Уехать. С каждым днем ей все сильнее хочется уехать. Она расстанется с Андре. Кстати, близость с ним начала ее тяготить. После его признания что-то отравляет их отношения. Даже любовные ласки приняли привкус горечи, словно они — некий грех. Хотя этот мужчина ничего плохого ей не сделал, но ее преследует видение, которое она тщетно пытается отогнать: любовник, прижавшийся губами к губам ее маленькой дочки. Бывали ночи, когда, в разгар любовных утех, это видение упорно и беспощадно представало перед нею.

Воспользовавшись коротким отпуском, Андре провожает ее в Ливерпуль, где сажает на борт парохода, идущего в Нью-Йорк. По прибытии туда она находит свою школу в недавно построенной вилле со светлыми стенами, большими окнами, выходящими в сад. Ученицы встречают ее радостными возгласами. Она снимает большую студию неподалеку, на Четвертой авеню, развешивает там неизменные голубые занавеси, возводит сцену и начинает работать. Тут же начинают поступать контракты.

Сверхбогатая Америка беззастенчиво выставляет напоказ свою сытость и в холлах отелей, и в ресторанах, и в витринах магазинов. Приехавших из обескровленной Европы это шокирует. Голова идет крутом, как у человека, вышедшего из темноты затхлого подземелья и глотнувшего свежего воздуха, увидевшего ослепительный солнечный свет. В безмятежной Америке особенно отчетливо видишь абсурдность войны, когда одна половина человечества живет в непрерывном страхе, а другая вкусно и сытно обедает, курит сигары, работает, спокойно, ничего не боясь, прогуливается по улицам. Каждое лицо выглядит красивее,

каждый дом — счастливее, ибо мирная жизнь позволяет человеку понять ее истинную цену. Айседора потрясена, видя, как люди в Америке наслаждаются счастьем, в то время как в Европе испытываешь стыд и даже чувство вины, произнося слова: «Я жива».

Приехав в Нью-Йорк в марте 1915 года, Айседора открыла для себя совершенно новую Америку, не похожую на ту, какую она покинула. Казалось, время здесь текло вдвое быстрее, чем в других странах. Создавалось странное, обескураживающее впечатление, словно она попала в будущее. В салонах Балтимора она впервые присутствует на концертах джаза, который в Европе называют с оттенком легкого презрения «негритянской музыкой». Ритмическая грация, балансирование, динамизм, сменяющийся умиротворенностью, трепещущие глубокие тембры, возбуждающие чувственность, — эта музыка раздражает, нервирует до озноба. Что может быть трогательнее тихо плачущей грусти блюзов из Нового Орлеана, которая резко сменяется едкой иронией трубы с сурдинкой, по-клоунски подражающей звукам человеческого голоса?

Но Айседора видит в джазе лишь его агрессивную сторону. «Подумать только, эту музыку дикарей называют душой Америки, — говорит она. — Чудовищно! В действительности ни один композитор еще не выразил могучие ритмы Скалистых гор».

Световые рекламы в небе Нью-Йорка прославляют новых богов Америки, чей пантеон находится в Голливуде. Гвоздем сезона был, несомненно, выход на экраны грандиозного фильма «Рождение нации» Д. У. Гриффита с актрисой Лилиан Гиш в главной роли. Дуглас Фэрбенкс, также ставший вскоре знаменитым, заявил о себе в фильме «Ягненок», собиравшем толпы зрителей. Любители «сериалов» с увлечением смотрят все десять серий «Опасных приключений Полины» с Перл Уайт в главной роли. Общий хохот вызывают забавные приключения Чарли Чаплина и Фетти.

Наблюдая триумфальный парад фильмов, Айседора с беспокойством спрашивает себя: а осталось ли еще в Америке место для ее искусства? Американский зритель обожает многосерийные фильмы с кинодивами и вестерны с погонями, романтические драмы и музыкальные комедии. Сумеет ли он понять «Эдипа», которого она готовится поставить в «Сенчури-тиэтр» с Августином в главной роли? Для этого спектакля она переделала зал, убрав сиденья из партера, чтобы придать театру вид античного амфитеатра. Не задумываясь о возможном провале и не слушая предупреждений своих близких, она замахивается на гигантский спектакль. В нем будет не меньше тридцати пяти

исполнителей. Восемьдесят музыкантов. Хор не менее ста человек. В хоре участвуют Айседора и ее ученики. Одним словом, безумная затея. Для покрытия расходов по подготовке спектакля она опустошает свой счет в банке и даже прибегает к помощи кредиторов.

Увы! Американцы, сходящие с ума по сентиментальным драмам, глухи к трагедиям. Им абсолютно чужды запутанная мифология, приключения богов, вмешивающихся в жизнь людей, о которых они ничего не знают. Роль случайности в судьбе героев вестернов они допускают, но упрямо отвергают ее в трагических историях древних греков. Что же касается танца Айседоры и византийских песнопений (старая страсть Раймонда Дункана), то им трудно соперничать с фокстротом, регтаймом и чарльстоном.

В конце первого представления Айседора спасает положение, импровизируя «Марсельезу» в трехцветном облачении, вдохновленная скульптурой Рюда. Это вызвало бурную и совершенно неожиданную овацию… На следующий день пресса восхищается «пылкими движениями» и «героическими позами», словно сошедшими с Триумфальной арки, — символа сражающейся Франции. При этом ни слова о страданиях несчастного Эдипа.

Вечером следующего дня ей запрещают «патриотические выступления» в честь Франции. Это означает провал. Ведь лишь немногие интеллигенты интересуются пластическими и музыкальными экспериментами в спектакле Дунканов. Доходы катастрофически уменьшаются. Через неделю «Эдип» исчезает с афиш. Для Айседоры это и художественный, и финансовый крах, ведь она вложила в постановку все свое состояние, до последнего доллара. Она обращается за помощью к нью-йоркским миллионерам из числа промышленников и банкиров. Их ответ примерно одинаков: «У вас есть имя и репутация. Мы готовы вам помочь, но при одном условии: вы откажетесь от древнегреческих одеяний. Почему бы вам не поставить с вашими девочками какую-нибудь музыкальную комедию? У вас был бы колоссальный успех!»

Один из магнатов предложил ей поехать в Голливуд и попытать счастья в кино. Ответ был краток, как удар хлыста:

— Я артистка, сэр, а не девица из кордебалета.

Через месяц одна из поклонниц одолжила ей две тысячи долларов, и она взошла на борт корабля «Данте Алигьери», отправляющегося в Неаполь в сопровождении Мэри Дести и двадцати восьми учениц.

Глядя, как удаляется в синеве американский берег, Айседора с горечью думает, что Новый Мир, где она родилась, не понял ее

и никогда не поймет. В старой Европе она чувствует себя дома больше, чем когда-либо. Она думала, уезжая в Америку, что спаслась из военного ада, а попала в другой ад — эгоизма, корысти и безразличия. По сути, она не может простить Америке, что та продолжает жить без нее, вне ее, Америке, заставившей ее понять, что существует разрыв между ее искусством и ходом времени, которое без устали идет вперед. «Все янки — олухи», — думает она. Тем не менее время ее обогнало… Статуя Свободы исчезает вдали, бескрайний океан убаюкивает и обещает ей закаты над Везувием. Думая о них, она спрашивает себя: а может быть, это она ничего не поняла в Америке? Джаз ее раздражает, и она предпочитает отделаться от него, назвав эту музыку варварским криком. Ей нестерпимо видеть толпы, набивающиеся в темные залы, чтобы смотреть, как смешные паяцы молча жестикулируют, напоминая ей жуткие мимические драмы времен начала театральной карьеры здесь же, в Нью-Йорке, двадцать лет назад… Уже двадцать лет!

В Неаполь она приезжает, когда Италия вступает в войну. Что делать? «Почему бы не поехать в Грецию?» — думает она. Ей очень хочется вновь повидать Акрополь и показать его своим ученицам. Быть может, посетить Копамос. Вдохнуть того воздуха, каким они дышали в прошлом, таком близком и таком далеком. Но ее идея путает старших учениц, путешествующих с германским паспортом. Тогда решают ехать в Швейцарию.

С началом военных действий Швейцария превратилась в столицу Европы, в место встречи всех противников войны. Пацифисты и антимилитаристы из Германии, Франции, Австрии встречаются на ее гостеприимной и свободной земле. Обмениваются мыслями в атмосфере взаимоуважения и братства. Каждый чувствует себя там спокойнее, чем у себя на родине. По вечерам в Цюрихе, в кафе «Бельвю» споры затягиваются до позднего вечера, пока гарсон не начинает тушить свет, чтобы выпроводить последних клиентов. Те расходятся, но споры продолжаются на улице, пока они провожают друг друга по домам. В кафе «Одеон» часто можно видеть сидящего одиноко в углу зала молодого человека с темной бородкой, с тонкими, плотно сжатыми губами и острым взглядом из-за толстых стекол очков. Он ни с кем не разговаривает. Гарсоны не знают, из какой он страны, слышали только, что зовут его Джеймс Джойс. А в Женеве, в строгом кабинете, заваленном книгами, журналами, письмами, документами, Ромен Роллан ведет в одиночку борьбу против ненависти, переполнившей души миллионов людей. Пацифисты-интеллигенты считают его воплощением морали и совести Европы.

В Цюрихе Айседора с ученицами остановилась в гостинице «Бэ-дю-Лак». Там же живет дочь Джона Д. Рокфеллера. Прекрасный повод заинтересовать юную миллиардершу танцами. Однажды во второй половине дня Айседора организовала урок в саду при отеле и, разумеется, пригласила мисс Рокфеллер. Та с восторгом отзывается о грации и таланте юных танцовщиц. Но как только Айседора просит оказать материальную помощь, эта последовательница Юнга, увлекающаяся психоанализом и проводящая все дни в подробном записывании своих снов, сухо отвечает:

— Очень сожалею. Ваши девочки очаровательны, но меня интересует только исследование моей души.

Через несколько недель, оставив учениц в Цюрихе, Айседора едет отдохнуть в Уши, на берег Женевского озера. С ее балкона в гостинице «Бо-Риваж» видна терраса виллы напротив. Там живет группа юных красавцев. Они посылают ей улыбки и прочие знаки дружеского расположения. Среди юнцов есть мужчина постарше, восточного типа, с загорелым, заплывшим жиром лицом, с блестящими глазами под полуопущенными веками. Он носит экстравагантные шелковые халаты, разговаривая, жестикулирует коротенькими жирными ручками с большими бриллиантами на пальцах.

Как-то вечером один из этих очаровательных юношей, оказавшийся потомком старинного рода миланских герцогов Сфорца, пригласил ее поужинать с ними. Она не имеет ничего против гомосексуалистов. Наоборот. Ей всегда претило лицемерие буржуазного общества, презирающего их. Она сама настрадалась от пуританизма и потому выступала в их защиту, как только их начинали оскорблять и высмеивать. Ведь она тоже оказывалась мишенью нападок из-за того, что не желает выходить замуж, не скрывает своих любовных связей, борется за права женщины и за свободный союз полов. К тому же мальчики красивы, очаровательны, веселы и беззаботны, остроумны, у них легкий характер и отменные манеры. Могла ли она мечтать о лучшем обществе для развлечения? Она приходит к ним, приглашает их к себе, и скоро между ними возникают узы дружбы. Особенно дружна она с Джоном, двадцатидвухлетним американцем. У него девичье лицо, огромные светлые глаза, в них читаются честность и невинность. Он скромнее и сдержаннее других, говорит мало, но умеет слушать, особенно Айседору. Шутки его товарищей редко стирают с его лица обиженное выражение. Но стоит ей сказать что-нибудь смешное или описать забавный случай, как он хохочет, словно ребенок.

Отношения между Айседорой и ее новыми друзьями

совершенно свободные и беседы тоже. Она разговаривает с ними без ложной скромности, излагает свое понимание жизни, отношение к мужчинам, к любви. Долгими ночами, проведенными в застольях или прогулках по озеру на лодке, она откровенничает, как никогда и ни с кем раньше. Надо полагать, ночь и вино располагают к откровенности, когда каждый вслух и при всех ищет истину в самом себе. Но больше всего располагает к взаимопониманию отсутствие двусмысленных отношений между молодыми людьми и женщиной намного старше их. Она их подруга, союзница, сообщница. Кому еще решилась бы она описать с такой откровенностью развитие любовного чувства почти сорокалетней женщины, порыв плоти, расцвет тела, зрелого тела, когда грудь тяжелеет и становится более чувствительной, настолько, что малейшая ласка наполняет ее потоком наслаждения. Ощущение, будто тело живет в трепещущем огненном облаке и с радостью гибнет от мучительного бича желания. «Краски осени — самые яркие и самые разнообразные, — говорит она. — И наслаждение от них в тысячу раз сильнее, мощнее и прекраснее. Осень — истинная пора любви, прекрасный и щедрый дар природы».

Джон слушает ее с выражением внимательного ребенка. Когда она говорит, ее грудь колышется, напрягаются вены, а в глазах вспыхивает огонь, какого он еще не видел. Однако во время уединенных прогулок вдвоем по берегу озера беседа еле теплится, чтобы развязался язык, не хватает шампанского и друзей.

Она проклинает их взаимное молчание, которое грубо напоминает ей о разнице в возрасте, их разделяющей. Впервые ощущает она в себе это замешательство. «И надо же, какой-то юный педераст», — злится она на себя, на свое смущение. Внимательно смотрит на него. «И верно, красив. Чертовски хорош собой. Как говорится, аж дух захватывает». Он идет на несколько шагов впереди, время от времени оборачивается. Ветер играет его волосами, открывая чистый, правильный лоб. «Да ведь я за ним волочусь, боже мой! Это я-то!»

И верно, она уже совсем непохожа на ту девушку с полотен Гейнсборо, с которой ее сравнил принц Уэльский. Непохожа она и на нимфу с греческого барельефа: бедра раздались, шея располнела, нижняя часть лица заметно отяжелела. Пышный бюст еще может сойти за достоинство, но спрятать живот под складки одежды никак не удается, и из-за этого она злится на себя. Ругает за слабость к вкусной еде и к шампанскому. Избыточный вес не очень мешает танцам. Ее всегда пугала худосочность классических балерин. Запомнилась несчастная Анна Паатова: во

время званых обедов она не ела, а лишь выпивала стакан воды и первой выходила из-за стола с лицом мученицы, чтобы ехать на очередную репетицию в императорском театре. Глядя сзади на стройную фигуру юноши и его узкий таз, думая о моде, требующей от женщины плоских форм, Айседора пришла к выводу, что ее эстетика отстала от жизни. Она явно устарела.

Вот она подходит к Джону. Его профиль золотится на фоне неба. Он поворачивается к ней, улыбается. Его чуточку слащавый рот, приоткрывшись, обнаруживает ослепительно-белые, хищные зубы. Вдруг она чувствует, как тело ее тяжелеет. «Восемнадцать плюс двадцать два получается сорок. Сорок лет. Он мог бы быть моим сыном. Каково иметь сына гомосексуалиста? Говорят, матерям это нравится. Так они сохраняют своего ребенка при себе. Другая женщина не отберет. Он мог бы быть моим сыном».

Эта мысль ее не покидает. Она не перестает повторять, украдкой посматривая на него: «Мой старший сын…» При ходьбе их обнаженные руки порой соприкасаются. Он не отстраняется. Подойдя к скамейке, она берет его за руку. Он неловко поворачивается к ней, краснея.

— Давайте присядем, — говорит она. — Я устала.

— Подождите меня здесь. Я сейчас поймаю машину, чтобы отвезти вас.

— Не надо. Посидите рядом со мной. И, взяв его голову руками, говорит:

— Вы знаете, что вы очаровательны, милый мой Джон? Он тянется к ней, обнимает и прижимает к себе изо всех сил. Уткнувшись в грудь лицом, говорит сдавленным голосом:

— Если бы вы знали, как я несчастен.

— Я знаю, знаю, — отвечает она, запуская пальцы в его волосы. — Слушайте, вам надо бросить вашего ливанца и всех остальных и уехать как можно дальше. Только так вы можете освободиться.

— Вы должны поехать со мной, Айседора, должны. Иначе я не соберусь с духом, не хватит смелости.

Быстро побросали вещички в чемодан, расплатились за гостиницу, и вот они уже несутся по дорогам Швейцарии в большом спортивном автомобиле Джона, двухместном «Торпедо» с откидывающимся верхом. Проехали Монтрё. Настала ночь.

— Куда теперь? — кричит Джон, стараясь перекричать рев мотора и крепко держа деревянный лакированный руль машины.

— Дальше… едем дальше…

Он делает жест, что не слышит. Положив руку ему за плечо, она кричит прямо в ухо:

— Едем дальше! Дальше, Джон! Дальше, любимый мой! Ветер

бьет в лицо. На каждом вираже она хохочет, когда ее бросает прямо на спутника. Смеется от невольно текущих слез, смеется, когда представляет лица тех, кого они оставили в Уши: «Представляешь? Джон уехал с Айседорой! — С женщиной? Быть не может! Он спятил! — Вот что, ребята, это она его умыкнула. Это похищение! — Все же мог бы нас предупредить. До чего ненадежный тип! Не ожидал я от него. — Этим ангелочкам нельзя доверять. Казалось, нет человека надежнее, и вдруг, в один прекрасный день, раз — и дал ходу! Медовый месяц с этой сучкой!»

Она внутренне ликует, представляя их лица и вопли возмущения. А ливанец! Вот уж кто злится, небось! Самый драгоценный алмаз в его коллекции — и вдруг украден из-под носа!

— Быстрее, Джон! Быстрее и дальше!

Они несутся вдоль берега Роны со скоростью девяносто километров в час. Вот уже проехали Сьон, Кран, в глухую полночь проезжают перевал Симплон. Машина ревет на серпантине дороги. Крутой вираж. Скрип колес. Подъем. Опять поворот… Опьяненная луною, ветром, скоростью, с замирающим сердцем, Айседора понимает, что рядом — обрыв, разверстая пропасть, которая неумолимо тянет к себе. Голова идет кругом. Ей кажется, что она летит в пустоту, в забытье, как во сне. Тело в экстазе свободного падения, спина плотно впилась в изгиб сиденья, ступни уперлись в пол машины, голова закинута, глаза широко открыты и смотрят в небо, где ей мигают звезды. Далеко позади вьется по ветру длинный шарф, подобно облаку света или отчаяния.

Ранним утром они уже на берегу Лаго-Маджоре, делают остановку в Стрезе. Оба партнера разочарованы. Айседора ожидала большего от этого Аполлона с фигурой олимпийца. А Джон, в свою очередь, не смеет преодолеть отказ от женщины. Не способный овладеть ею, он не столько стремится к удовлетворению желания, сколько к горячим округлым рукам, в которых можно укрыться, и пышной груди, в которую можно зарыться с головой и вновь стать, хотя бы на время, маленьким мальчиком, лишенным ласки. Приехав в Рим, оба «любовника» решают расстаться. Прощаясь друг с другом, обещают писать письма, никогда не забывать их знакомство, радуясь в глубине души, что встреча не затянулась. Джон возвращается в Уши к своему ливанцу, Айседора же едет в Неаполь, оттуда на пароходе — в Афины. Совершив паломничество в храм божественной Афины, чей идеал мудрости и гармонии она столько раз нарушала, она возвращается в Цюрих.

Финансы школы в плачевном состоянии. Айседора вновь занимает деньги на кабальных условиях, отчего ее долги достигают пятнадцати тысяч американских долларов. К счастью, импресарио присылает предложение совершить турне по Южной Америке.

Надо опять отправляться в путь, хотя и не хочется. Приключение с Джоном оставило горькое ощущение неудачи. Во-первых, тело не получило ожидаемого, во-вторых, она не может скрыть от самой себя, что теперь ее тянет к мужчинам моложе ее. Что это, признак зрелости? С некоторых пор она замечает за собой, что присматривается к очень молодым, почти к подросткам. Силе зрелого мужчины она все больше предпочитает очаровательную незавершенность лица и грацию тела, только что вышедшего из детского возраста, эскиз, набросок, который зачастую бывает лучше законченного произведения. Будущий мужчина ее привлекает больше, чем уже состоявшийся. И то, что она выбрала именно такого, как Джон, не случайно. В любви не бывает случайностей.

ГЛАВА XVIII

Остановка в Нью-Йорке. Августин, брат Айседоры, присоединяется к ней, и они продолжают путешествие вместе: Баия-Бланка — Буэнос-Айрес (где студенты обучают ее аргентинскому танго) — Монтевидео — Рио-де-Жанейро — и снова Нью-Йорк. Повсюду имя Айседоры Дункан привлекает толпы зрителей. Одни хотят полюбоваться ее танцами, другие — увидеть своими глазами женщину, ставшую многогранным символом: скорбящая мать, революционерка, феминистка, женщина скандальной славы, королева экстравагантностей… В каждом городе пресса публикует ее заявления о любви, политике и войне. Журналисты проявляют нескромность. Как обычно, она отвечает откровенно, не заставляет себя упрашивать, считая, что лучше полностью использовать печать как рекламу, чем сохранять в тайне личную жизнь. Стыдливость ей кажется лицемерием. В сорок лет она чувствует себя свободнее, чем в двадцать. Ей нечего скрывать, не в чем себя упрекнуть. «Я всегда была верна мужчинам, которых любила, — заявила она журналисту в Рио-де-Жанейро, — и никогда не бросила бы ни одного из них, если бы они тоже были мне верны. Всех, кого я любила, я и сейчас люблю и всегда буду любить. Если же я их часто меняла, то в этом виноваты лишь легкомыслие мужчин и жестокость судьбы».

Скандальные газетенки мусолят последние ее похождения: группа боксеров, плывших с ней на одном пароходе, чьи тренировки на палубе она внимательно наблюдала, а потом развлекалась с ними в бассейне; юный аккомпаниатор Морис Дюмениль, не отходящий от нее ни на шаг, в том числе и в спальне; молодой черноокий аргентинец, с которым она всю ночь танцевала в обнимку в кабаре в Буэнос-Айресе.

— Итак, сеньора, говорят, вы влюбились в аргентинское танго? Не собираетесь ли вы включить его в вашу программу?

— Раньше я его никогда не танцевала. С первых же тактов этого волшебного танца я почувствовала, как мое сердце отвечает резкому и страстному ритму, чувственному, как долгая ласка, пьянящему, как любовь под небом тропиков, опасному и жестокому, как леса вашей прекрасной страны.

— Говорят, вас научил этому танцу некий студент.

— Совершенно верно. Очаровательный мальчик, он показал мне трущобы Буэнос-Айреса. Это захватывающе интересно…

— Что вы думаете о слухах относительно вашего якобы распутного образа жизни, о тех молодых людях, которые вас

постоянно окружают? Ваше поведение вызывает резкую критику, в том числе в прессе консервативного направления, как в Европе, так и здесь.

— Мне плевать на то, что думают обо мне «добропорядочные» люди. Терпеть не могу ханжества. Ницше сказал: «Женщина — это зеркало». Так вот, я — зеркало, которое отражает людей и реагирует на внешние силы согласно своему инстинкту. Я подобна героиням «Метаморфоз» Овидия, я изменяюсь в своих чувствах и в характере по велению бессмертных богов.

Много слухов о ее баснословных контрактах, о целых состояниях, что уплывают у нее сквозь пальцы. Поговаривают, что она разорилась, обременена долгами. И действительно, она тратит миллионы на роскошные отели, пароходы, рестораны, дорогое шампанское, престижные автомобили. Ее гонорары свободно позволяют ей вести такой образ жизни. Но ведь у нее еще есть школа, которую надо содержать, ученицы, которых необходимо кормить, одевать, расквартировывать, надо платить воспитательницам, которых тридцать человек. На это уходит не менее двух третей ее доходов, а платит за все она одна.

Из Цюриха пришла телеграмма о том, что последний перевод от нее не поступил из-за военных действий, и директриса пансиона, где расквартированы ученицы, выставила их на улицу. Айседора умоляет Августина немедленно отправиться в Женеву с необходимым количеством денег. У нее самой не хватает средств заплатить за гостиницу, и приходится оставить в залог свои чемоданы. К счастью, в Монтевидео выручает деньгами менеджер. До следующего раза…

Ее собственное турне проходит без особых приключений. Только в Буэнос-Айресе зрители потребовали деньги обратно и пригрозили бойкотировать представления, потому что Айседора посмела танцевать под музыку национального гимна освобождения Аргентины. Зато она каждый вечер срывает аплодисменты в честь Франции и ее союзников, поскольку танцует «Марсельезу» с трехцветным знаменем в руках.

Как всегда, самые горячие ее поклонники — студенты, люди интеллектуальных профессий, художники в душе. Бывают вечера, когда из-за латиноамериканского темперамента театр превращается в арену, где поклонники и противники танцев Айседоры не только спорят до хрипоты, но и доходят до кулачного боя. Это стало уже традицией. Айседора по-прежнему — артистка, вызывающая самые противоречивые оценки. Одни превозносят ее до небес и видят в ней жрицу нового искусства, другие сурово осуждают, называя ее танец «суетливыми движениями сомнительного свойства наивной американки»,

«немецкой хромолитографией, срисованной с античного фриза», «бордюрчиком для обоев мюнхенского производства, скопированным с греческой вазы», «гигиеническими упражнениями в санаторном душе» или «непонятной и нелепой жестикуляцией человека, не знакомого ни с танцем, ни с музыкой».

Такие вот любезности расточает в ее адрес музыкальный обозреватель газеты «Тан» и в заключение пишет: «Нет более точного признака упадка вкуса и ума, чем этот отказ от традиций, составляющих силу и гордость искусства целого народа».

Сойдя на берег в Нью-Йорке, Айседора сразу же звонит своему другу фотографу Арнольду Джентеру. О чудо! Ей отвечает Зингер, по чистой случайности зашедший в то утро в ателье Джентера.

— Как я рад слышать вас! Как поживаете, Дора?

— Как человек без гроша в кармане, которому нечем заплатить за свой багаж, задержанный таможенниками. Я звоню Арнольду, чтобы он выручил меня, одолжив несколько долларов.

— Где вы?

— В порту. Я приехала из Рио.

— Никуда не уходите, я сейчас приеду.

Через несколько минут он уже рядом. Не теряя ни минуты, вызволяет ее багаж и отправляет его в отель «Астория». Она следит за ним, пока он разговаривает с таможенниками. Он, как ей кажется, стал еще значительнее, властнее. «Какая мощь! — думает она. — Что может остановить такого человека?»

Так Лоэнгрин, ее герой, в очередной раз приходит на помощь ей, бедной Эльзе, потерянной в царстве гигантских кранов, вагонов, грузовиков и докеров, среди паутины железнодорожных путей, в толпе безразличных пассажиров. Закончив все формальности, он подходит к ней.

— Раз уж мы встретились, — говорит он ей, — не будем больше терять друг друга из виду.

И, взяв ее под руку, уводит с собой. Она зябко прижимается к его плечу. Доверчивая. Успокоившаяся. Джентер ждет их в своей студии. Оттуда они втроем едут отпраздновать встречу в «Риверсайд-драйв». После плотного обеда, обильно запиваемого шампанским, Зингер сообщает, что он решил снять на один вечер «Метрополитен-оперу» для бесплатного представления в честь Айседоры.

— Ты с ума сошел, Лоэнгрин. Такие вещи не делаются с кондачка.

— Я займусь этим.

Всю вторую половину дня и вечер он занимается рассылкой

приглашений всем знаменитостям Нью-Йорка в мире искусств. Через неделю актеры, драматурги, композиторы, певцы, кинодеятели — все упомянутые в «Справочнике деятелей искусства» — подъезжают к парадной лестнице «Метрополитен» под любопытными взглядами зевак, выстроившихся в два ряда, чтобы увидеть вблизи звезд в вечерних туалетах. Никогда еще Айседора не имела такого успеха. А когда в заключительном акте она танцует под мелодию «Марсельезы», аплодисменты долго не утихают. Обычно сдержанный зритель, завсегдатай премьер, неистово кричит «Браво!», топает ногами, требует повторить «Марсельезу» и, стоя, завороженный, смотрит танец. Люди в зале обнимаются со слезами на глазах.

Накануне вечером, 2 апреля 1917 года, президент Вильсон объявил в конгрессе, что Соединенные Штаты вступают в войну на стороне союзников.

От радости, что вновь нашел Айседору, Зингер старается сделать все, чтобы доставить ей удовольствие. Зная, как она дорожит своей школой, он переводит в Цюрих телеграфом три тысячи долларов, чтобы отправить маленькую труппу в Америку. Но уже поздно. Хозяйка пансиона, которой несколько месяцев никто не платил за проживание учениц, вернула девочек в их семьи. Только восемь из них привез с собой Августин. Пятнадцать лет труда и усилий были перечеркнуты.

Когда девочки приехали, Зингер снял для них огромную студию на Медисон-сквер-гарден, и Айседора возобновила занятия. Каждое утро он приезжает за ней на машине и увозит после занятий на прогулку вдоль берега Гудзона.

Начинает сказываться усталость от турне. И Зингер предлагает Айседоре поехать отдохнуть на Кубу. Поскольку неотложные дела мешают ему самому сопровождать ее, он поручает это своему секретарю, молодому шотландцу — поэту по имени Алан Росс Макдуталл. Свидание с Айседорой состоится через месяц во Флориде.

Приехав в Палм-Бич, Зингер находит Айседору неузнаваемой. Загорелая, веселая, жадная до жизни, какой он ее давно уже не видел и не надеялся увидеть. Дни проходят в прогулках вдоль берега. Во Флориде Зингер занимается крупными операциями по скупке земельных участков. Вечера на веранде тянутся до поздней ночи. Иногда к ним присоединяется писатель Перси Макей. Разговаривают в основном о последних успешных выступлениях Айседоры. Иногда переходят на обычные сплетни из закулисной жизни, в том числе о подражательницах Айседоры, каких в Америке развелось множество. Не обходят молчанием литературу, особенно поэзию. Макдугалл восхищается

французским поэтом Полем Валери, чью книгу стихов «Юная Парка» он только что прочел. «Это единственное крупное произведение французского автора, где речь идет не о войне», — говорит он.

Обсуждают последние сообщения с фронтов. Размышляют о будущем России после отречения царя 15 марта: сохранит ли власть Керенский или она перейдет к Советам Ленина?

— Держу пари, что к власти придет Ленин! — с горячностью говорит Айседора. Она чрезвычайно интересуется русской революцией.

— Прошу вас, Дора, — нежно просит ее Зингер, — мне известны ваши марксистские взгляды, но все же… Зная ваш образ жизни и вашу расточительность, я не представляю себе, как вы сможете жить в условиях пролетарского режима. Эти люди ненавидят богачей и буржуа, о чем только и кричат на своих митингах, а что касается вашего Ленина, то это опасный анархист и секретный агент Германии. Так что поверьте мне, власть в руках умеренных политиков — единственный способ избежать худшего.

— Я расточительна потому, — отвечает задетая за живое Айседора, — что презираю деньги. К тому же все, что я зарабатываю, идет на содержание моей школы, в которой учатся, хочу напомнить, девочки исключительно из бедных семей.

— Позвольте и мне напомнить, что я тоже участвую в расходах по школе и даже начинаю подозревать, — сказал Зингер со смехом, — не прикрывает ли школа танца какой-нибудь большевистский рассадник? Кто знает, может быть, вы их воспитываете в антикапиталистическом духе? Тогда признайте, что моя щедрость граничит с самоубийством.

— Не волнуйтесь, я обучаю их только грации и изяществу.

— Может быть, но у вас часто проявляется желание совмещать искусство и политику, милая Дора. Так, в тот вечер, когда Николай II отрекся от престола, вы ничего лучше не придумали, как танцевать «Марсельезу», завернувшись в красную тунику. Признайтесь, что такое поведение перед американской публикой — не что иное, как провокация. По сути, вы только этим и занимаетесь, а? Вы провокаторша, Дора. Очаровательная, согласен, но провокаторша. И по отношению к публике, и по отношению к мужчинам.

— Прошу вас, Лоэнгрин, не сомневайтесь в искренности моих убеждений. Это правда, революция в России преисполнила меня, как и всех, кому дорога свобода, сказочной надеждой. В тот вечер, исполняя «Марсельезу», я думала обо всех угнетенных, о людях, страдающих под игом царизма, которых я видела в Петербурге, обо всех погибших за общее дело гуманизма и о тех, кто сейчас

борется за это. Я действительно танцевала с чувством воинственной радости, ведь мысль о восстании угнетенных всегда вдохновляла меня как артистку. Никогда не могла я, да и не смогу отделить искусство от борьбы с рабством. Творчество — это постоянная битва, иногда с самим собой, со своими собственными болячками, — поверьте, это так. Бороться, чтобы любить, чтобы доставлять радость любой ценой. Если бы вы знали, как это трудно! Даже вам этого не понять, Лоэнгрин, а вы — самый великодушный человек, какого я знаю.

— До некоторой степени я согласен с вами, но не настолько, чтобы превозносить какого-то Ленина или Троцкого, как вы это постоянно делаете…

— Да, это так, не буду скрывать. Я всей душой желаю победы Советам. Народная революция не долго будет терпеть контроль буржуазии. Абсолютизм уже свергнут, но это лишь первый шаг. Завтра вы увидите и услышите голос голодающих деревень и требования тружеников промышленности: землю — крестьянам, фабрики — рабочим. Повторяю, завтра вы увидите классовую борьбу в действии, и на развалинах капитала возникнет диктатура пролетариата. Вы увидите, наконец, рождение нового общества, о котором мечтал Карл Маркс, общества, основанного на коллективизме и равенстве.

— Радужная перспектива, — проворчал Зингер.

— Какое вдохновенное пророчество! — воскликнул Макей. — Какая поэзия! Советы должны были бы избрать вас официальной богиней их революции. — Я бы гордилась этим.

Во время предыдущих турне в Штаты Айседора избегала Сан-Франциско. Со времен отрочества она ни разу не была там, боялась, словно в этом городе жили привидения. Боялась встретить девчонку с окраины города, выпрашивающую у мясника котлеты в долг, тень своего отца, так же внезапно исчезнувшего, как и появившегося, угостив ее мороженым и поцеловав в щечку. Она боялась встречи со своим прошлым. Не хотелось омрачать светлые воспоминания о детстве. Особенно боялась она встречи с матерью, которую не видела со времен своего романа с Крэгом.

Но на этот раз она решила не бояться: поедет в Сан-Франциско и увидит там новый город. Ведь тот, который она знала, почти полностью был разрушен землетрясением 18 апреля 1906 года. За три минуты, что длилось бедствие, «китайский квартал» превратился в кучу мусора, от банков и богатых особняков остались одни руины. А деревянные дома, в которых жила их семья, рассыпались как карточные домики. Восстановленный город стал неузнаваем, с широкими улицами, высокими строениями и новыми кварталами. Она гуляла по ним,

как иностранка, спрашивая дорогу на каждом перекрестке. «От меня здесь ничего не осталось», — думала она, и это придавало ей уверенности.

Она с удовольствием не встречалась бы и с матерью, но решила, что это, может быть, последняя возможность повидать ее. Перед ней стояла семидесятидвухлетняя женщина, очень усталая и во всем разочарованная. С возрастом лучшие черты ее характера — воображение, легкость, своенравие — обернулись карикатурной стороной. То, что раньше считали оригинальностью, теперь выглядело старческими выдумками. Она уже не понимает, что говорит, да и понимала ли раньше? Как все чувствительные люди, живущие сегодняшним днем, она состарилась быстро. Время всегда побеждает тех, кто с ним не считается. Айседора пригласила мать пообедать в «Клиф-хаус».

Беседа не вязалась, оказалось, что им нечего друг другу сказать. Десять лет разлуки сделали их чужими. Работа Айседоры не интересует ее матушку с тех пор, как она перестала ей помогать, а несчастья дочери ее мало трогают. Она стала равнодушной к несчастью других, даже к смерти относилась с тем ужасным безразличием стариков, которых уже ничто не волнует. Айседора расставалась с матерью, ощущая, что уже потеряла ее…

И еще одно разочарование: она думала, что даст концерт в просторном Греческом театре, а проходить он будет в зале «Колумбия». Импресарио заявил, что публика там будет «более изысканная». А ведь Айседора хотела по случаю своего приезда в родной город выступить перед простым зрителем. Она было запротестовала: «Я родилась в бедном квартале этого города. И хочу выступить перед своей публикой», но все оказалось напрасно. Хочет она того или нет, в зале будут сидеть сливки общества города Сан-Франциско, в вечерних платьях и во фраках. Возможно, где-то в верхах решили, что в зале с более многочисленной и бедной публикой, склонной к бунтарству, концерт может перерасти в политический митинг. Громогласные заявления Айседоры в защиту Советов широко разрекламированы в прессе, и Америка начинает всерьез побаиваться ее.

Но Сан-Франциско приготовил для нее великолепную компенсацию: встречу с пианистом Гарольдом Бауэром. С первых же реплик, которыми они обменялись, стало ясно: она нашла родственную душу.

— Вы скорее музыкант, чем танцовщица, — сказал он ей. — Я видел ваше выступление в «Колумбии». Вы многое объяснили мне из того, что я никогда не замечал в музыке.

Гарольд не такая мировая знаменитость, как Рубинштейн, но, похоже, его это ничуть не огорчает. Он мог бы достичь такой же

славы, если бы захотел, однако сознательно выбрал другой путь. Шумному успеху на многолюдных концертах он предпочел суровые аналитические штудии музыки в тиши своего кабинета. Упорно исследовал он тайны творчества Баха, Шопена и Бетховена. С Айседорой у него мгновенно установился контакт, и через час беседы им уже казалось, что они знакомы много лет: в обоих та же страсть к поэзии и философии, тот же идеал в искусстве, то же видение мировой истории. И непреодолимое взаимное влечение. Их тела стремятся друг к другу так же, как их души. Они работают вместе в состоянии постоянного подъема. Желание, наслаждение, музыка, свет и радость опьяняют их. Они дают концерт в «Колумбии», и критика приветствует его как высшее достижение в творчестве Айседоры; при этом Сан-Франциско открывает для себя доселе неизвестного виртуоза — Гарольда Бауэра.

Примерно в то же время Айседора познакомилась с музыкальным критиком из самой влиятельной в Сан-Франциско газеты «Колл» Редферном Мэйсоном. Неизвестно почему Редферн Мэйсон не любил Бауэра и не раз писал о нем разносные статьи, пережить которые музыканту было нелегко. Зато он восхищается Айседорой и расточает ей дифирамбы после каждого концерта. Однажды во время дружеского ужина он спросил ее в присутствии друзей:

— Мадам Дункан, что бы я мог написать приятное для вас в завтрашнем номере газеты?

— Вы предоставляете мне полную свободу?

— Абсолютно полную.

— Вы разрешаете мне самой написать вашу статью и обещаете, что опубликуете ее, не изменив ни строчки?

Взяв лист бумаги и карандаш, она тут же, на углу стола, написала взволнованную хвалебную статью о Бауэре, начинающуюся словами: «Когда его пальцы легко касаются клавишей…»

На следующий день статья была опубликована, и коллеги Мэйсона осыпали его шутками по поводу внезапной любви к бедному Бауэру.

Бауэр был женат, и его супруга скоро заметила, что за духовной близостью с Айседорой скрывалась любовная связь. Узнав, что любовники собираются совершить совместное турне, она учинила скандал и пригрозила, что покинет Гарольда, если тот не откажется от поездки. После бурной сцены в присутствии Айседоры Гарольд решил остаться. Айседора уехала в Нью-Йорк одна…

В честь ее возвращения Зингер устроил большой праздник в

«Шери», пригласив на него все высшее общество Нью-Йорка. На празднике присутствовало около трехсот человек. Вечер начался обедом, затем были танцы, а закончился он продолжительным ужином. Зингер проявил верх щедрости и подарил Айседоре баснословно дорогое бриллиантовое ожерелье. Она никогда не носила украшений и мало интересовалась драгоценными камнями, но, тронутая великолепием подарка, обещала Зингеру надеть ожерелье на праздник.

До конца ужина все шло хорошо. Рано утром танцы возобновились. Шампанское лилось рекой, и головы затуманились изрядно. В последнее время Айседора все чаще прибегала к спиртному: опьянение придавало легкости и смелости. Внезапно Айседорой овладели жажда мщения и желание взорвать это фальшивое общество условностей, показать всю грубость истинного мира, продемонстрировать тот публичный дом, какой скрывается под позолотой лепнины. Ее охватило безумное желание отдаться вульгарному ритму. Она схватила за руку молодого красавца, оказавшегося рядом, вытащила его на танцевальную дорожку и начала танцевать с ним хулиганское танго, какому научили ее в аргентинских притонах. Плотно прижавшись к бедру кавалера, она увлекала его в головокружительные спирали, запрокидывала тело, скользила с горящим взглядом в длинных шагах и сладострастных покачиваниях. Гости окружили их кольцом, глядя на танец с осуждением и испугом. Вдруг железная рука схватила Айседору за волосы, несколько раз стукнула головой о голову партнера и с силой отшвырнула в другой конец зала, где она, ударившись о стену, упала на пол. Оркестр замолчал. Бледный от ярости Зингер вылил на нее поток ругательств, как на последнюю уличную девку. Это было чересчур. Айседора, шатаясь, встает, срывает с шеи бриллианты и швыряет ему в лицо. Не долетев, ожерелье со звоном падает на мраморный пол и рассыпается. Зингер уже исчез, а испуганные гости расходятся в полном молчании. Айседора затуманенным взором обводит зал, пытается сделать несколько па танца, но ноги подгибаются, и она тяжело падает. Какой-то музыкант, проходя мимо, видит ее на коленях, лицо закрыто руками, рыдая, она жалобно стонет: «Лоэнгрин… Лоэнгрин…» Он подходит, поднимает ее и, взяв за руку, тихо говорит:

— Пойдемте, мадам, не надо здесь оставаться. Вам пора вернуться домой.

На следующий день Зингер уехал из Нью-Йорка, не оплатив колоссальный счет из отеля и расходы по школе. Она отнесла злосчастное ожерелье в ломбард, что позволило оплатить отель и

на какое-то время выручить школу. Вскоре она продала горностаевое манто и чудесный изумруд, купленный Зингером у махараджи, разорившегося в казино в Монте-Карло. Все это принесло ей больше десяти тысяч долларов. С обычной своей нерасчетливостью она, едва получив эту сумму, снимает огромную дачу на Лонг-бич и приглашает множество своих друзей, в том числе знаменитого скрипача Изаи. В доме всегда полно народу. Звучит музыка, не прекращаются танцы на берегу океана, ночные праздники, морские прогулки и пикники. Бесконечные беседы сопровождаются возлияниями, головы идут кругом от грандиозных проектов и неосуществимых мечтаний.

В одно прекрасное утро она проснулась без цента в кармане. На деньги, вырученные от продажи манто и изумруда, можно было прожить около двух лет, но все улетучилось меньше чем за три месяца. Она возвращается в Нью-Йорк и начинает занимать, где только может. Лоэнгрин далеко. Долги растут. Кредиторы с каждым днем все настойчивее, а ангажементы все реже. Что делать?

В голову приходит мысль: продать дом в Мёдоне. На эти деньги можно прожить несколько месяцев, а там видно будет.

Но билет до Франции стоит дорого, а у нее нет и доллара. К счастью, ей позвонила Мэри Дести, только что вернувшаяся из Европы. Айседора делится с ней своими невзгодами.

— Кажется, у меня есть идея! — восклицает Мэри. — Мой друг Гордон Селфридж, хозяин универмага в Лондоне, завтра выезжает из Нью-Йорка в Англию. Если я попрошу его, думаю, он не откажется взять вам билет.

— Попробуйте. Я сейчас в таком положении, что самолюбие надо отложить в сторону. Верну ему деньги, как только смогу.

Селфридж галантно предлагает ей совершить поездку. Он очень доволен, что может оказать услугу артистке, которой он давно восхищается и не перестает следить за ее успехами. Во время путешествия она подпадает под очарование этого мужчины, так не похожего на всех, кого она знала до сих пор. У него завидное душевное равновесие, отменное физическое и моральное здоровье, ровный характер и такой вкус к жизни, что все ее прошлые любовники, в том числе Зингер, кажутся ей неврастениками по сравнению с ним. Ее восхищают его неиссякаемая веселость, ненасытный оптимизм, при том, что он не пьет ни капли спиртного. «Как ему удается быть счастливым просто от сознания, что он жив? — удивляется она. — Он, наверное, принадлежит к другой породе людей».

В Лондоне она обнаруживает, что для поездки в Париж не хватает денег. Снимает небольшую квартирку на Дьюк-стрит и

шлет телеграмму за телеграммой парижским друзьям с просьбой о помощи. Ответа нет. Телеграф временно занят под нужды армии. И телеграмма Зингеру остается без ответа. С каждым днем Айседора чувствует, что падает в пропасть. Нет большего унижения для знаменитого артиста, чем нищета. Скольких знавала она актеров, а особенно актрис, когда-то обожаемых публикой, а теперь обреченных на нищету только потому, что в молодости они не смогли предвидеть превратностей возраста и капризов моды! Лучше умереть от стыда, чем прочесть в притворно-сочувствующем взгляде самодовольной посредственности плохо скрытое торжество над знаменитостью, когда-то вызывавшей столько зависти.

Сколько раз по ночам, сидя перед открытым окном в полной темноте из-за обязательного затемнения, следила она за воздушным налетом в надежде, что какой-нибудь самолет из вражеской авиации сбросит бомбу на ее дом и она погибнет под развалинами. Она следит за грозным рокотом бомбардировщика, летящего над городом на малой высоте и раздирающего темноту своими прожекторами. Думает о пилоте, одиноко сидящем в своей кабине и оглушенном ревом мотора. Своими пустыми, светлыми глазами со стальным отливом он всматривается во мрак ночи, следит за бледной линией горизонта и за прибором, бунтующем при малейшей воздушной яме. Она упорно думает об этом ребенке с ангельским лицом, затерянном в необъятном небе, сеющем смерть среди звезд.

Она начинает молиться за своего прекрасного убийцу: если бы он мог направить на нее свой смертоносный ливень! Пусть он ускользнет от лучей прожекторов! Пусть вернется на базу, радуясь своей победе! Умереть от руки Парсифаля в огненной стихии! От бомбы, адресованной ей одной, летящей с неба, как молния, посланная юным богом!

Тем временем положение ее становилось все более отчаянным. Последние ресурсы исчерпаны, а новых контрактов не предвидится. Мир безразличен ко всему, кроме войны, а гнусной бойне все нет конца!.. Пристрастие к спиртному с каждым днем все сильнее. Хотя бы на час убедить себя, что это дурной сон, завтра небо расчистится, к ней вернутся воодушевление, работа, успех, все станет, как раньше. Но дни проходят, хмурые и пустые. Никакого просвета. Неужели этому кошмару не будет конца? Когда отчаяние сжимает горло, голова идет крутом, а пустота вокруг затягивает, как в воронку, и чудится жестокий и мстительный призрак одиночества («вы сами этого хотели!»), вино предстает как единственный путь к спасению… к нежности… к жизни. И пусть завтра, когда проснется, она увидит

реальность еще более ужасную и опасную, чем вчера! Сегодня главное — обмануть себя. И в этом обмане найти силы, чтобы выжить. Это нельзя назвать пьянством, это называется болезнь жизни. Никем не услышанный призыв на помощь при кораблекрушении, когда единственное спасение — бутылка, в которой можно найти конец своему отвращению, стыду, страху, ожиданию, она — верный спутник в дни несчастья.

Где и как она встретила его? Она не помнит. Забыла даже, как его зовут. Он работает атташе во французском посольстве. Он первым подошел к ней. На улице? В ресторане? Она и сама не знает. Знает только, что с тех пор, как она в Лондоне, она впервые заговорила и этот человек ее выслушал. Что она ему сказала? Что он ей ответил? Она не помнит. Они обменялись банальными словами, ничего не значащими фразами. После долго бродили по улицам, разговаривали так, словно были знакомы давным-давно, а когда расстались, каждый вернулся в свое одиночество с ощущением, что пережил один из тех моментов, которые стоят целой жизни.

На следующий день Айседора нашла в своем почтовом ящике конверт, а в нем — билет во Францию.

Приехав в Париж, занимает деньги и снимает комнату в отеле «Пале-д'Орсэ». Несмотря на зловещий гром немецкой пушки «Большая Берта», сотрясающей каждый день столицу, чувствуется, что конец войны близок.

Надежда возрождается. В Париже Айседоре дышится легче. Друзья, былые связи помогают ей вернуть радость жизни, желание работать, любить. В доме друзей в Пасси однажды вечером встретила она Ролана Гарроса, военного летчика-аса. Ему тридцать лет, у него чарующая улыбка, он играет Шопена и просит ее танцевать. Потом провожает ее до отеля на набережной Орсэ. На площади Согласия их настиг воздушный налет. При свете разрывов она танцует, он любуется ею, в карих глазах его горит золотая искорка, он аплодирует и смеется. Расставаясь, они обещают друг другу встретиться вновь. «Завтра я уезжаю на фронт, — говорит он. — Когда вернусь, дам знать». Через три дня его объявляют пропавшим без вести, а через неделю сообщают, что его самолет был подбит в бою с вражеской эскадрильей.

11 ноября 1918 года. В пять утра в военном поезде маршала Фоша, стоящем вблизи Компьеня, подписано перемирие. В одиннадцать часов загрохотали тяжелые пушки салюта победы в крепости Мон-Валерьен и на Марсовом поле, орудия противовоздушной обороны, все семьдесят пять пушек Дома инвалидов, орудия подводной лодки «Монгольфье». Как в

пасхальный день, заливаются колокола всех церквей, все окна настежь. Наконец-то. Кончилась война.

Моментально все дома и автомобили украшаются трехцветными знаменами и флагами союзников. Сине-бело-красные кокарды на одежде и в прическах дам. Все высыпали на улицу, обнимаются с незнакомыми, люди смеются и плачут одновременно. Опустели школы, учреждения и цехи заводов. С фабричных окраин переполненные поезда подвозят рабочих, студенты из Латинского квартала гуляют по бульварам. На площади Республики английские солдаты распевают «Путь далек до Типерери». «Марсельеза» плывет над толпой, заполнившей улицы. Мужчины, женщины, дети строятся в колонны, весело размахивают флажками. Увлеченная их радостью, Айседора прошла по улице Риволи до площади Согласия. Видит, как женщины обнимают солдат, делегации украшают цветами статуи, символизирующие освобожденные города Лилль и Страсбург. Люди расхватывают немецкие трофеи, сваленные посередине площади. Тащат пушки с оседлавшими их мальчишками. А над толпой летают военные аэропланы, делают «мертвые петли» и «бочки».

Вернулся мир, а с ним и оживление культурной жизни. Парижская публика, подзабывшая Айседору за четыре года войны, с удовольствием возобновляет знакомство. Конечно, возраст и излишества утяжелили ее, зато искусство достигло вершины. Такое впечатление, что испытания смягчили, очеловечили все, что было в ее танце догматичного и даже вызывающего. Пресса встретила ее возвращение на сцену «Трокадеро» если не с энтузиазмом, то, во всяком случае, с дружеской теплотой. Журналисты не забывают упоминать, что она американка. В ту пору по всякому поводу подчеркивали решающее значение для победы вступления США в конфликт. «Это она! Она! Та самая американка, — захлебывается критик из „Конферанс“, — наша великая подруга, ставшая еще и союзницей, благородная коллега всех артистов и писателей, считающих красоту главным идеалом».

Ее финансовое положение восстанавливается, но она по-прежнему ощущает признаки кризиса или недомогания, которому трудно дать название. Это похоже на ощущение пустоты, огромной усталости, которую день за днем усугубляют воспоминания. Образ детей не покидает ее, хотя душевная рана от потери, конечно, заросла, ведь прошло семь лет после их гибели. Это состояние становится постоянным фоном повседневной жизни. Разрыв с Зингером был лишь нервным потрясением, не коснувшимся глубины души. По существу,

разрыв этот наметился еще до сцены в отеле «Шери», и скандал лишь послужил поводом, точкой в их отношениях.

Когда прошло возбуждение, связанное с возвращением, утихла горячка победных дней, погасли праздничные лампионы и порвалась нить, недолго связывавшая Айседору со всенародным праздником, она опять осталась наедине с собой, со щемящим чувством собственной ненужности. И даже хуже: тщетности всего, что она делает. «Зачем все это?» — таков лейтмотив повседневной жизни. Жить, не любя, не будучи любимой, не ощущая рядом с собой присутствия мужчины, — разве это жизнь? В отчаянии она пытается придать форму тому, кого рядом нет, воображает его лицо, слова, жесты и находит утешение в вине. Опьянение заставляет сердце биться от иллюзии, одновременно спасительной и смертельной. Не увидит ли она, проснувшись поутру, ворона, сидящего, как у Эдгара По, на бюсте Минервы и повторяющего ей свое всегдашнее «nevermore»[39]? Каждое утро призрак надежды исчезает среди бесцветных испарений, а птица из черного дерева только сочувственно улыбается, глядя на нее холодным взором.

Что это: видение, порожденное ее воображением? Он словно пришел из другого мира. У него крепкое тело, высокий лоб, светло-пепельные волосы, удлиненное лицо с таким меланхоличным выражением, что боги и те бы заплакали. Его зовут Вальтер Руммель. Мираж? Видение? Привидение? Пожалуй, да. Он явился, как ангел, коснулся земли крыльями, сел перед роялем. Пальцы легли на клавиши и извлекли звуки словно бы знакомые, но слышала она их впервые: «Святой Павел шагает по водам… Мысли Господа в одиночестве… Святой Франциск разговаривает с птицами». Ни один виртуоз не достигал таких вершин. Люди вокруг, подобно Айседоре, не очень уверены в реальности происходящего. Когда умолк последний звук, никто не пошевелился: боялись порвать нить, соединяющую их с иным миром. Айседора первая решилась зааплодировать. На нее обернулись, словно она совершила что-то неприличное и даже хуже — святотатство. Он встал, легко поклонился, глядя на нее. Глаза цвета воды и неба, прекрасные, как прощание. Золотистая шевелюра обрамляла его бледные щеки, подобно занавесу из тяжелого шелка. Сходство с Ференцем Листом было фантастическое. «Это перевоплощение», — подумала Айседора. Она подошла к нему, взяла за руку и прошептала: «Вы мой архангел. Я хочу танцевать для вас». Она не узнала своего голоса. У нее создалось впечатление, что она действует и говорит, как во сне, словно ее ведет какая-то невидимая сила. Он послушно играл для нее, а она импровизировала новые танцы, вдохновленные

молитвой, нежностью и светом. Архангел играл, как в озарении. За нотами произведений ему виделся глубокий смысл исступленного восторга.

В таком же религиозном трансе он совершал любовный акт. Сжигаемый изнутри непокорной душой, он отказывался от чувственного наслаждения со всей непреклонностью и чистотой двадцатилетнего юноши, разрывающегося между непреодолимым желанием тела и горячим стремлением к святости. В этом вечном поединке ангела с демоном Айседора играла унизительную роль агрессивного соблазнителя. Он ненавидел власть, которую она приобрела над ним, проклинал препятствие, которое она поставила перед ним, чтобы помешать ему вознестись к вершинам, где он мог бы отречься от земного и предаться медитациям. А ведь она его любила своим пылающим телом, как может любить приговоренный к сожжению на костре. Но, уступая ей, он тотчас понимал, что эта любовь его погубит. Порой нервы его не выдерживали, и он восставал против агрессора:

— Ты любишь меня помимо моей воли. Ты хочешь моей гибели. Ты хочешь принизить музыку, низводя ее до уровня служанки чувств. Но я не поддамся, Айседора. Я смогу защититься. И никогда не собьюсь с пути истинного, так и знай.

— Ты с ума сошел, ангел мой. Я не собираюсь губить тебя, наоборот, я тебя спасаю, даю тебе возможность расцвести в любви. Без этого, как бы ни было велико твое искусство, оно всегда будет лишено гуманного, человеческого начала. Ты играешь не для ангелов, тебе подобных…

— Мое искусство не для людей.

Когда наступило лето 1919 года, они поехали на несколько дней на юг, в Сен-Жан-Кап-Ферра, и в освободившемся гараже, где еще пахло машинным маслом и бензином, оборудовали студию. Вне времени, не замечая дней и ночей, он неустанно играл, а она танцевала. Так она вновь, уже в который раз, вернулась к жизни. Еще раз выпросила у любви возрождение.

«Какое божественное время! — писала она. — Мой архангел вернул мне красоту, рядом — море, и вся жизнь наполнена музыкой. Я счастлива, как католики, мечтающие о вознесении. До чего жизнь похожа на маятник! Чем сильнее страдание, тем выше затем экстаз. Чем глубже печаль, тем радостнее возвращение счастья!»

День 14 июля 1919 года застал их обоих в Париже, и они присутствуют, рука в руке, на параде победы с прохождением войск под Триумфальной аркой. Небо нежно-голубое. Легкий ветерок колышет флаги. Слышен артиллерийский салют. Звенят трубы, рокочут барабаны. И вдруг — тишина. Слышен только

приглушенный гул толпы, теснящейся по обеим сторонам Елисейских Полей. Люди сидят на балконах, забрались на крыши, облепили фонарные столбы. Послышался цокот копыт по мостовой. Маршалы Фош и Жоффр бок о бок выезжают верхом на знаменитую улицу, каждый с маршальским жезлом в руке. Оркестр республиканской гвардии составляет эскорт, а за ним — командование всех союзнических армий и целый лес знамен и флагов. Толпа поет «Марсельезу». Слышатся возгласы, прославляющие генералов по мере их продвижения с саблями наголо: Кастельно, Гуро, Петен, Манжен, Файоль… Толпа радостно приветствует солдат-фронтовиков. «Мир спасен! Мир спасен!» — кричит, не переставая, парнишка, залезший на крышу. Айседора и ее спутник переглядываются.

— «Мир спасен!» — так мог сказать только поэт, — замечает Айседора.

— Это слова наивного ребенка, — отвечает Вальтер. — Поистине народ глуп. Он кричит от радости, а надо бы запереться дома и оплакивать погибших. Такая мясорубка, миллионы убитых, инвалидов, калек… Для чего все это? Для такого вот маскарада?

— Вы правы, Вальтер. Но не будьте слишком строги. Людям стало легче. Они наконец вздохнули свободнее после четырех лет страха и страданий. Им надо воспеть свою победу. Их можно понять.

— Нет ни победителей, ни побежденных, Айседора. Сегодня я среди униженных. Но придет день, когда все может перемениться.

— Постарайтесь забыть, Вальтер, что вы немец. Поймите, что у людей, как вы и я, нет другой родины, кроме искусства. Вспомните, ведь я танцевала музыку Вагнера в разгар войны, когда все композиторы вашей нации были запрещены.

После этих исторических дней, прожитых вместе со своим архангелом, Айседора очень скоро была возвращена к повседневной реальности. Ее материальное положение требовало принятия немедленных мер, чтобы не оказаться вновь в состоянии полного безденежья. Поэтому она решила продать замок Бельвю за любую цену. Покинув славные вершины своего Олимпа, она приехала вместе с Руммелем в замок, чтобы посмотреть, в каком состоянии здание.

— Неужели вы собираетесь продать его?! — воскликнул он. — Вы с ума сошли!

— Но ведь все разваливается, бедный мой ангел. Их госпиталь превратил мой дом в лепрозорий.

— Почему не попытаться восстановить здание? Тогда у вас будет и студия для танцев, и помещение для школы. А у меня —

моя студия. Это будет великолепно.

— Для этого нужны деньги, ангел мой… много денег.

— Деньги найдутся, я уверен. У вас есть имя, связи. Вы легко получите необходимые средства.

Она обращается к знакомым политическим деятелям, которые могли ее поддержать. Все отвечали, что у них другие первоочередные задачи: помощь вдовам и бывшим фронтовикам, необходимость восстанавливать хозяйство страны. Так что не до школы танца!..

Отчаявшись, она в конце концов согласилась взять у французского правительства разумную сумму за эти здания. В момент подписания контракта она узнала, что Бельвю превратят в завод по производству удушающих газов на случай новой войны. Не сдержавшись, она сказала представителю военного министерства:

— Итак, этот дом, который я отдала, чтобы спасать человеческие жизни, будет служить для производства орудий смерти. — И, посмотрев в последний раз на то, что было Храмом танца будущего, закончила: — Как жаль! Отсюда открывался такой красивый вид![40]

На деньги от этой сделки она покупает на улице де ля Помп, в 16-м округе Парижа, дом номер 103, где находился Бетховенский зал. Едва переехав, она превращает его в студию, точнее в святилище, ибо в изысканиях, которые она ведет вместе со своим архангелом, участвуют и музыкальная мистика, и танец. Руммель открывает перед ней духовность Листа, и они готовят концерт из его произведений. Со своей стороны Айседора восстанавливает несколько движений из «Парсифаля».

— Когда он играет, а я танцую, — доверительно говорит она Мэри Дести, — у меня впечатление, что наши души вылетают из тел и сливаются в некую духовную сущность, не зависящую от нас. Звуки и жесты улетают вдаль, и сверху им отвечает эхо. Бывает так, что благодаря одной лишь любви мы уносимся за грань невидимого. Словно секрет созидания вдруг становится доступным. Благословенные минуты… Волшебные моменты.

Счастье было бы полным, если бы рядом с ней были ее ученицы, ее милые «айседорята», как она их называет. Ведь для нее преподавание танца так же необходимо, как исполнение. С детских лет испытывает она невыразимое удовольствие от занятий и тем и другим, когда она делится тем, что уже знает, и одновременно преподносит ученикам то, что ей открывается каждый день в ее искусстве. Она до такой степени чувствует себя лишенной этой радости, что, несмотря на возражения многих, в

том числе и Руммеля, считающего, что искусство, как и все мистическое, непередаваемо, решает вызвать в Европу тех учениц, которые остались в Штатах.

Через месяц они приезжают, свеженькие, здоровенькие, в ореоле успеха, который сопутствовал первым выступлениям за океаном «танцовщиц Айседоры Дункан». Она предлагает им поехать в Афины: глава греческого правительства Венизелос просит ее открыть школу танца в Греции. Все тут же соглашаются. С ними едет Эдвард Штейхен, живописец и фотограф.

За несколько дней до отъезда Айседоре показалось, что ее любимый переглянулся с одной из учениц, восемнадцатилетней красавицей Лорой. Решает не беспокоиться по этому поводу. «Я могла просто ошибиться. Девушка кокетлива, хочет всем нравиться. Ничего особенного. Ведь чтобы соблазнить Вальтера, красивой мордашки мало. Я-то его знаю, это средневековый монах. Его не соблазнишь глазами серны и невинной гримаской».

В Греции Айседора готовит учениц к большому представлению, которое состоится на стадионе по случаю вакхических празднеств. Каждый день они ходят к Акрополю, любуются Пропилеями, храмом Афины, Парфеноном, где Штейхен сделал великолепные снимки Айседоры. Она словно выплывает из луча света между мраморными колоннами, подобно живому воплощению античной богини.

Во время экскурсии на холм Гиметт они увидели развалины Копамоса, где крестьянки пасли коз. Фундамент и стены сохранились. Айседора решает расчистить участок и восстановить здание. Конечно, речь уже не идет о строительстве дворца Агамемнона, а просто о возведении обитаемого дома. Пригласили молодого архитектора, подвели здание под крышу, навесили двери и прорубили окна. В общем зале с высоким потолком положили ковер для танцев, установили рояль. Каждый вечер Руммель играет там Баха, Бетховена, Листа и Вагнера, пока заходящее солнце окрашивает небо в охру и пурпур. В сумерках вся компания, надев венки из жасмина, спускается к заливу Фален и ужинает на берегу моря.

Глядя на своего двадцатилетнего архангела в окружении девушек, увенчанных цветами, Айседора невольно вспоминает о Парсифале в саду Кундри. И замечает также, как изменилось его выражение лица, в нем нет уже былой эфирной возвышенности, взгляд стал более приземленным. До сих пор она считала их любовь непобедимой. Даже разница в возрасте ее не смущала. Связующая их страсть была так возвышенна, что она не боялась быть на двадцать лет старше его. Ведь они были мистической парой, были выше предрассудков и условностей, не так ли?

Но вот аскет увидел реальный мир, и взгляд его, ранее обращенный к небесам, остановился на юной американской красотке, и крылья архангела превратились в мускулистые руки, способные крепко прижать к себе дриаду. Как-то вечером, когда он закончил играть марш из «Гибели богов» и последние аккорды еще не затихли, она заметила, как между ним и девушкой будто промелькнула молния, вобравшая в себя всю любовь и все желания мира. Она осталась сидеть, словно пригвожденная к стулу, пытаясь сдержать сердцебиение, сверхчеловеческим усилием сохраняя прежнее выражение лица, и удержать рыдания, готовые вырваться из груди. Наконец она встала и, изобразив необычайную веселость, воскликнула:

— Предлагаю завтра экскурсию в Фивы! Кто с нами?

Штейхен и десяток учениц радостно поддержали идею. Как и следовало ожидать, Руммель и Лора, сославшись на желание сделать покупки в Афинах, решили остаться. Вечером все должны были встретиться в Копамосе.

Приехав в Фивы, группа посетила дворец Кадмоса, оттуда прошла по дороге, ведущей через древний город в направлении Халкиса. Над храмом Артемиды в Авлиде Айседора вновь увидела сияние, словно с неба сыпался золотой песок, и ей представились девственницы, танцующие в честь трагического жертвоприношения Ифигении. Ведь именно здесь Агамемнон принес свою дочь в жертву Артемиде. Неужели и она должна принести себя в жертву любви пианиста и своей ученицы? В ту же минуту мысль о молодых людях, оставшихся без свидетелей в Копамосе, пронзила ее. Несмотря на все усилия, она не могла отделаться от этого наваждения. Их лица, сияющие юной красотой, неумолимо стояли у нее перед глазами. Напрасно старалась она сосредоточиться на созерцании гавани Авлиды и представить себе греческий флот из тысячи кораблей, ожидающих попутного ветра, чтобы помчаться к Трое, — все величие Эллады не смогло прогнать пожирающего ее чудовища ревности.

Мысли неумолимо возвращались к двум существам, которых она любила и ненавидела одновременно. Что делают они в эту минуту? Поцеловал ли он ее? «Он не очень-то предприимчив по части интимных услад», — размышляла она. Но это ее не успокаивало. «Для него важна любовь в душе. И здесь меня тоже обошли. Поздно. Поздно». Слово это стучит в висках. Кровь то приливает к голове, то откатывает к сердцу и стучит, как колокол. Она представляет их стоящими лицом друг к другу в луче света. Он обнимает ее за талию, покрывает поцелуями, а она запускает руки в его длинные волосы. Был момент, когда страдание заставило Айседору отойти от группы, чтобы не

закричать от боли. Она подошла к берегу моря и долго стояла не шевелясь, всеми силами призывая смерть освободить ее от нестерпимого страдания.

И вдруг почувствовала, как чья-то рука легла ей на плечо. Оглянулась. Это был Штейхен.

— Айседора, — тихо сказал он, — вы выше всего этого. Вы играли с огнем, но обжечься не должны. Никто не может сравниться с вами.

— Ах, Эдвард…

— Ничего не говорите. Пойдемте со мной.

Нежно обхватив ее, он вернулся с ней к ученицам.

Когда они возвратились в Копамос, по румянцу, вспыхнувшему на щеках Лоры, по смущению Руммеля она поняла все. Немного позднее увидела, как соединились их руки. Робкая надежда, за которую она цеплялась, и та рухнула. Оказавшись одна в своей комнате, она смогла полностью предаться отчаянию. Оплакивала разрушенную любовь, улетевшего архангела, потерянную свободу и безвозвратно прошедшую молодость. Ведь осталось всего несколько лет, и наступит роковой возрастной порог. Позади почти вся жизнь. И вот она вновь, как двадцать лет назад, здесь же, у Акрополя, рыдает по поводу рухнувшей мечты.

Первые лучи солнца застали ее еще неспящей. Она медленно поднялась, открыла ставни и вновь увидела мраморный карьер горы Пентелик в розовых лучах восходящего светила.

ГЛАВА XIX

«Золотая голова!»

Лениво раскинувшись на диване, она запускает пальцы в волосы Сергея, а тот, свернувшись калачиком, лежит у ее ног и смотрит на нее большими, зелеными, как у кошки, глазами.

«Золотая голова!» — повторяет она. В другой руке она держит пустой стакан.

— Алексей, — кричит она, — налей еще водки!

— Хватит, уже набралась, — ворчливо отвечает хриплый голос из другого конца студии.

Она наклоняется к лицу Сергея, целует губы, нос и глаза, шепчет: «Ангел!.. Ангел!..» Проводит ладонью по щеке, вокруг шеи, просовывает ее в открытый ворот рубахи, гладит белую кожу, касается его груди, живота, опускается ниже… Ярко-красные губы опять касаются его рта, впиваются в него, язык ищет входа в его сомкнутые пухлые губы. Он пытается увернуться. Она кусает его до крови. Не меняя позы, он отвешивает ей звонкую пощечину. Она обижается, отворачивается, засовывает голову под вышитую подушечку, плачет, коротко всхлипывая. Он пытается обнять ее за талию, но она вырывается. Он с трудом встает, протягивает к ней руки, но теряет равновесие и падает. Она хохочет, кричит: «Черт! Черт!» Бежит к окну, раскрывает его настежь. В комнату врывается морозный воздух. Она высовывается на улицу и кричит: «Сергей Есенин — сволочь! Сергей Есенин — дикарь! Сергей Есенин — противный мужик! Сергей Есенин — ангел! Мой ангел! Ангел зла!.. Ангел!.. Ангел!..»

— С ума сошла! Разбудишь весь город!

Он встает и пытается оторвать ее от окна, а она цепляется изо всех сил за подоконник.

— А мне плевать. Вся Россия должна знать, что ты — пьяница, несчастный тип! Товарищи! Слушайте! Слушайте меня! Великий поэт Сергей Есенин — хулиган! Этот бог поэзии, воспевающий большевизм, молодой гений современного искусства — свинья! Грубиян! Пьяница! Пьяница!

— А ты тогда кто? — спрашивает он.

Она резко оборачивается, сверкая глазами, кричит:

— Да, все должны знать, что знаменитый Сергей Есенин, белокурый ангел революции, просто мерзавец! Вот так! Мой ангел… Мерзавец! Пусть все знают… — После этого бросается в его объятия, целует без устали, плачет, смеется, задыхается:

— Ты совсем как я, бедный мой Сергей! Мы с тобой одинаковы. Ты гений, ты пьяница. У нас с тобой, Сергей, одна

душа на двоих… Одна душа!.. Одна душа!..

Обнявшись, Айседора и Сергей идут, покачиваясь, вдоль темного коридора, спускаются по крутой лестнице, спотыкаясь на каждой ступени, наконец выходят на бульвар. На улице — серый рассвет. Морозный воздух щиплет лицо. Они смотрят на небо, друг на друга и уходят во тьму…

Полгода назад с опустошенным сердцем Айседора вернулась из Греции в Париж, в квартиру на улице де ля Помп. Небрежно собрала письма, подсунутые под дверь. Среди неоплаченных счетов, разных сообщений и приглашений увидела телеграмму. «Наверное, какой-нибудь кредитор спешит получить долг», — подумала она и, не торопясь, раскрыла ее. Отправлено из Москвы 13 апреля 1921 года. «Только русское правительство может вас понять и оценить, — прочитала она на белых телеграфных лентах, наклеенных на голубоватую бумагу. — Приезжайте. Создадим для вас школу. Анатолий Луначарский, нарком просвещения и искусств».

«Это невероятно! Они угадали мое состояние! Архангел улетел с Лорой, ученики разъехались… Здесь мне больше делать нечего». Она ответила немедленно:

«Товарищ!

Я не хочу слышать о деньгах за мою работу. Мне нужно только помещение для занятий, жилой дом для меня, учениц и преподавателей, скромное питание, несколько туник, а главное — возможность применить все свои способности. Мне осточертел капитализм и буржуазный режим. Мне никогда не удавалось донести мое искусство до народа, а ведь только для него я и работала. Меня заставляли продавать свой талант по пять долларов за место в зале… Теперь я хочу танцевать для трудящихся масс, для моих товарищей. Если вы принимаете мои условия, я приеду и буду участвовать в прославлении Советской республики и в воспитании ее детей».

Получив это письмо, Луначарский тотчас телеграфирует Айседоре: «Ждем вас в Москве. Будете иметь школу и тысячу детей. Сможете реализовать ваш проект в широком масштабе».

Новость была представлена огромными заголовками в парижской прессе: «Айседора Дункан уезжает в Советскую Россию создавать школу танца».

Интервью танцовщицы всех удивило и шокировало.

— Советское правительство, — заявила она, — единственное, которое интересуется искусством. Я не могу более продолжать работу в Париже. Органы государственной власти абсолютно не интересуются танцем, а дирекция «Трокадеро» заявила, что не даст мне ни сантима для создания школы. Несмотря на всю мою

любовь к Франции, я отдам мое искусство русским, которые всегда меня очень горячо принимали. У них лучшие музыканты в мире, они полны бескорыстного энтузиазма.

— Вас не страшат ограничения в питании?

— У меня колоссальный аппетит к духовной пище, но я не боюсь голода телесного. Я выросла в бедной семье. Лишения никогда не помешают мне бороться за мои идеалы. На карту поставлена главная цель моей жизни. И потом, знайте: настоящий коммунист не страшится ни холода, ни голода, ни других материальных неудобств.

— Вы согласны с политикой советского правительства?

— Это меня не интересует. Знаю, что только в Советской России я смогу наконец создать школу, о которой мечтаю.

И потом, у меня будет свой театр, свой оркестр, своя публика, которой не придется платить за места в зале, а также сотни учениц, которых будут обучать бесплатно. Советская Россия — единственная надежда, которая нам осталась. Назовите мне другую страну, где воспитание, искусство, музыка и танец пользуются таким же вниманием, как там.

— А в Америке?

— В Америке? Эта страна напрочь лишена воображения. Она не уважает творческих работников. Там презирают истинные таланты. Искусство? Красота? Там плюют на все это. Для американцев важно одно: деньги, деньги и еще раз деньги!

— Впечатление такое, что вас обратили в большевистскую веру.

— Не знаю, стала ли я большевичкой! Знаю только, что создание Советского государства — самое большое чудо, произошедшее с человечеством за последние два тысячелетия, а страдания, переживаемые этой страной, явятся в будущем тем же, чем явились распятия христиан для нас. Осуществляются предсказания Платона, Ницше и Уолта Уитмена. Они распространятся, подобно гигантской волне освобождения.

— На какой срок вы подписали контракт?

— Я не подписывала контракта. Мне уже надоело подписывать их. Думаю пробыть там лет десять.

Перед отъездом из Франции она дала прощальный вечер для друзей в студии на улице де ля Помп. Присутствовали: Северин, социалист, настроенный весьма воинственно, Рашильда, жена Валетта, директора газеты «Меркюр де Франс», также придерживающаяся, по ее словам, левых взглядов, Жак Копо со своей красавицей-переводчицей Валентиной Тессье, а также несколько русских эмигрантов, уехавших из России после 1917 года и умоляющих Айседору отказаться от поездки:

— Красная Россия! Это ужасно! Общая нищета! Холод! Голод! Ужасно, Айседора, ужасно!

— А мы будем так много танцевать, что не замерзнем и забудем о пище.

— Большевики могут посадить вас в тюрьму!

— Не беспокойтесь. Я официально приглашена товарищем Луначарским от имени советского правительства.

К Айседоре бросается мадемуазель Чайковская, родственница белогвардейского генерала Чайковского:

— Айседора, я вас умоляю. Ради бога не уезжайте! Там происходят жуткие вещи. Сплошной, беспросветный голод. Говорят, там уже едят детей… Мне написал друг моего отца…

— Не верю ни одному слову. Но даже если это так, значит, у меня есть еще одна причина поехать в Россию: спасти ребятишек, — отвечает Айседора со смехом.

«Какая великолепная стрекоза!» — писал Северин в своей статье, опубликованной на следующий день.

Две воспитательницы, менее оптимистичные, чем Айседора, в последний момент ехать отказались. Одна из них отправилась в Америку, чтобы там выйти замуж, другая предпочла остаться в Париже. Так что Айседору будут сопровождать третья воспитательница, Ирма, которую она удочерила и дала свою фамилию, а также Жанна, вот уже пятнадцать лет ездит с ней повсюду, то в качестве гувернантки учениц, то костюмерши, то прислуги, в зависимости от обстоятельств и капризов хозяйки.

В багаже Айседоры нет ни одного платья. А зачем? Там она будет ходить, как все «товарищи», в простой блузке из красной фланели.

1 июля 1921 года она ступает на борт парома, чтобы ехать в Лондон, где пересядет на пароход. Ее сопровождает Мэри Дести. Она, как человек предусмотрительный, приготовила для подруги два баула: один с консервами, другой с шерстяными одеялами и свитерами. Айседора только и говорит, что о своих планах. Мэри никогда не видела ее в таком возбужденном состоянии.

— О, Россия, Мэри! Россия! Это новый мир! Мир товарищей! Мир Маркса и Ленина! Прощай, старая, заскорузлая Европа, одряхлевший капитализм. Прощай, разлагающаяся буржуазия. Прощайте, неравенство, несправедливость, погоня за выгодой. Еду в страну надежды, гармонии, братства! Представляете, Мэри, школа на тысячу учеников! Дети, танцующие Девятую симфонию, их души витают на крыльях музыки!

— Можно подумать, что вы отправляетесь в рай, — тихо иронизирует Мэри.

— Это и есть рай! Никаких идиотских правил, никаких

глупых предрассудков, устарелых условностей… Новый мир, где каждый может свободно проявить лучшие свои качества и отдать их человечеству. Представляете, Мэри, ни Европа, ни Америка не поняли моих замыслов. Они подумали, что я хочу воспитать юных танцовщиц для сцены, а я никогда не собиралась этого делать, никогда. Ведь я хочу научить их двигаться, ходить, бегать, сформировать совершенные тела, гармонично развитые души, людей, способных выражать красоту во всем, с тем, чтобы они, в свою очередь, воспитывали в таком же духе своих детей, и так далее… Вот что я называю танцем. Но, по существу, я хочу научить их быть самими собою. Во всех отношениях. Вы меня понимаете, не так ли? Я хочу воспитывать тысячи и миллионы детей. Моего энтузиазма хватит на всех детей мира. Я бы хотела видеть всех детей вселенной, водящих хоровод и сеющих повсюду радость и братство.

Айседора очень взволнована, ей трудно расставаться с подругой. И уже за секунду перед тем, как уберут сходни, она опять бросается в ее объятия:

— О, Мэри! Почему вы не едете со мной? Почему остаетесь в этой стране печали и несчастья?

— Обещаю вам, Айседора, что по первому же вашему зову приеду к вам. Где бы вы ни были и когда бы ни позвали. Рассчитывайте на меня. Прощайте, Айседора. И успехов вам!

В десять часов вечера пароход, громко гудя, медленно отошел от причала. Мэри долго следила за ним взглядом, пока иллюминаторы не превратились в светлые точки на горизонте.

19 июля Айседора, Ирма и Жанна прибывают в Ревель[41] и садятся в поезд, идущий в Москву. Путешествие начинается с поломки паровоза. На ремонт уходит все утро. Всем троим предоставляют места на жестком деревянном диванчике в вагоне второго класса. Пересечение эстонской границы занимает целый день: красноармейцы проверяют всех пассажиров, одного за другим. Айседора, воспользовавшись стоянкой, достает граммофон и танцует перед ошарашенными крестьянами. Три дня и три ночи их качает и трясет. На каждой остановке народу набивается все больше и больше. Наших путешественниц толкают и теснят.

Оглушенные, покрытые копотью, Айседора, Ирма и Жанна вышли на перрон вокзала в Москве, полуживые от усталости и голода. В пути им выдали по буханке черного хлеба и по банке икры.

На перроне вокзала они ищут делегацию товарищей, пришедшую их встречать с духовым оркестром, детей с красными

флажками, песнями и цветами… Никого. Слегка разочарованные, они проходят в зал ожидания. Наконец видят приближающуюся к ним худощавую даму неопределенного возраста. На отличном английском та спрашивает:

— Вы миссис Дункан?

— Да, я действительно товарищ Дункан.

— Мне поручено доставить вас в гостиницу.

Все четверо усаживаются в дрожки и скоро оказываются перед зданием прошлого века, украшенным разрушающимися кариатидами. Когда-то Айседора бывала в этом, тогда роскошном, отеле. В холле сохранились парадная лестница, потускневшие зеркала, мраморные украшения со множеством бронзовых ветвей, фестонов и листьев. В глубине, на пьедестале, обтянутом ярко-красным полотном, — большой бюст Ленина. Дама покидает их, сообщив, что свяжется с ними позже. В отеле — длинные прямые коридоры, голые стены, дорожки, устилающие тщательно натертый паркет.

Когда Айседора вошла в номер, по существу спальню с тремя походными кроватями, поверх которых положены простые матрасы, она решила, что произошла ошибка. К счастью, они захватили простыни и одеяла. На столе — буханка черного хлеба и икра. В старом серебряном самоваре шумит кипяток для чая. Но усталость сильнее голода, и они падают на кровати, убежденные, что являются жертвами какого-то досадного недоразумения. Завтра им будет оказан должный прием. Но едва потушили свечи, как послышались странный писк, царапанье и негромкий мелкий топот. В испуге они вновь зажгли свечи и с ужасом увидели, что из углов за ними следят не меньше двадцати пар маленьких глаз. Зовут коридорного. Никакого ответа. Выходят. В коридоре темно и пусто. Спускаются к портье. Никого. Пришлось смириться с перспективой провести ночь в обществе маленьких грызунов.

Весь следующий день они ожидали встретившую их даму, но та не пришла. Поскольку ночные визитеры оставили только сухие крошки от ржаного хлеба, пришлось питаться консервами, положенными в багаж предусмотрительной Мэри Дести, и холодным чаем без сахара. Под вечер, так и не дождавшись новостей, они спустились в ресторан. Увидели что-то вроде бального зала заброшенного старинного дворца. Позолоченная лепнина, хрустальные люстры, застекленный потолок, ионические колонны, высокие пальмы в ящиках напоминают о былой роскоши. Тишина, как в церкви. Изредка позвякивает посуда. Тошнотворные столовские запахи. Ностальгия дворца, превращенного в богадельню.

На следующее утро, после такой же беспокойной ночи, как

накануне, Айседора решает действовать.

— Ждите меня здесь, — говорит она Ирме. — Я пойду к товарищу народному комиссару.

Скучное административное здание. Здесь находится Народный комиссариат просвещения. Коридоры, приемные, снуют озабоченные молодые люди с папками под мышкой. Она останавливает одного из них, объясняет, что хочет поговорить с товарищем Луначарским, но себя не называет, а показывает полученные телеграммы. Ее просят подождать в одной из комнат. Минут через двадцать дверь открывается и входит Луначарский. Крепкий мужчина, довольно массивный корпус, очень подвижные губы над бородкой с проседью, пенсне; вежливость преподавателя филологии перед ректором университета.

— Дорогая мадам Дункан, я так рад вашему неожиданному визиту!

— Думаю, что вы были в курсе моего приезда, поскольку сами пригласили меня телеграммой.

— Ах так?.. Возможно, возможно… Впрочем, это не важно. Я действительно в восторге. Очень, очень рад, поверьте. Что могу сделать для вас?

Она описала свое неудачное устройство в гостинице, напомнила его обещание создать государственное училище танца на пятьсот или тысячу учеников. Он внимательно слушает, покачивая головой:

— Школа? Ах да… Прекрасная мысль. Какой замечательный жест с вашей стороны! Наша народная республика очень, очень вам признательна. Только вот… — э-э-э… так сказать… Вы видите все в очень крупном масштабе… Вы правы, конечно. Вот только не знаю… может быть… для начала… можно было бы ограничить количество учеников… ну, скажем… до пятидесяти человек. А потом видно будет. Вы займетесь их физическим и эстетическим воспитанием. Как вы думаете?

— Я согласна, товарищ, но нужно выделить помещение.

— Да, конечно, конечно… Как это я не подумал? Разрешите?

Сняв телефонную трубку, спрашивает у кого-то из сотрудников, не найдется ли в Москве пустующего и достаточно большого помещения для школы «товарища Дункан».

— Что, что?.. Особняк Балашовой? Отличная мысль! Спасибо.

Положив трубку, говорит Айседоре:

— Предлагаю вам особняк бывшей балетной звезды Балашовой. Вы сможете переехать туда через неделю.

Луначарский не сказал, что после отправленного им в апреле приглашения положение Советской республики катастрофически ухудшилось. На X съезде партии Ленин предложил новую

экономическую политику, содержащую частичное возвращение к капиталистическим методам хозяйствования.

Народ покидает Поволжье и Юг России, где свирепствует голод. Беженцы осаждают Москву. Миллионы детей умирают от голода, и власти полагают, что сначала надо накормить детей, а потом уже учить их танцам. К тому же Луначарский поступил необдуманно, приняв обширную программу Айседоры, не согласовав предварительно вопрос с ЦК партии. Вот почему он так смущен…

В начале августа Айседора, Ирма и Жанна официально становятся хозяевами бывшего особняка Балашовой, знаменитой звезды императорского балета, уехавшей в Париж в первые же дни революции. Это здание в стиле рококо на Пречистенке, 20. Внутри бесконечная вереница унылых галерей и салонов. Потолки как в оперном театре, украшения из искусственного мрамора, стены, обтянутые порыжевшей узорчатой тканью, нелепые вестибюли, облицованные мрамором. Никакой мебели.

Лето и часть осени проходят в переоборудовании этого бесхозного корабля. Нелегкая работа!

7 ноября 1921 года, в честь четвертой годовщины большевистской революции, правительство приглашает Айседору Дункан выступить в Большом театре. Для своего первого выступления в Советской России она выбрала Славянский марш и Шестую симфонию Чайковского. На следующий же день «Известия» хвалебной рецензией приветствуют ее выступление как аллегорическое изображение русского народа, сумевшего разбить цепи рабства и деспотизма и совершить победоносную революцию. В конце программы, когда, задрапированная красной тканью, она исполняет «Интернационал», изображая поражение старого режима и пробуждение нового человечества, весь зал встает и поет революционный гимн. В конце первого куплета Ирма выходит на сцену с детьми, которые, держась за руки и протягивая их к свету, замыкают вокруг Айседоры кольцо, символизирующее братство грядущих лет.

Открытие Государственной школы танца имени Айседоры Дункан состоялось 3 декабря в присутствии официальной делегации, возглавляемой Луначарским. К большому сожалению Айседоры, ей не позволили набрать более сорока учениц. Но хуже другое: несколько дней спустя она получает письмо из наркомата, где сообщается, что в нынешних условиях правительство может предоставить ей только особняк Балашовой. Она не должна рассчитывать ни на какую субсидию, во всяком случае в данный момент. Она должна будет на свои средства содержать и отапливать школу. Позже, когда ситуация будет более

стабильной, правительство, быть может, предоставит ей помощь в меру своих возможностей. Она кидается к Луначарскому.

— К сожалению, ничего не могу поделать, — извиняется он. — Таково указание ЦК. Положение страны очень серьезное. Говорю вам доверительно, мадам Дункан: голод угрожает трем миллионам гражданам России. Товарищ Ленин обратился с призывом к трудящимся всех стран оказать нам срочную помощь. Из Норвегии специально приехал доктор Нансен, чтобы организовать комитет международной помощи. Америка предложила помощь для миллиона детей и инвалидов. Вот в каком мы оказались положении. Как видите, я ничего от вас не скрываю. Мы переживаем самый критический момент после 1917 года. Революция в опасности.

— Но что делать мне? Как сохранить школу? А отопление? Мне совершенно необходим уголь, товарищ. Представьте себе эти огромные запущенные залы, где гуляет морозный ветер. Мы живем, завернувшись в одеяла. В отдельные дни температура за окном опускается до минус сорока!

— Если мне правильно доложили, у вас еще есть на счетах в различных банках несколько тысяч долларов. Если хотите перевести их сюда, я могу облегчить вам эту операцию… Нам позарез нужна валюта. Если это невозможно, у вас есть другой выход: давать платные спектакли. В театре Зимина, например, который мы с удовольствием предоставим в ваше распоряжение… Или же организуем вам турне по городам России. Вы знаете, что советская публика вас высоко ценит. Вы у нас очень популярны. Ваше выступление в Большом было триумфом… Настоящим триумфом!.. О, этот «Интернационал»! Это было… ошеломляюще… Вы растрогали меня до слез. Прощайте, мадам Дункан. Еще раз выражаю сожаление… Наберитесь терпения… Надеюсь, что все скоро уладится…

Правительство не может дать денег, зато периодически присылает ей обслуживающий персонал. Приходят они парами, как на Ноев ковчег: два носильщика, две горничные, два лифтера и даже два повара в белых колпаках, хотя во всем доме нет ни одной кастрюли. Раз в две недели верная Жанна берет корзинку и идет получать «паек товарища Дункан», которая имеет право на дополнительное питание. В паек входит немного муки и икры (опять!), чая и сахара. Но поэты и артисты — любимцы советского режима, собирающиеся у нее почти каждый вечер, вносят существенное разнообразие в питание: на столах появляются огромные окорока, сотни пирожков. Водку пьют большими стаканами, а шампанское течет рекой.

Сергей Есенин… Где встретила она его впервые? У себя? У

Анатолия Мариенгофа, близкого друга поэта? У Александра Кусикова, из той же компании? Она не помнит. И он тоже. В ту ночь все так напились… Помнит только, что все произошло быстро и бурно. Дверь резко распахнулась, и она увидела молодого человека удивительной красоты: непокорная шевелюра с золотистым отливом, слегка раскосые глаза, то демонические, то по-детски наивные. Айседору и Есенина не надо было представлять: они узнали друг друга с первого взгляда. Они люди одной породы, из тех, кто живет инстинктами, непокоренные кочевники, жаждущие абсолюта. Он так же не учился писать стихи, как она не училась танцевать. Их дар исходит из глубин души, неведомых простым смертным. У нее больше жизненного опыта, и она знает одно: ее судьба делает очередной зигзаг.

Крестьянский сын Сергей Александрович Есенин провел детство в Рязанской губернии, с бабушкой, неиссякаемой рассказчицей сказок, и дедом. В Сергее много от простого мужика.

Известность приходит к нему в 1915 году, когда девятнадцатилетний поэт открывает для себя столицу, встречается с известными поэтами. В петербургских журналах печатают его стихи. Он воспевает вечную ностальгию по русскому пейзажу: березовые рощи, безмолвную заснеженную степь, осеннее небо, бесконечные просторы. Первый его сборник «Радуница» вышел в 1916 году. Говоря о нем, вспоминают Роберта Бёрнса; непокорного, «проклятого» поэта Артюра Рембо… Восторженно приняв революцию, он пишет о ней библейским языком, как о «новом Назарете», о «преображении» и «распятии». Примерно в 1919 году он входит в круг имажинистов и сближается с Анатолием Мариенгофом. Имажинисты забавляются тем, что провоцируют публику бесконечными экстравагантностями разного сорта и читают стихи в московских кабаках.

Есенин переживает период золотой богемы. Изображает чувствительного хулигана, негодяя с нежным сердцем. Отбросил мужицкую рубаху, одевается у лучших портных, носит шелковые галстуки, накрахмаленные манишки, фетровые шляпы. С удовольствием шокирует публику, вызывает осуждение образом франта-большевика, прогуливающегося с тросточкой с серебряным набалдашником по городу, страдающему от холода и голода. Все это лишь прибавляет ему известности. Но за внешним анархизмом скрывается неудовлетворенность. Близкие друзья поговаривают о его неспособности сосредоточиться на чем-то длительное время, о врожденном вкусе к кочевой жизни, о припадках эпилепсии, о наследственном алкоголизме.

Верный и нежный друг, пьяным он превращается в хама. Заносчивый и наивный, робкий и грубый, по-детски беззащитный и тираничный. Он находится в плену собственных противоречий, неприкаянности и отчаяния.

…Итак, дверь резко распахнулась. Он входит, делает несколько шагов. Едва увидев его, смущенно стоящего в новом костюме, она тут же раскрывает ему объятия. Он подбегает, обнимает ее, падает на колени со словами: «Айседора, Айседора, mia, mia». Разговор клеится с трудом. Она знает лишь несколько слов по-русски. Сергей, никогда не покидавший родины, не знает ни одного иностранного языка. Но у нее есть иные способы самовыражения.

— Скажите ему, что я буду танцевать специально для него, — говорит она Мариенгофу, немного понимающему английский. — Садитесь за рояль.

И начинает танец, то вызывающий, то нежный, умоляющий, а Есенин продолжает громко разговаривать с друзьями. Кончив танцевать, она подходит к нему, протягивает руки:

— Понравилось?

Переводивший не решается перевести ответ, услышав который вся группа хохочет.

— Он говорит, мадам, что если речь идет о том, чтобы согреться, то он знает гораздо лучший способ.

Тут Есенин снимает пиджак, галстук, ботинки и исполняет бешеную пляску под аккомпанемент балалайки. Потом обувается и уходит. Айседора кидается к нему. В безумном порыве целует его руку и, подняв ее над своей головой, кричит, на смеси французского с русским:

— Вот это — Россия!.. Вот это — Россия… Essenin krepkii!.. oschegne krepkii!

Он отталкивает ее со словами:

— Иди к черту!

Тогда она бросается к его ногам и притворно стонет: *«Ruska lubov!»*

«Yes, yes, Jsadora mia, ruska lubov!» Сергей подошел и очень нежно, с кошачьей грацией положил голову ей на колени. Погладил ее щеку, не спуская с нее влажных глаз, как мальчишка-сорванец, желающий, чтобы его простили. Дал понять, что хочет уйти вместе с ней, поехать к ней в особняк Балашовой и более ее не покидать. «Жить ты и я всегда», — прошептал он ей по-французски.

Для Айседоры это — осеннее чудо, ангел, демон, мужчина-ребенок, какого она ждала, любовь, вернувшая ей смысл жизни.

При этом она понимает, к какой бездне тянет ее этот мужичок с глазами бездомного кота. Но она всегда любила головокружительный риск, страх на краю пропасти. А если на этот раз она упадет и разобьется? Она, всегда такая сильная, такая уверенная в себе, начинает сомневаться. Ну и пусть. «Жить — прежде всего! Жить, как она всегда жила. Без расчета. Безудержно. Без полумер. Полностью отдаваться своим импульсам. А потом?.. Потом видно будет». Она попытается приручить этого дикого зверька, возьмет его к себе в особняк Балашовой. Возьмет для себя одной этого белокурого мальчика, этого «ангела» и «демона». Он красив. Он гениален. А временами так нежен, так ласков…

Любит ли он ее? Он никогда толком не знал, любил ли он девушек своего возраста, а теперь вдруг влюбился в женщину, которая по возрасту могла бы быть его матерью; и ни языка, ни образа мыслей которой он не знал. Или же он видит в ней лишь избалованную успехом звезду, известную во всем мире? Его привлекают культура Айседоры, ее блестящие связи, путешествия по Европе и Америке. Рязанский мужик открывает для себя далекий и сказочный мир: дворцы, роскошные автомобили и кабины океанских лайнеров, волшебный «Восточный экспресс», парижские салоны мод, лондонские магазины одежды, утонченную жизнь аристократического общества, где люди играют в гольф на английских газонах, проводят послеобеденное время в клубе, встречаются на выставках, где не пропускают скачки в Эпсоме, ужинают в ресторане «У Максима» вместе со звездами экрана и театра, проводят лето в Довиле, а зиму на Лазурном Берегу. Весь этот волшебный мир витает вокруг Айседоры, как запах роскошных духов. Он упивается ее магическим ароматом, когда, прогуливаясь с ней по Москве, в театре или концертном зале, слышит за спиной шепот людей, толкающих друг друга локтем: «Дункан — Есенин… Есенин — Дункан».

Вот уже три месяца длится их роман, но Айседора толком не знает, что в действительности испытывает он к ней. То нежный, то деспотичный, он может приласкаться к ней и тут же оттолкнуть ее и обругать последними словами. Как будто сердится на самого себя за то, что дает ей слишком много, и хочет возместить ласки грубостью. Странно, но эта грубость, доходящая до побоев, не вызывает в ней никакого бунта. Наоборот — прилив нежности. Сергей почти на двадцать лет ее моложе, и только это отравляет ее счастье. Страх потерять любовника лишает Айседору сил для защиты и заставляет с каждым днем все больше подчиняться ему. Впрочем, его животная

и наивная необузданность волнует ее. «В конце концов, — думает она, — это молодой хищник. Он не умеет скрывать свои клыки».

Ирма упрекает ее в излишней снисходительности:

— Право, он властвует над вами, как господин! Вы же видите — он одержим. Ему хочется одного: унизить вас, уничтожить. Он обращается с вами с ненормальной жестокостью. Не понимаю, почему вы поддаетесь. Это недостойно вас, Айседора.

— Милая Ирма, Сергей — моя последняя любовь, и я целую землю, по которой он ступает.

Верная Мэри Дести тоже беспокоится по поводу слухов, распространяющихся о их романе. Айседора ей пишет: «Не волнуйтесь за меня. Любовь, нас соединяющая, гораздо глубже, чем полагают. Но никто не хочет этого понять. За один волосок с его головы я готова на все жертвы, могу стерпеть все беды, в том числе непонимание со стороны людей. Если бы вы знали, Мэри… они такие светлые, его волосы… Совсем как у моего бедного Патрика. Вы не находите связи? А я нахожу. Наверняка когда-нибудь Патрик стал бы похож на него, и я бы не позволила никому прикоснуться ни к единому его волоску».

ГЛАВА XX

«Из Москвы, 3 мая 1922 года.

Знаменитая американская танцовщица Айседора Дункан вышла замуж гражданским браком за советского поэта Сергея Есенина».

Когда поступило это сообщение, журналисты не поверили своим глазам. Айседора Дункан замужем? Кто не помнит ее громких заявлений против брака, этого «чудовищного порабощения женщины», этого «позорного института», который необходимо отменить как можно скорее? Еще не забыты ее взволнованные речи в защиту свободного союза мужчины и женщины.

Через несколько дней из России поступили фотографии молодоженов. Те, кто знал Айседору в прошлом, с трудом узнают ее. Она располнела, просторные складки платья не могут скрыть расплывшейся талии. Грудь отяжелела и обвисла. Черты лица все еще прекрасны, глаза восхитительны, несмотря на сильно подведенные брови, носик вздернут, губы забавно сложены, но просторный шарф не может скрывать располневший подбородок матроны. Она с удовольствием шутит по поводу своей полноты: «Так я похожа на толстую бабушку!» Удивительно, но ее стиль и весь внешний вид изменились. Отчего она стала похожа на арабских женщин? Из-за слишком подведенных глаз, чересчур рыжего цвета волос или из-за того, что располнела? Спортивная американка, постарев, приобрела черты восточной женщины, что подчеркивают длинные вуали и разноцветные шарфы.

Вопреки утверждениям западной прессы, брак с Есениным ничего не изменил в ее принципах. Она по-прежнему враждебно относится к самому институту брака, и если решила выйти замуж, то исключительно для того, чтобы помочь поэту выехать из Советского Союза. Несколько представлений в Москве и Петрограде не позволили поддержать на плаву ее школу, поэтому она согласилась на предложение антрепренера Юрока дать пятьдесят концертов в Берлине, Лондоне, Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго. Тысяча двести долларов за вечер, проезд и гостиница за ее счет. С ней едут: Ирма, двадцать учениц… и муж. Она так и предупредила, что поедет «*в сопровождении* великого русского поэта Есенина». Это вызвало бурную семейную сцену.

— Я еду не для того, чтобы сопровождать Айседору Дункан! Не желаю играть второстепенную роль. Я не господин Дункан!

— А я этого и не хотела, милый…

— Я еду, чтобы завоевать, понимаешь? Чтобы завоевать!

— Чтобы завоевать кого, Сережа?

— Европу, чтобы завоевать Европу… И Америку! Хочу показать им, кто самый большой поэт России.

Айседора давно мечтала вывезти его из Страны Советов, это — единственный способ вырвать его из среды имажинистов, заполонивших особняк на Пречистенке, куда набивалась вся московская богема.

К тому же Айседора стала замечать признаки нервного расстройства у Сергея. Ее беспокоило резкое чередование возбуждения и депрессии. Врачи советовали переменить обстановку: «Сделайте так, чтобы он побольше путешествовал, это ему будет очень полезно». Несмотря на бурлившую вокруг него жизнь, Есенин чувствовал себя все более одиноким. Временами он признавался своему ближайшему другу Анатолию Мариенгофу:

— Я очень устал от всего этого. Хочу уехать. Далеко-далеко. Сам не знаю, куда. За кудыкину гору… куда подальше…

Москву терпеть не могу. Города я никогда не любил. Порой хочется вернуться к себе, в мой старый мир, увидеть вновь рязанские болота, Константинове. Березовые леса… Ах, Толя, если бы ты знал, как у меня тяжко на душе… Хочу, как раньше, молиться на красной зорьке, причащаться у ручья…

— А Айседора? Ты с ней поедешь?

— Может быть, не знаю. Она хочет сделать так, чтобы меня там ангажировали читать стихи. Вроде цирковой собачки. Но выехать отсюда я не могу, если не женюсь. А это…

— Ты не хочешь?

— Ты знаешь, ведь она — замечательная женщина. Умная, элегантная, мужественная, свободная от буржуазных предрассудков. К тому же искренне преданная большевизму. Мне кажется, это самая необыкновенная женщина, какую я когда-либо встречал.

— Ну так и женись на ней!

— Если я женюсь, знай: сделаю это из-за ее денег и известности. А без этого… Ты видел, как она ест… и пьет? Ужас. Когда я сижу за столом вместе с ней, мне стыдно. Когда вижу, как она неторопливо ест блины, обмакивая их в растопленное масло, с завернутой в них икрой и политые сверху сметаной, мне хочется запустить в нее тарелкой. А как она пьет водку, по бутылке за каждым обедом, по утрам — портвейн, днем — виски, за ужином — шампанское. Меня это бесит! Прорва, а не женщина! А когда она выходит из-за стола с багровым лицом в пятнах! Фу-у!

— Ну, что касается выпивки, ты от нее не отстаешь, милый Сережа.

— Это она меня накачивает. Скажу тебе по секрету, только тебе… Знаешь, она ненасытная не только за столом. В постели еще хуже. Чтобы ее удовлетворить, полк нужен. И того не хватит! Так вот, прежде чем с ней ложиться, я пью залпом несколько больших глотков водки. Могу спать с ней, только если сильно пьян.

Есенин страдает не только от одиночества, но и от усиливающегося чувства, что он — чужой в своей стране. Его вечная ностальгия по старой русской деревне и ее пейзажу, стихи, где он сожалеет о модернизации села, его восхищение религиозным поэтом Клюевым, — все это дает основание подозревать его в буржуазном уклонизме. Отвергать индустриализацию — значит противопоставлять себя линии партии. К моменту, когда он женился на Айседоре и готовился поехать с ней на Запад, Есенин чувствовал себя как никогда далеким от большевистской системы.

Через неделю после женитьбы, 10 мая, молодожены полетели первым регулярным рейсом Москва — Кенигсберг. На следующий день они в Берлине, в отеле «Аллон», одном из самых шикарных в городе. Берлин, как и Париж в ту пору, был наводнен русскими эмигрантами, бежавшими из России в 1917 году: аристократы, разорившиеся торговцы, офицеры-белогвардейцы, авантюристы, писатели, артисты, музыканты, художники. Приезд Айседоры и Есенина вызвал немалый переполох в русской колонии, антибольшевистские настроения которой со временем все усиливались. Естественно, их пребывание в Берлине началось со скандала. На следующий день по прибытии в Доме искусств перед публикой, состоящей сплошь из эмигрантов, Есенин не придумал ничего лучше, как взобраться на стол и запеть «Интернационал». Послышались свист, угрозы, началась потасовка… одним словом, настоящий скандал, и о нем на следующий день сообщили все газеты.

В такой ситуации Сергей чувствует себя как рыба в воде. Надо, так еще и масла в огонь подольет. Выступая как певец рабоче-крестьянской революции, он подчеркнуто появляется в Опере под руку с Айседорой во фраке и цилиндре. Высокомерно осматривая недоброжелателей, крутит в руке трость и горделиво сообщает журналистам, что он заказал себе костюмов больше, чем самый завзятый модник сможет износить за всю жизнь. Каждое утро парикмахер «Адлона» поднимается к нему в номер: бритье, массаж, мытье головы, завивка, пудра от «Пату» и духи «Ветивье» от Герлана. Апартаменты, занимаемые ими и оплачиваемые Айседорой, стоят в день столько же, сколько получает в месяц банковский служащий. Счета от бармена не

меньше. Прибавьте по-царски щедрые чаевые швейцару и дежурному на этаже, которым приходится вносить поэта в номер мертвецки пьяного, раздевать и укладывать в постель. И мадам тоже… иногда.

Репортеры неустанно интервьюируют супругов. После нескольких пустяковых вопросов, нацеленных главным образом на поддержание рекламы Айседоре, они переходят к тому, что больше всего интересует читателей, — жизни в Советской России, сказочной стране для одних и преисподней для других. Сколько бы вопросов ни задавали Айседоре о пролетариате, искусстве или о голоде в Поволжье, она неизменно переходила на тему, более всего волнующую ее:

— Я так люблю Россию… Это волшебная страна… И потом, что вы хотите… Я люблю Сергея. Вы знаете, это самый большой поэт своего поколения…

И так далее…

А когда вопросы задают Есенину, он афиширует свою верность советской власти и революции, спасшей мир от отчаяния. Конечно, так он защищался от тех, кто обвинял его в том, что он бросил своих товарищей, борющихся с неимоверными трудностями, а сам полеживает на мягких диванах в Западной Европе.

Вскоре по приезде Айседора и Есенин узнают, что в Берлине Максим Горький.

— Почему бы нам не нанести ему визит? — спрашивает Айседора. — Я никогда его не видала.

— Если хочешь, — ворчливо отвечает Сергей. — Но предупреждаю: у него отвратительный характер.

— А мы его приручим. Я станцую что-нибудь, а ты прочтешь последние стихи. Ему будет приятно.

— Ты думаешь?

— Я уверена.

«Она глупа, как пробка, и при этом вечно улыбается без причины», — записал после ее ухода в своем блокноте автор «На дне». Н. В. Крандиевская, жена Алексея Толстого, присутствовавшая при их встрече, была более снисходительна. Она только вздохнула: «Божественная Айседора! Жаль, что время оказалось таким жестоким по отношению к гению этой женщины!»

Поэт произвел лучшее впечатление. Когда он читал финальный монолог из «Пугачева», Горький не смог сдержать волнения и почувствовал спазм в горле. «Берегите этого молодого человека, — сказал он Айседоре, расставаясь. — Он — гений». И сразу после их ухода записал такие слова: «Сергей Есенин не

человек, это живой язык, созданный природой специально для поэзии, чтобы выразить бесконечную печаль степи, любовь ко всему живому и жалость к роду человеческому. И все же Есенин ничего не любит. Но, может быть, в этом и состоит секрет его власти».

Частная жизнь Айседоры и Сергея в Берлине немногим отличается от той, какая была в Москве: насилие, нежность, любовь, ненависть, объятия, слезы, побои, раскаяние. Осознают ли они сами, что делают? Благодаря алкоголю они живут вне правил и норм. Избегают друг друга, ищут друг друга, сталкиваются друг с другом, как два дрейфующих плота. Сергей всегда выходит победителем из их жестоких стычек лишь потому, что он чувствует себя беспредельно любимым и не боится мести со стороны своей жертвы. Инстинктивно он понимает, что на его грубость ему ответят любовью, а каждый его удар кулаком будет оплачен ласками и подарками. Как опытный осквернитель, как поэт, видящий невидимое, он рассчитывал на радость униженного. И не ошибался.

В Берлине в те годы существовала бурная ночная жизнь. Как и Париж, германская столица познала последствия войны. Несмотря на инфляцию и связанную с ней невообразимую нищету, на смену упадку после четырех лет мясорубки и страха пришел разгул живых сил общества. Словно взорвались тела и умы, будто все стремились воспользоваться радостями жизни, и немедленно. Исступленное желание. Неистовая потребность танцевать, пить, играть, есть, транжирить деньги. Кабаре и ночные клубы переполнены. Каждый вечер Айседора и Сергей выходят развлекаться. Сначала гуляют в Луна-парке. Потом ужинают, а заканчивают ночь в каком-нибудь кабаре. По мере того как опустошаются бутылки шампанского, речи становятся сумбурными или агрессивными, по настроению. Но, вернувшись в отель, супруги обязательно ссорятся. Редко у Айседоры на следующий день не бывает синяков на лице, которые она старается замазать гримом.

В июне 1922 года они выезжают из Берлина на своем «мерседесе» и пересекают Германию на большой скорости (Айседора обожает быструю езду). Посещают Любек, Веймар, Франкфурт. Но ничто не может вывести Сергея из состояния апатии, в которую он впал после отъезда из Москвы. На какое-то время берлинские кабаре его отвлекли, однако ностальгия и тоска начинают донимать. Он проводит целые дни, валяясь на кровати, с отсутствующим взглядом, молча, не в состоянии написать и трех строк.

«Пью, потому что схожу с ума от меланхолии, — пишет он

Мариенгофу. — Началось это сразу, как только сели в аэроплан. Когда увидел внизу огни Берлина, мне захотелось плюнуть на него. И все время, что я там жил, это желание меня не покидало. Атмосфера Берлина издергала мне нервы».

«Германия переживает грустный закат, — пишет он Илье Шнейдеру. — Пусть мы азиаты, пусть дурно пахнем, чешем, не стесняясь, у всех на виду седалищные щеки, но мы не воняем так трупно, как воняют они изнутри. Никакой революции здесь быть не может, все зашло в тупик. Спасет и перестроит их только нашествие таких варваров, как мы».

Обеспокоенная состоянием Есенина, Айседора везет его в Висбаден показать специалисту.

— Состояние его серьезное, — заключает тот после осмотра Сергея. — У вашего супруга нервная депрессия. Плюс алкогольная интоксикация. Абсолютно необходимо, чтобы он прекратил пить хотя бы на два-три месяца. Иначе вы можете оказаться с настоящим буйным помешанным на руках.

Против ожидания Есенин ведет себя покорно. Начиная со следующего дня он не прикасается к спиртному, и резкий переход совершенно расстраивает его нервную систему. Он становится раздражительным, вспыльчивым, как никогда, но через несколько дней успокаивается и уже может работать.

Там же, в Висбадене, Айседора встречается с молодой полькой Лолой Кинель, говорящей и по-русски, и по-английски. Она сразу прониклась к ней симпатией, нашла ее умной, образованной, хорошим психологом и пригласила работать секретарем-переводчиком. Это облегчит ее беседы с Сергеем, потому что до сих пор они общались на только им двоим понятной русско-американской смеси языков.

В июле, после долгих формальностей, они получают визу в Брюссель. Айседора должна дать там три представления в театре «Монне». Для Сергея это продолжение европейской голгофы. «Так хочется мне отсюда, из этой кошмарной Европы, обратно в Россию, к прежнему молодому нашему хулиганству и всему нашему задору!.. — пишет он Мариенгофу. — Здесь такая тоска, что просто хочется послать это все к энтой матери… Я бросил пить… Очень много думаю и не знаю, что придумать».

Несмотря на свой возраст и полноту, Айседора удивляет бельгийскую публику неповторимой грацией жеста и волшебством, исходящим от ее танцев. Каждый из них похож на короткое стихотворение, наполненное смыслом и чувством. Ни одного лишнего движения, никакого кокетства или кривлянья. Максимум выразительности при минимуме средств. Каждая линия тела — шедевр простоты.

Искусство Айседоры достигло благородства, ее танец вырос до символа. Она не танцует под музыку, а выражает ее скрытый смысл, то, что не могут сказать сами звуки. Ее танец является *произведением* в полном смысле этого слова.

Когда Айседора решила проехать в Италию через Париж, она столкнулась со множеством трудностей: ее брак с советским гражданином отнюдь не упрощал дело. Ей не отказывали в необходимых визах, но заставили выполнять долгие и нудные формальности. Привыкшая к уважению со стороны чиновников, она возмущена этим оскорбительным недоверием. А власти проявляют настороженность, потому что она ни от кого не скрывает истинную цель своего турне: собрать средства для содержания школы в Москве. В конце концов она получает право въехать во Францию благодаря вмешательству Сесиль Сорель и министра народного образования, при условии не заниматься просоветской пропагандой. Полиция получила приказ внимательно следить за ней. «Я не вмешиваюсь в политику, — уверяет она. — Я приехала дать танцевальный концерт в „Трокадеро“. Выручка предназначена для моей школы. Вот и все». Она оказалась первой советской гражданкой, ступившей на землю Франции.

В Париже чета Есениных принимает множество людей, в том числе Павлову. Она находит Есенина задумчивым и даже удрученным. Ей кажется, что она прочла в его глазах мечту о более справедливом и чистом мире. Она спросила его: нашел ли он наконец счастье? Слегка отвернувшись, словно избегая взгляда Айседоры, он ответил по-русски:

— Счастье — это чудесное слово в темных складках наших снов… Когда я вижу мир и его варварство, предпочитаю залить глаза вином, чтобы они не видели его искаженного лица.

После недели, проведенной в Париже, они едут в Венецию и останавливаются в Лидо, в «Эксельсиор Палас-отеле». Похоже, Сергей стал немного спокойнее. Он в пижаме, Айседора в просторной тунике, оба проводят дни в пляжной кабине на берегу моря. Она не спускает с него влюбленного взгляда, следит за ним, как за младенцем, окружая неусыпной заботой, стараясь не оставлять одного. Как-то раз Сергей заявил, что хочет прогуляться. Тотчас Айседора выразила желание пройтись вместе с ним.

— Нет, не стоит. Жди меня здесь.

— Хорошо, Жанна пойдет с тобой. Или Лола, если тебе так приятнее.

— Я хочу погулять один, — отвечает Сергей. — Ты понимаешь? Один! Мне надо немного побыть одному!

Озабоченная, Айседора оборачивается к Лоле и говорит ей по-английски:

— Я никогда не отпущу его гулять одного. Вы не можете понять. Вы не знаете его… Он может просто не вернуться… Однажды в Москве он уже устроил такой фокус… А тут женщины! Вы меня слышите, Лола? Женщины! Надо обязательно помешать ему.

— Я не ребенок и не больной, — ответил он, обращаясь к Лоле. — Скажите ей, что я хочу чувствовать себя совершенно свободным. Даже иметь других женщин, если захочу. Я же не могу сидеть взаперти в гостинице, как раб какой-нибудь! Если я не имею права делать, что захочу, я просто уеду. Завтра сяду на пароход, идущий в Одессу. И вообще, хочу вернуться в Россию!.. Впрочем, нет! Раз мы поедем в Америку через Францию, хочу посмотреть в Париже, что собой представляют француженочки… Я столько о них наслышан!..

Лола не выдерживает:

— А ведь вы порядочная сволочь!

Но Айседора непреклонна, и он, пожав плечами, усаживается на место, сказав Лоле:

— Скажите ей, что я передумал и никуда не пойду. Айседора рыдает, Сергей бросается на кровать, а она целует его. На следующий день он снова напивается.

— Танцовщица, — заявляет однажды Есенин, — никогда не сможет стать великим художником, так как ее слава умирает вместе с ней!

— Это неправда, Сережа, — быстро отвечает Айседора. — Великая танцовщица может дать людям нечто такое, что они сохранят на всю жизнь, никогда не забудут, нечто такое, что их изменит, даже если они этого не заметят.

— А когда умрут те, кто ею восхищался? Понимаешь, танцовщики — как актеры. Одно поколение их помнит. Следующее только слышало о них. А третье даже имен их не будет знать.

Медленно встав и прислонившись к стене, он говорит, глядя ей прямо в глаза:

— Айседора, ты знаменитая танцовщица. Тобою восхищаются и даже плачут на твоих концертах. Но когда ты умрешь, никто о тебе не вспомнит. Через несколько лет твоя известность улетучится.

Последние слова он произнес по-английски, сделав жест, как будто рассыпает по ветру прах Айседоры.

— А я, Есенин, — продолжал он, улыбаясь, — я останусь жить в моих стихах. Вот они сохранятся вечно.

Пока Лола переводит то, что он сказал, тень пробегает по лицу Айседоры. С растерянным видом подходит она к переводчице, берет ее за руку и дрожащим голосом говорит:

— Скажите ему, что он не прав, он глубоко ошибается. Я дала людям красоту. Я отдала им всю душу. И эта красота не может умереть. Она где-то существует… Я уверена, уверена…

Со слезами на глазах она добавляет на своем жалком русском: «Красота не умирай!»

Удовлетворенный в своем зловредном желании уязвить, Есенин притягивает ее к себе и, похлопав по спине, как бы дразня, говорит:

— Эх, Дункан… Эх… Айседора улыбается. Все забыто…

Через несколько дней Есенин читал вслух стихи Пушкина, восхищаясь некоторыми пассажами из великого поэта. Вдруг остановился и сказал:

— Поистине большевики совсем забыли о роли Бога в литературе!

Лола перевела. Сначала Айседора промолчала. Потом, коверкая русские слова, ответила:

— Большевики правы. Бога нет. Вышел из моды. Смешон. Тогда, с широкой улыбкой, словно поправляя ребенка, который ошибся в таблице умножения, он сказал:

— Эх, Айседора! Ведь все от Бога. И поэзия, и даже твои танцы.

— Нет, нет. Скажите ему, что мои боги — это Красота и Любовь. Других нет. Откуда ты знаешь, что Бог существует? Люди придумывают богов, чтобы держать в страхе друг друга. Древние греки знали уже об этом тысячи лет назад. Нет ничего, кроме того, что мы знаем, изобретаем или представляем себе. Ад существует на земле, в этой жизни. И рай тоже земной!

Выпрямившись и указывая на кровать, она воскликнула по-русски:

— Вот Бог!

Прекрасной звездной ночью они совершили вместе с Лолой Кинель прогулку на гондоле. Воды лагуны, как темная муаровая ткань, раскрывались перед ними. Айседора сидела одна под бархатным балдахином, белая рука ее лениво лежала на борту гондолы, выделяясь в ночной темноте. Впереди сидел Есенин и рассказывал Лоле о своей жизни, просто и спокойно, словно речь шла о ком-то другом. Голоса гондольеров, доносившиеся издалека, и ровный плеск воды придавали тишине загадочность. Тихим голосом, почти шепотом, Есенин рассказывал о своем детстве деревенского босоногого мальчишки, о своих детских

открытиях, страхах и влюбленностях. Вспоминал, как однажды увидел самое прекрасное женское лицо, какое ему довелось увидеть в жизни; позже он узнал, что это была юная послушница из соседнего монастыря.

Потом он стал говорить о словах, о их истории, о тех, что продолжают жить, и о тех, что умерли, о языке крестьян, странников, воров… Рассказывал волшебные сказки, услышанные от бабушки… Говорил, говорил… словно сам с собой… В нем жила огромная, загадочная, возвышенная и хрупкая мудрость детства.

На обратном пути Сергей и Лола запели старинные русские народные песни, к великому удивлению гондольера, которому обычно самому полагалось исполнять романсы. Потом Есенин опять заговорил о России. Но это был уже другой Есенин. Поэта сменил муж Айседоры, скрытный, зажатый, недоверчивый. Во взгляде его мелькали то хитрость, то страх.

ГЛАВА XXI

Перед отъездом из Италии чета Есениных распрощалась с Лолой Кинель. «Мне очень жаль расставаться с вами, — сказала Айседора за несколько дней до этого. — К сожалению, иначе поступить не могу. Сергей вас невзлюбил. Считает вас своим личным врагом, и ничто не сможет заставить его переменить это мнение. Вы знаете, какой он упрямец».

И хотя Есенин сердечно, от всей души пожал Лоле руку на прощание, втайне он был доволен таким решением. Он полагал, что теперь будет свободнее в своих делах и поступках. Лола огорчена, ей не хотелось возвращаться на свое прежнее место секретаря-переводчика в скучном деловом мире: «Мне будет трудно опять приспосабливаться к старой работе, после того как я была рядом с такими людьми, как вы оба».

Айседора же с Есениным решили провести несколько дней в Париже, прежде чем отправиться в Гавр, а оттуда в Америку.

Париж всегда занимал особое место в сердце Айседоры. Именно в этом городе зародилась ее слава. В Париже она встретила Зингера. В Париже нашла своих самых верных и бескорыстных друзей. И наконец, в Париже жила память о ее детях. Она всегда говорила, что Франция — единственная действительно свободная страна в мире. Есенин не знал Парижа, но ждал от него гораздо большего, чем от Венеции или от Берлина, который ему не понравился с первого дня. В Италии им овладевало бурное желание «перемешать и сбросить в море» всю «сволочь из герцогов и принцев», из вульгарных американцев с их наглыми долларами, «золотую» молодежь, проводящую дни на теннисных кортах. «Эти люди — дерьмо со всего света», — кричал он по-русски, проходя мимо них по пляжу Лидо.

Париж представлялся ему центром культурной жизни, славным городом поэтов и художников. Он заранее предвкушал его мудрую беззаботность, отсутствие принуждения, право говорить, думать и развлекаться по своему усмотрению. Он не был разочарован. После дней, проведенных на берегах Сены, ему хотелось вернуться туда еще и еще.

1 октября 1922 года, примерно через неделю после отплытия из Гавра, пароход «Париж» вошел в порт Нью-Йорка. Иммиграционные власти подозревали Айседору и ее мужа в том, что они большевистские агенты, а потому запретили им выход на берег и предписали провести ночь на борту судна. На следующий день Айседору повезли в иммиграционное бюро для допроса. Через два часа ее отпустили с разрешением свободно

перемещаться по территории Соединенных Штатов. Выходя из иммиграционного бюро, она бросила своему менеджеру Юроку: «Ни в чем не виновна! Я свободна». От Есенина просто потребовали отказаться от всякой политической деятельности и не петь «Интернационал». В целом этот довольно банальный инцидент, если учесть антибольшевистский климат, царивший тогда в Америке, лишь привлек внимание газет к вновь прибывшим. Сначала Айседора была огорчена, но потом поняла, что лучшей рекламы для себя она не могла придумать. Нью-йоркская пресса тотчас разрекламировала событие, и необычную пару скоро окружили фотографы и репортеры. «Нью-Йорк геральд» с удовольствием и не без иронии в деталях описывал «типично русскую» одежду Айседоры: просторная синяя шерстяная юбка с вышивкой из белой ангорской шерсти, красные сафьяновые сапожки с золотистыми узорами и вкраплениями из нефрита, широкополая шляпа из белого фетра, из-под которой выбивались пышные волосы, крашенные хной. Этот костюм, который американцы назвали кавказским, на самом деле был создан Пуаре под влиянием русского конструктивизма.

О Есенине писали, что у него отличная прическа, светлые волнистые волосы, ясный взгляд и атлетическое сложение. «Ему двадцать семь лет, но выглядит он на семнадцать, не больше». Очень элегантен, похож на американского бизнесмена: двубортный серый костюм, отложной мягкий воротник рубашки, темный галстук, белые гетры; курит «Лаки Страйк». «180 сантиметров роста, широкие плечи, — он был бы отличным полузащитником в любой футбольной команде», — восхищается репортер. Жадные до сенсаций, американские газеты представляют Есенина как нового «первого любовника» Голливуда, соперника Дугласа Фэрбенкса.

Айседора принимает журналистов в своем салоне-люкс на прогулочной палубе «Парижа». Когда ее спросили о допросе, ей учиненном, она заявила, что глубоко огорчена позицией, занятой американскими властями. Тем более что в их советских паспортах (из-за своего брака Айседора потеряла американское гражданство) были проставлены визы консульства США в Париже, причем сам консул заверил ее, что по прибытии в Нью-Йорк у нее не будет никаких неприятностей.

Затем журналисты перешли к проблемам личной жизни и к политическим взглядам. Публику больше интересует не ее мнение о танце, а отношение к свободной любви и к уровню жизни в Советской России.

— Как вы познакомились с вашим мужем?

— Вы знаете… У меня мистическая натура, — отвечала

Айседора, дав волю фантазии. — Как-то ночью, когда я спала, душа моя покинула тело и взлетела в высоты, где парят души. Там я встретила душу Сергея. А когда встретились наши тела, мы полюбили друг друга и поженились. Так что это не просто брак по любви. Это еще и союз России с Соединенными Штатами.

— Сергей Есенин — крупный поэт в Советской России?

— Это самый великий русский поэт после Пушкина.

— Вы — коммунистка?

— Я не занимаюсь политикой.

— Были ли у вас прямые связи с советскими руководителями?

— Я никогда ни видела ни Ленина, ни Троцкого, за все время, что я руководила моей школой танца в Москве.

— А ваш муж?

— Сергей — гений, а не политик.

По прибытии в США Есенин, казалось, был счастлив. И хотя он иронически снимает шляпу перед статуей Свободы после допроса в иммиграционном бюро, но постоянно пребывает в отличном настроении, с удовольствием дарит очаровательные улыбки фотокорреспондентам, любезно позирует рядом с Айседорой и даже соглашается обнять ее и поцеловать перед объективом. Ни в одной ежедневной газете нет ни слова об алкоголизме, ни его, ни его жены. Разница в возрасте шокирует пуританскую часть Америки, но остальные только улыбаются. Нью-Йорк производит на поэта настолько сильное впечатление, что вдохновляет на стихи… которые он, однако, не пишет. Это явно не его тема.

Но очень скоро ветер меняет направление. Есенина раздражает, что ему не оказали приема, на который он вправе рассчитывать. Поскольку английского он не понимает, ему все время кажется, что над ним насмехаются. Он внезапно покидает вечер, устроенный в честь Айседоры. Когда же она выбегает за ним на улицу, он хватает ее за горло и кричит:

— Правду!.. Хочу знать правду!.. Что они говорили? Повтори мне все! Они насмехаются надо мной, эти сволочи американцы!

Она терпеливо пытается успокоить его. Кстати, при всяком удобном случае она ухитряется объяснить, что представляет собой Есенин у себя на родине. Но напрасно. Американское общество желает видеть в нем лишь альфонса на содержании у знаменитой танцовщицы, которая могла бы быть его матерью. Да и пресса не щадит самолюбие поэта. Больше того, журналисты явно получают удовольствие, называя его не иначе как «юный супруг Айседоры Дункан». Именно это определение — «юный супруг» — читает он в каждом взгляде, в каждом слове. Но есть

нечто большее, чем уколы самолюбия. Теперь Есенин знает, что никогда не будет признан нигде за пределами Советской России. Он понял, что ни в Европе, ни в США он не получит международного признания, которое мечтал завоевать, и воспринимает это как оскорбление, нанесенное в его лице всему русскому народу.

Несмотря на то что Айседора делала все, чтобы выставить мужа на первый план, сложившееся положение не улучшает отношений между ними. Наоборот. Чем больше она хвалит гений любимого Сергея — а она не упускает случая сделать это в своих заявлениях для печати, — тем противнее для него роль супруга королевы. И он напивается, как никогда раньше. С отчаянием. С омерзением. От тоски. Желая спровоцировать. И это ему удается: ведь он выставляет напоказ свое пьянство в период, когда в США свирепствует «сухой закон». Поняв, что в Америке можно добиться своего только путем скандала, Есенин учащает запои. Тогда его признают опасным алкоголиком, а это лучше, чем «юный супруг».

Так началось турне Айседоры…

В воскресенье, 7 октября, она дает первый из четырех концертов, предусмотренных в Карнеги-холл. Вмешательство иммиграционных властей так взбудоражило любопытство публики, что при открытии зала перед входом толпилось около трех тысяч человек. В программе: Шестая («Патетическая») симфония Чайковского и «Славянский марш». Хотя некоторые критики считают, что она уже не может танцевать, Айседора добивается огромного успеха. «Нью-Йорк трибюн» с восторгом описывает гамму чувств, отражающихся на ее лице и выражающих надежду, страх, разочарование и страдания русского народа. Критик называет «душераздирающим» ее толкование «Славянского марша». «Она выходит на сцену с руками в кандалах, согбенная игом тирании, а заканчивает тем, что сверхчеловеческими усилиями разрывает цепи и исполняет триумфальный танец свободы в состоянии безумного ликования».

В конце представления, обращаясь к публике, она заявляет:

— Я протянула руку России. И призываю вас поступить так же. Я говорю вам: «Любите Россию, ибо Россия имеет все то, чего не хватает Америке, а Америка располагает всем тем, чего не хватает России. В день, когда эти две великие нации смогут договориться между собой, взойдет заря новой эры».

Это мужественное заявление в той обстановке, когда в США царит изоляционистская политика, направленная против идей, исходящих из Европы, особенно против коммунизма. Через четыре дня — второй концерт в Карнеги-холл. Программа

полностью посвящена Вагнеру. Оркестром из семидесяти музыкантов дирижирует Нахан Франко. Успех у публики и у критиков огромный. Гастроли заканчиваются концертами 13 и 14 октября. И каждый раз Айседора танцует перед переполненным залом, восторженно ее принимающим. В конце представления она не может удержаться от идеалистических речей о России и о дружбе между двумя народами. Рассерженный провокациями своей «непокорной богини», импресарио Юрок пытается ее урезонить:

— Уверяю вас, Айседора, вы занимаетесь пропагандой. Это может вам дорого обойтись.

— Это не пропаганда. Когда я говорю о моих ученицах в Москве, о России и Америке, я говорю исключительно об артистическом аспекте дела.

— Может быть. Но вы перегибаете палку.

— Что значит «перегибаю палку»?

— Видно, что вы давно не были в США. С 1918 года многое изменилось в умах людей. Волна против Вильсона и демократов превратилась в настоящий шквал. Красный цвет признан сатанинским. Назвать кого-то большевиком означает осудить его душу на вечное проклятие. Американцы испытывают к Советской России уже не просто недоверие, а страх и ненависть, причем ненависть порой истерическую… Послушайте моего совета, Айседора. Завтра вы едете в Бостон. Не забывайте, что это город реакционный, наиболее закоснелый в пуританстве. Будьте осторожны, а главное — никаких речей больше не произносите. Вы меня поняли? Чтобы ни одной речи больше не было.

Внушать Айседоре осторожность — это все равно, что лаять на луну или стрелять из пушек по воробьям. Иначе говоря, бесполезное занятие. Оба выступления в Бостоне привели к краху всего турне. Враждебное отношение зала лишь подстегивает ее, когда она произносит свои речи. При этом она явно хватает через край, говоря о «ничтожестве» американцев и о советском «рае». Шокированные ее прозрачными одеяниями, несколько зрителей покинули зал, не дожидаясь конца спектакля. Они явно поторопились, поскольку пропустили самое интересное, — выйдя на авансцену Симфони-холла, она размахивала над головой широким шарфом из красного шелка и полностью оголила грудь со словами:

— Смотрите! Вот она, красота! Шарф мой — красный! Я тоже красная, ибо это цвет жизни и силы. Американцы — дикари, но я никогда не дам им себя закабалить. Настоящая жизнь — не здесь!

Чуть позже окружившим ее в гостинице журналистам она скажет:

— Мое искусство символизирует только свободу женщины и ее эмансипацию. Женщина должна освободиться от связывающих ее в Новой Англии условностей и пуританства… Я предпочла бы танцевать совершенно обнаженной, чем напяливать на себя вызывающие платья, как это делают теперь многие американки. Нагота — это правда, красота, искусство. Вот почему она никогда не бывает вульгарной… Мое тело — храм моего искусства. Я его показываю, как показывают сокровищницу при отправлении культа красоты. Хотите знать, чем больны бостонские пуритане? Лицемерием. Страхом перед правдой. Обнаженное тело им противно, а тело, одетое так, что они домысливают женские формы, вызывает их восхищение. А ведь гораздо более неприлично домысливать, чем показывать!

— Мадам Дункан, вы думаете, что пуритане живут только в Бостоне?

— Да, это факт. Вся пуританская вульгарность сосредоточена в этом городе. Консерваторы из БэкБэя — самые низкие рабы традиций и всяческих запретов. Эти люди делают бесплодной всю страну!

— На этот раз вы превзошли себя! — возмущался Юрок, прочитав газеты на следующий день. — Если вам хотелось вызвать к себе ненависть всего Бостона, сообщаю, что вы преуспели! Мэр заявил, что ваше пребывание в городе нежелательно. Должен вам сказать, что мне сообщили о многочисленных отказах от концертов.

— Меня хотят представить как преступницу, как большевистского агитатора. Но я не дам себя запугать. Я это говорила публике и повторяю вам, Юрок. Американцам не удастся меня одолеть.

— Дело не только в политике! Речь идет и о вашей наготе. Что это за тряпочка, которой вы прикрываете грудь? Ею и чашку не закроешь.

Следующий этап — Чикаго. Как обычно, после закрытия занавеса Айседора выходит на авансцену. На этот раз речь коротка, но энергична:

— Мне сказали, что если я буду произносить речи, то мое турне будет сорвано. Так вот, турне сорвано. Я возвращаюсь в Москву, там есть водка, музыка, поэзия, танец… И Свобода!

Farewell to America![42] Афиши под таким заголовком объявили о двух последних концертах Айседоры в Карнеги-холл 14 и 15 ноября. Ожидали скандала. Но концерты прошли в самой мирной обстановке. Айседора сказала в конце лишь несколько слов об искусстве, о красоте и любви, а закончила сравнительно

умеренно: «Отныне существует новая форма жизни. Это не домашний очаг, не семейная жизнь, не патриотизм. Это — Интернационал». К счастью, она воздержалась от исполнения этого танца…

А тем временем Есенин все больше погружался в тоску по родине и в алкоголизм.

«Милый мой Толя! — писал он Мариенгофу. — Нью-Йорк — отвратительнейший город. Так плохо, что хоть повеситься… Только и жду, когда убежим отсюда и вернусь в Москву… Лучшее из всего, что я видел в этом мире, это все-таки Москва… Я впрямь не знаю, как быть и чем жить теперь. Раньше подогревало при всех российских лишениях, что вот, мол, „заграница“, а теперь, как увидел, молю Бога не умереть душой и любовью к моему искусству. Никому оно не нужно. На кой черт людям нужна эта душа, которую у нас в России на пуды меряют… Милый Толя, если бы ты знал, как вообще грустно, то не думал бы, что я забыл тебя, и не сомневался в моей любви к тебе. Каждый день, каждый час… я говорю: сейчас Мариенгоф в магазине, сейчас пришел домой, вот приехал Гришка, вот Кроткие, вот Сашка и т. д. и т. д. В голове у меня одна Москва, и только Москва!..»

Из-за инцидентов в Бостоне многие контракты были ликвидированы и турне значительно сократилось. На следующий день после прощального концерта в Карнеги-холл «красная танцовщица» в сопровождении своего «юного супруга» отправилась на Запад США. Сначала Индианаполис, где мэр, в качестве меры предосторожности, разместил четырех полицейских за кулисами и еще четырех — в зале. Их главная задача — не дать ей раздеться. Затем — Канзас-Сити, Сент-Луис, Мемфис. Обратный путь — через Детройт, Кливленд, Балтимор, Филадельфию. Заканчивается турне в Бруклине, где предусмотрено выступление в Академии музыки в ночь перед Рождеством. Айседора хочет воспользоваться этим для исполнения похоронного марша в честь Сары Бернар. Ей возражают, что трагическая актриса жива.

— Ну и что же? Кстати, мне говорили, что она себя очень плохо чувствует.

…Айседора всегда держит про запас бутылочку шампанского или виски, чтобы принять несколько глотков перед выходом на сцену. В тот раз ей попалось поддельное шампанское, сильно разбавленное спиртом. От выпитого ее танцы в тот вечер были скорее пародией на стиль «Дункан». Как будто братья Маркс[43] изображали, дурачась, «Шутки на Парфеноне». Сумасшедшие пробежки через всю сцену, безумные скачки, пируэты,

жестикулирование, содрогания и прыжки обезумевшего страуса. В самый разгар этих телодвижений бретелька на левом плече отстегнулась, и обнаженная грудь стала раскачиваться и болтаться в непонятном ритме скачков. Нисколько не смущаясь этим, она продолжила дикую сарабанду и перешла к знаменитому траурному маршу, изображая некие конвульсии в припадке белой горячки. Посередине представления пианист, тщетно пытавшийся поймать ее ритм, внезапно встал и ушел за кулисы. Ну и что ж? Она будет танцевать и без музыки. Но после нескольких кругов вальса дирекция сочла за благо опустить занавес.

На следующий день, 25 декабря, когда она хотела произнести речь о Рождестве в церкви Святого Марка, епископ Нью-Йорка вежливо, но твердо сообщил ей, что не находит ее выступление необходимым.

Четырехмесячное турне закончилось полным финансовым крахом. Айседора обвиняет прессу, обвиняет отравленные спиртные напитки в том, что ее здоровье оказалось подорванным, как и здоровье бедного Сергея. Наконец в субботу, 3 февраля 1923 года, в полдень, «ужасная пара» отбыла в Шербур на борту парохода «С.С. Джордж Вашингтон».

В конце своего пребывания в Америке Айседора имела беседу с Максом Мерцем, директором школы Элизабет Дункан в Зальцбурге. Они встретились на квартире общего друга, куда она сбежала после особенно бурной сцены с Есениным. К Мерцу она внезапно прониклась симпатией и не стала разыгрывать перед ним комедию семейного счастья, а предстала такой, какой была: загнанным зверем. Призналась, что их выгнали из отеля «Уолдорф-Астория» из-за приступов ее мужа, что они перебрались в более скромную гостиницу, но и оттуда их выставили через несколько дней, поскольку Сергей устраивал скандалы каждый раз, когда напивался. Впервые она призналась, что он избивал ее.

— Вы не должны больше мириться с таким обращением, — сказал Мерц.

И тогда с самой нежной улыбкой она ответила:

— Есенин — крестьянский парень. А русский мужик привык напиваться по субботним вечерам. И, напившись, бить свою жену. Но Сергей — гений… настоящий гений…

В день их отъезда журналисты с утра осадили причал. Сначала Айседора отказывалась отвечать на их вопросы. «Никаких интервью!» — резко заявила она. Но они преследовали ее до самой палубы парохода:

— Мадам Дункан, умоляем, одно слово… Почему вы отказываетесь говорить?

— Хотите, чтобы я разговаривала с вами после того, что вы натворили? Вы только и делали, что искажали мой образ в течение всего пребывания в Америке. Вы сделали из меня опасную коммунистку и алкоголичку. Я жду не дождусь, когда вернусь в Советскую Россию. Лучше буду жить там на черном хлебе и водке, но чувствовать себя свободной, чем наслаждаться прелестями американской жизни и сознавать себя рабыней… В России мы свободны. Ваш народ еще не знает, что это такое… Ваша продажная пресса, существующая на подачки крупного капитала, погубила турне, которое обещало быть триумфальным… Из-за вашего проклятого «сухого закона» здесь продают фальсифицированные напитки, которыми мы чуть не отравились. И вообще, американцы никогда ничего не поймут в искусстве и поэзии. Мы с мужем революционеры! Вы понимаете? Мы не нигилисты и не большевики. Мы ре-во-лю-цио-не-ры! Как все настоящие художники.

— Вы еще приедете в Соединенные Штаты?

— Никогда!

«Если хотите спасти мне жизнь и рассудок, приезжайте в Париж. Прибываем в Шербур 11 февраля. С приветом. Айседора». Получив такую телеграмму, Мэри Дести не медлила ни секунды. Она выехала из Англии первым же паромом и 12 февраля в восемь тридцать встречала Айседору на перроне вокзала Сен-Лазар в Париже. Она приехала одна.

— Не пытайтесь понять, — быстро говорит Айседора. — Объясню потом. А пока умоляю вас, забудьте, что я великая артистка. Со мною не считаются. Я не существую. Я просто милая женщина, достаточно умная, чтобы оценить великий гений Сергея Есенина. Из нас двоих великий артист это он.

Мэри весело смеется в ответ, но та продолжает:

— Нет, нет, прошу вас. Ради всего святого, сохраняйте серьезный вид и делайте, что я говорю. Иначе все мы пропали. Потом поймете, обещаю вам.

— Хорошо, милая, не волнуйтесь. Но где же он, тот самый гений?

— Терпение, никогда не подгоняйте русских. Его сейчас вынесут из вагона.

— Он болен?

— Э-э… не совсем так. Он терпеть не может выходить из поезда… Помните, что он великий, очень великий поэт… Контролеры сейчас убеждают его… А вот и он.

В эту минуту двое мужчин выводят из вагона Есенина, закутанного в меховую шубу, с огромной шапкой на голове. Вылитый медведь. Мэри искусала себе губы, чтобы не

расхохотаться.

— Сергей, представляю тебе Мэри, мою лучшую подругу. Тут он обнимает ее за талию, целует, поднимает в воздух и кружит на месте. «Мэри, сестричка! Сестричка, сестричка!» — кричит он во все горло, добавляя какие-то восклицания по-русски. Затем все отправляются в отель «Крийон», где им отведены три комнаты: одна для Жанны, другая для Мэри Дести и третья — для супругов.

Не успели они приехать, как американская пресса вновь занялась Айседорой. Один из корреспондентов в Париже отправился ее интервьюировать. Он тотчас замечает подбитый глаз.

— Это не синяк, — возражает Айседора. — Это я так подвела глаза.

Когда ее снова спрашивают о их пребывании в Америке, она не стесняется в выражениях.

— Я провела там четыре месяца. Это было сплошное мучение… Американцы вели себя, как стая волков… Америку создавали бандиты, авантюристы и пуритане. Победили бандиты… Бичом для Соединенных Штатов стал «сухой закон»… Ку-клукс-клан пытался помешать нам въехать в страну… Но еще хуже — «Американский легион»… Американец ради денег готов на все. Он может продать отца, мать и даже собственную душу. Я больше не считаю Америку своей родиной. Я ирландка… но Париж тоже неплохое место.

— Мэри, я уверена, что вы будете обожать его! — воскликнула Айседора, когда они остались одни в салоне «Крийона». Вот увидите, это настоящий ребенок. Он может капризничать, обожает загадки… Например, вы заметили чемоданчик у него в руках, когда он приехал? Он закрыт на ключ, Сергей никогда не расстается с ним. Только когда спит. А если выходит из комнаты, запирает в шкафу.

— А что в чемоданчике?

— Признаюсь, я и сама не знаю… Наверное, какие-нибудь его игрушки… Во всяком случае, он оберегает его как зеницу ока.

— А может быть, там деньги? Айседора смеется:

— Деньги? Да у нас ни цента не осталось, милая Мэри. Наш переезд оплатил Лоэнгрин. А то мы бы до сих пор сидели в нью-йоркском порту.

— Но вы же должны были заработать за это турне колоссальные суммы?

— Да, Мэри, целое состояние. Но все куда-то исчезло. Могу только сказать, что за последние недели я с трудом наскребала на оплату гостиниц и ресторанов. Ну, мне-то все равно, а вот Сергею

не все равно. Он очень страдал от этого. Ведь он любит транжирить деньги, а тут пришлось отказываться от многого. Бедный мальчик.

Чтобы отпраздновать возвращение, Айседора заказала ужин в свой номер в «Крийоне». Меню отменное, но без шампанского, вместо него «Шато О-Брийон» 1912 года.

— Шампанского! — кричит Есенин, целуя Мэри. — Шампанского в честь сестренки!

— Нет, Сергей, сегодня вечером без шампанского. Кстати, Мэри терпеть его не может. Ведь есть отличное вино. И для тебя это лучше, дорогой.

За ужином Есенин был в отличном настроении, читал стихи. Мэри ничего не понимает, но говорит, что ей нравится музыкальность русского языка. И потом, он так красив! Читая свои стихи, он вскакивает, прыгает по комнате, стройный и светловолосый, как молодой фавн. Вдруг садится на колени Айседоре и кладет голову ей на грудь, как усталый младенец. А она гладит его волосы.

— Ах, Мэри, как я счастлива! Ведь правда, он великолепен?

Каждые десять минут он спускается в холл отеля, чтобы купить то сигареты, то спички, или говорит, что ему надо размять ноги. Айседора выглядит обеспокоенной из-за этих бесконечных отлучек, тем более что каждый раз он возвращается побледневшим. Вот Сергей опять выходит. Проходит несколько минут. Она продолжает беседу. Надо как-то заполнить время, успокоить нервы. Рассказывает в деталях о турне по США. Вот уже минут десять, как он вышел… Она встает, нервно закуривает сигарету, садится в кресло, рассказывает о Бостоне, Индианаполисе… Вот уже полчаса, как его нет. Не выдержав, она звонком вызывает горничную:

— Вы не видели моего мужа?

— Он заходил несколько раз, просил найти для него шампанского.

— А где он сейчас?

— Не знаю, мадам, кажется, вышел.

Лицо Айседоры мрачнеет. Мэри опускает глаза, разглядывает ковер. Айседора встает, вновь зажигает сигарету, подходит к окну, раздвигает портьеру. Видит площадь Согласия под дождем. Редкие машины катятся по блестящему асфальту. Доносится шум колес, словно разрываемый шелк. Видны часы на углу авеню Габриель. Двадцать три часа тридцать минут. Эта же площадь, утром, десять лет тому назад… цветы от Ляшома… Зингер… Тишина. Резким движением она тушит сигарету в пепельнице.

— Мэри!

— Что, Дора?

— Мэри… я должна вам сказать… Сергей человек немного… как сказать… странный. И чем дольше он бывает на улице, тем больше проявляется эта странность. Когда услышим, что он возвращается, нам лучше где-нибудь спрятаться, чтобы он не сразу увидел нас.

— Вы его боитесь?

— Видите ли, Мэри… есть еще одна его странность. Я понимаю, что это с его стороны подсознательно… но когда он выпьет, он становится как помешанный. Буйно помешанный… Он воображает, что я его злейший враг. В конце концов, я не против того, чтобы он пил… Иногда это нужно, иначе просто трудно выжить… Но русские никогда не умеют остановиться. Когда пьют, то уж пьют… И тогда Сергей становится опасен. Он в состоянии перевернуть весь город, если захочет. Но я боюсь, что он может сломить мою волю, понимаете: не хочу, чтобы он убил меня.

— Как, как вы можете терпеть все это?

— Долго объяснять. И потом, между мной и Сергеем происходит что-то загадочное, меня к нему что-то ужасно привязывает. Возможно, сходство, о котором я, кажется, уже говорила… Не знаю… Теперь уж и не знаю… Не важно. Может, мне все только кажется… Потом поговорим. Если в полночь не вернется, нам надо будет уйти.

— Это ужасно! Быстро одевайтесь, перейдем в другую гостиницу.

— Ах, Мэри! Я не перенесу, если хоть один волос упадет с его головы. Вы должны мне помочь спасти его, дать ему вернуться в Россию. Только на родине ему будет хорошо. Здесь он никто, а там… там, Мэри, он — гений, он — великий поэт…

— Хорошо, об этом поговорим завтра. А сейчас поторопитесь, Дора, прошу вас. Идемте со мной. Скорее.

— Не хочу уходить, пока не увижу, как он вернулся. Я пойму по его голосу, в каком он состоянии.

Не успела она закончить фразу, как из холла послышался ужасный шум. Русские ругательства вперемежку с криками швейцара. Айседора вскакивает. Мэри берет ее за руку и заталкивает в свою комнату, запирает за собой дверь на ключ. Тут в комнату, откуда они только что вышли, как безумный влетает Сергей. В ярости он изо всех сил стучит в дверь, ведущую в соседнюю комнату, а Мэри уже тащит Айседору на лестницу. Перед тем как выйти на улицу, Айседора обращается к дежурному администратору:

— Будьте добры, сударь, мой муж болен. Не могли бы вы заняться им, пока я схожу за врачом? Очень прошу, будьте

снисходительны, он действительно болен.

Администратор соглашается, Мэри тащит подругу за руку. На улице они берут такси и едут в «Гранд-отель».

«Во что бы то ни стало надо найти врача. Если можно — русского».

Ищут в телефонной книге, звонят в несколько больниц… Во всем Париже ни одного русского врача. Наконец нашли одного, но он живет в Аньере[44]. «Слишком далеко, не успеет вовремя приехать». Айседора звонит в «Крийон» и узнает, что шесть полицейских только что взломали дверь и увели ее супруга, который грозился стрелять в них. Он буквально учинил погром в комнате. Схватив подсвечники, разбил зеркала, перебил все люстры, перевернул комоды и шкафы. Вышвырнул в окно постель и туалетный столик, сорвал картины со стен и занавеси с окон. Администратору, пытавшемуся его урезонить, отвесил пару тумаков, да так, что тот полетел на пол. К счастью, револьвер Сергея был в чемоданчике, запертом на ключ в комнате Мэри.

В полуобморочном состоянии Айседора обращается к Мэри:

— Что со мной будет? У меня ни франка не осталось. Несколько долларов были в кармане Сергея… Прежде всего, Мэри, надо найти доктора.

Ей посоветовали дежурного врача в больнице «Мажестик». Они едут туда и вместе с врачом заходят в полицейский участок, объясняя ему по дороге, что произошло. Осмотрев Сергея, врач отводит Айседору в сторону и пытается ей объяснить, что муж ее неуравновешенный и очень опасный человек, выпускать его на свободу нельзя ни в коем случае. Для Айседоры это было ударом.

В четвертом часу ночи, приехав в «Крийон», они видят последствия невероятного погрома. Перепутанные соседи, подумав, что совершено вооруженное нападение, разбежались, кто в пижаме, кто в ночной рубашке, по коридорам и салонам. У швейцара лицо в синяках. Два метрдотеля выведены из строя, а директор пытается успокоить остальных. Можно подумать, что гостиница подверглась бомбардировке. От мысли, что ее муж навел такую панику в самом богатом отеле Парижа, Айседора начинает хохотать, и ничто не может остановить нервный смех. Директор, которого происходящее крайне раздражает, заявляет без обиняков, что ей придется заплатить за нанесенный ущерб и поискать себе другую гостиницу. Но и после этого она не может успокоиться и корчится от смеха. Мэри отводит директора в сторону и объясняет, что смех — реакция на нервный шок, который перенесла Айседора, и просит не сердиться на нее. Что касается ущерба, он может не беспокоиться: завтра же утром все будет оплачено. Директор постепенно успокаивается и

соглашается сохранить за ней комнату «при условии, — добавляет он, — что господин Есенин не появится здесь больше никогда». «Не беспокойтесь, — отвечает Мэри, — я за это отвечаю».

Вернувшись в номер вместе с Мэри, Айседора выпивает рюмку коньяка и начинает обдумывать, что делать. Она не допускает мысли оставить Сергея в психбольнице. «Скорее я соглашусь, чтобы он зарезал меня».

— Самое срочное, Дора, — найти деньги. Я обещала директору отеля, что завтра вы оплатите нанесенный ущерб.

— Верно, но где их найти? Я же говорю, у меня ничего не осталось.

— Полицейские вам отдали ключ от чемоданчика Сергея. Как вы думаете, там не может оказаться?..

— Рыться в его вещах? Никогда. Слышите? Никогда! Он мне сказал, кстати, что там только его стихи.

Но Мэри настаивала, и Айседора согласилась. Открыв чемоданчик, она вскрикнула от удивления:

— Боже мой! Не может быть!

Со дна чемоданчика она достала несколько пачек американских долларов разного достоинства и свертки серебряных монет вперемешку с носками, чулками, разрозненной обувью, баночками грима, которые она считала потерянными в пути, и даже пустые флаконы от духов. «Не может быть… не может быть…» — повторяет она, вытаскивая один за другим предметы из этой странной коллекции. Видя слезы на ее глазах, Мэри берет ее под руки и говорит:

— Ладно, оставьте все это. Отдохните, а я подсчитаю деньги.

И пока Айседора наливает и выпивает вторую рюмку коньяка, Мэри подсчитывает деньги. Оказалось более двух тысяч долларов.

— Бедный Сережа, — бормочет Айседора. — Я уверена, что он даже не представляет, что значат эти деньги. У него в жизни никогда не было такой суммы. А когда увидел, как я транжирю, в нем сработал инстинкт крестьянина, и он решил спасти хотя бы часть. Конечно, для тех, кто так нуждается в них у него на родине. И ведь деньги эти были у него в тот день, когда портной пригрозил мне тюрьмой, если не оплачу два заказанных им костюма!

Утром Айседора оплатила ущерб, нанесенный отелю «Крийон», и уехала вместе с Мэри в Версаль, отдохнуть в гостинице «Источник». Приехав, бросилась в постель. Из-за волнений прошедшей ночи у нее поднялась температура. В конце дня к ней приехал врач, осматривавший Сергея. Он подтвердил, что состояние ее мужа требует госпитализации.

— В любом случае, — добавил он, — в отношении его выписан ордер на высылку из Франции. В ближайшее время он должен покинуть страну.

— А иначе?

— Иначе полиция не выпустит его.

— В таком случае лучше отправить его в Берлин. По крайней мере там у него есть друзья и представитель советского правительства. Я приеду за ним, как только смогу. Сейчас у меня нет сил. Я совершенно разбита.

На следующий день, на заре, двое полицейских посадили Сергея в вагон поезда, едущего в Берлин. Его сопровождала Жанна. Айседора дала ей денег на дорогу.

ГЛАВА XXII

Одетая в длинное пурпурное платье, Айседора ходит по своей комнате в гостинице «Источник» и отвечает на вопросы корреспондента «Интернэшнл ньюс сервис». Приключение в отеле «Крийон» наделало много шума в американской прессе. «Он не выдержал». «Поэт Айседоры вызвал возмущение в парижском отеле», — писали газеты.

— Я никогда не верила в брак, особенно между артистами и вообще людьми творческими. А теперь — тем более не верю. Я вышла замуж за Сергея только для того, чтобы он смог выехать из России. Сергей обожает меня настолько, что готов целовать мои следы на земле, но когда становится невменяемым, то способен убить меня. Этот парень самый влюбчивый на земле, но он раб своей судьбы. Он не выдержал. Как не выдерживают ударов судьбы все гении. Во всяком случае, у меня уже нет надежды вылечить его.

— Перед этой историей вы поссорились?

— Вовсе нет. Надо сказать, что у Сергея серьезное нервное заболевание, которым страдают многие поэты. При первых же признаках болезни я поехала искать врача. Но, когда вернулась, было уже поздно, он разгромил все в номере. Вы знаете, некоторые русские подобны тем растениям, которые погибают, если их лишить родной почвы. Взять, к примеру, беднягу Нижинского. Он сошел с ума. В этом Сергей похож на него. Поэтому я предпочитаю, чтобы он вернулся в Россию.

В тот же день и тот же час Есенин отвечал на вопросы журналистов, ожидавших его на берлинском вокзале. Очень раскованный, разговорчивый, с улыбкой на лице. Почему уехал из Парижа? Очень просто:

— Хочу вернуться в Москву, поцеловать детей. Я не видел их с тех пор, как Айседора заставила меня покинуть Россию. Я же отец, что вы хотите?

— А ваша жена?..

— Айседора? Именно она и отправляет меня домой. Скажу по секрету: она очень скоро приедет следом за мной в Москву. Я ее знаю. Сейчас она сердита на меня, но это пройдет.

— Говорят, вы ураганом пронеслись по отелю «Крийон»?

— Вы имеете в виду этот… инцидент? Так вот. Жена решила устроить в гостинице небольшой прием в ознаменование возвращения из вашей говенной Америки. И вдруг на меня нашло… как бы сказать… желание выразить свои чувства.

— Но вы нанесли серьезный ущерб…

— Я нарушил условности, вот и все.

— И поломали мебель…

— Верно… условности надо ломать. Это необходимо. А что касается мебели, подумаешь!.. Айседора заплатила.

Эти параллельные объяснения не удовлетворили любопытство журналистов. Скандал в «Крийоне» по-прежнему вызывал толки и кривотолки о похождениях «красной танцовщицы» и ее «мужика-поэта». Айседора решает положить конец всем этим сплетням и неодобрительным суждениям. 17 февраля 1923 года она посылает в «Нью-Йорк геральд» свою версию событий и добавляет: «Вы написали, что приступы безумия, которыми страдает Есенин, объясняются его пристрастием к спиртному. Это абсолютно неверно. Они объясняются прежде всего суровыми лишениями, которые он пережил в годы войны и революции, а главное — плохим качеством контрабандного виски, которое он был вынужден пить в США из-за вашего несчастного „сухого закона“ и которое причинило вред его здоровью. Могу предъявить заключение известного нью-йоркского врача-нарколога, который подтверждает мои слова… Как понимаете, все, что произошло, глубоко меня взволновало. Я вывезла Есенина из России, где его условия жизни были очень трудными, чтобы спасти его гений. А теперь он возвращается в Россию, чтобы спасти рассудок. И мы должны молить небо, чтобы этот великий поэт, самый большой после Пушкина, по мнению Горького, мог продолжать творить красоту, в которой так нуждается человечество».

Однако пресса не прекращает нападки. Через несколько дней после опубликования этого письма корреспондент «Чикаго трибюн», некий Лоример Хэммонд, явился в ее убежище в Версале. Усталым голосом она отвечала, повторяя в двадцатый раз:

— Да, я сама посоветовала ему вернуться в Москву, где его по-прежнему любят, даже если он немного не в своем уме. Там он может разбивать все, что захочет, и никого это не побеспокоит, потому что он — великий поэт.

— Правда ли, что он украл у вас деньги?

— Как он мог их украсть? Я отослала все крестьянам, что умирают с голода в Поволжье.

На следующий день американская ежедневная газета опубликовала в трех колонках материал под шапкой: «Приговор Айседоры о поэте-беглеце: „Он — сумасшедший“».

С упорством матери, защищающей свое дитя, она посылает 23 февраля новое письмо с опровержением. Она считает, что последняя статья, опубликованная в газете, содержит пассажи,

оскорбляющие и ее, и Есенина: «…Если бы ваш корреспондент дал себе труд поискать правдивую информацию, вы бы получили объяснение инцидента в отеле „Крийон“. Я сообщила господину Хэммонду, что Есенин оказался жертвой приступа эпилепсии и что между нами не было никакой ссоры. Я объяснила ему, что во время непродолжительных приступов он не может отвечать ни за свои поступки, ни за свои слова. Но, по-видимому, вашему репортеру, так искавшему что-нибудь поскандальнее, это объяснение показалось слишком простым. Знайте, что, несмотря на усталость и огорчение, я буду защищать до конца репутацию Сергея Есенина…»

Пока Айседора сражается на всех фронтах, чтобы выгородить мужа, и придумывает болезни, его оправдывающие (на самом деле Есенин нисколько не пострадал от войны, а революция отнюдь не повредила ему, скорее наоборот. Что же касается эпилепсии, нет определенных доказательств того, что он был ею болен. Если он порой говорил это, то, возможно, лишь для того, чтобы причислить себя к ряду таких знаменитых эпилептиков, как Эдгар По, Мюссе и Достоевский), Есенин в Берлине делает одно за другим заявления, направленные против нее. Тотчас по прибытии его в немецкую столицу «Нью-Йорк уорлд» публикует специальное коммюнике под таким заголовком: «Поэт и муж Айседоры Дункан направляется в Россию, чтобы развестись». Вот какие «признания юного поэта» передал по телеграфу корреспондент: «За все золото Америки я с ней жить больше не буду. Сразу по прибытии в Москву я потребую развода. В России это пустая формальность. Я был глуп, когда женился на Айседоре Дункан. Я хотел иметь возможность путешествовать, но мне эти путешествия не принесли никакой радости. Америка — страна грубого материализма и совершенно не интересуется искусством. Американцы считают, что они лучше других, потому что они богаче, но я предпочитаю бедность в России».

А в интервью одной из немецких газет он заявил:

— Если она приедет в Москву, я уеду и скроюсь в Сибири… Россия велика, вы это знаете! Всегда отыщется место, где эта ужасная женщина меня не найдет.

— Вы никогда не были счастливы с ней?

— Был, но очень недолго. Еще во время медового месяца между нами начались споры. Скоро они приняли постоянный характер. Я талантлив, она тоже. Но она никогда не хотела признать меня как личность, она всегда пыталась властвовать надо мной, хотела сделать из меня раба.

— Ваши споры были бурными?

— Она меня била и царапала. Конечно, я ей отвечал, и она по

нескольку дней не показывалась на людях… Развод — чистая формальность. Я хочу одного — быть свободным. Полгода я мучился, как в аду. Это не может больше продолжаться. Впервые после женитьбы я чувствую себя свободным человеком.

Через несколько дней он заявил:

— Я безумно любил Айседору, но она так много пьет, что оставаться с ней я не могу. Это как с Соединенными Штатами, где я не мог дышать.

Правда заключалась в том, что необузданный организм Айседоры позволял ей и сопротивляться спиртному, и мириться с провокациями мужа. Она могла позволить себе удовольствие пить и предаваться излишествам, никогда при этом не теряя контроля над собой. Быть может, ее опьяняло не столько само выпитое, сколько возможность таким образом выступать против общепринятых правил морали буржуазного общества, а то и против целых государств, как она сделала в США, чтобы ощущать всю полноту своей личности. Сопротивление отнюдь не путало ее, а лишь добавляло боевого духа. В борьбе черпала она энергию, убеждение и необычайную жизненную силу.

«Самое ужасное, — говаривал ее импресарио, — что вы ничего не боитесь, что никто не может вас испугать». И это было верно. Но совсем не таким был Есенин. Слабая нервная система делала его хрупким, он плохо переносил и излишества, и общественное презрение. Он не мог жить в том же ритме, что и она, не мог так же интенсивно любить. В нем было больше воображения, но меньше силы. В какой-то степени он сам заставил ее играть роль матери-любовницы, для которой она не была создана. Ошибка Айседоры была в том, что она этого не поняла. Страсть увлекла ее настолько, что она требовала от Сергея слишком многого.

«Дункан меня буквально измотала, — доверительно сообщал он своему другу Александру Кусикову. — Чувствую себя изнасилованным». Но были моменты, когда он думал о ней со свойственной ему иронической нежностью. Тому же Кусикову он признался однажды: «Она не стара, не скажи.

Она женщина в самом соку. В ней артистичная красота… Прекрасна, как статуя. Конечно, волосы седые… Но если бы ты знал, Александр… Она — настоящая русская баба. В ней все русское. Наша душа, наш темперамент. Она понимает нас!.. Вот и меня поняла. Только слишком много потребовала от меня… Больше, чем я мог дать любой из них. Но она единственный человек, который меня понял до конца, ясно? Она — как мы. Она тоже во всем идет до конца. Разница в том, что перед ней раскрыты горизонты, а я… я как в тупике».

Вопреки хвастливым заявлениям в печати о своей самостоятельности Есенин хотел, чтобы Айседора приехала к нему в Берлин. Он отвергает ее, но ждет и зовет на помощь каждый раз, когда в ней нуждается. Грозит покончить с собой, если она не появится тотчас. Каждый день она получает телеграммы примерно одного содержания, на том жаргоне, который только они одни и могли понять: «Изадора браунинг дарлинг Сергей любишь моя дарлинг скурри скурри». Это означало примерно то, что браунинг убьет его, если дорогая не приедет скорей, скорей.

В ожидании ее — а Есенин уверен, что она приедет, — он шатается по берлинским кабакам и пьет до потери сознания.

Айседора, со своей стороны, тоже с трудом переносит разлуку. Через несколько недель после его отъезда из Парижа она признается Мэри Дести, которая не отходит от нее все это время:

— Мэри, я больше не могу. Если вы действительно мой друг, сделайте так, чтобы я могла поехать к Сергею. Иначе я, наверное, умру. Жить без него не могу. Мне наплевать, что он там натворил. Знаю только, что я его люблю и он меня любит. От одной мысли, что с ним случилась беда, схожу с ума.

Они кое-как наскребли денег, чтобы нанять машину с шофером, и без остановок помчались в Берлин. Айседора признает только безумную езду со скоростью сто пятьдесят километров в час, чтобы ветер развевал волосы, а там хоть разверстая могила. Мэри дрожит от страха и молчит, вцепившись в сиденье. Опьяненная скоростью, Айседора соглашается остановиться только для того, чтобы наспех перекусить холодным мясом с салатом и запить шампанским.

В десять часов вечера они вихрем врываются в Берлин и останавливаются у отеля «Адлон», заранее предупредив Есенина. Он ждет их в холле, ищет взглядом Айседору, увидев, кидается в ее объятия, покрывает страстными поцелуями лицо и шею, что-то бормочет. Присутствующие в холле с удивлением поглядывают на экзальтированную пару, обнимающуюся при всем народе, не замечая окружающих, словно двое уцелевших при кораблекрушении, встретившихся на необитаемом острове.

Их излияния прерывает директор гостиницы. По-видимому, ему уже рассказали о подвигах Есенина в «Крийоне», и он вежливо предупреждает их, что свободных комнат у него нет.

Ну и пусть, они пойдут в другой отель. В «Палас-отеле» им предлагают «королевские покои», в которых они устраивают праздничный ужин в честь встречи. Собираются все друзья Есенина, и в салоне для приемов начинается гулянка «а-ля-рюсс»: водка с икрой вволю, пение под балалайку…

Айседора является в салон ослепительная, словно богиня с Олимпа, и садится среди гостей. У ее ног усаживается Сергей, со следами слез на щеках, осыпает ее нежнейшими словами, какие есть в русском языке. Остальные подходят к ней по очереди, целуют ей руку, как «барыне». В разгар банкета Есенин вскакивает на стол и начинает читать стихи. Потом, схватив Айседору за руки, втаскивает и ее на стол, и начинается русская пляска, а гости хлопают в ладоши, все ускоряя темп.

Вдруг, непонятно почему, между ними возникает спор. Полетели тарелки и блюда. Сергей не глядя швыряет на пол все, что попадает под руку, последними словами ругая и Айседору, и Мэри. Друзья пытаются его утихомирить, но безуспешно. При таких приступах у Сергея силища необыкновенная.

На следующий день с утра дирекция направляет им счет и требует освободить комнаты к двенадцати часам дня. После долгих поисков Айседора, Мэри и Сергей находят отель, где соглашаются их принять. Через час все русские поэты и артисты, живущие в Берлине, собираются в салонах отеля. И все начинается сначала. Банкет. Шампанское рекой. Русская кухня и водка. Посреди пиршества Сергей с друзьями начинают петь русские песни. Потом, взобравшись на стол, он начинает плясать. Затаскивает туда же Айседору. В общем, все как вчера. Вдруг резко отталкивает ее:

— Пошла вон! Только русские умеют плясать!

Схватил молодого человека, оказавшегося под рукой, втащил его на стол, и начинается пляска «казачок»: руки в боки, вприсядку, кружась и выбрасывая ноги во все стороны, подпрыгивая чуть не до потолка.

Перекрывая голосом звуки балалайки, звон посуды, крики и хлопанье в ладоши, Айседора кроет Есенина последними словами по-русски, с ужасным американским акцентом. Каждое ругательство вызывает взрыв хохота. Вдруг все замолкают. Есенин спрыгивает со стола, обнимает Айседору, безумными поцелуями покрывает ее глаза, волосы, руки, опускается на колени, целует ноги. Вспомнив внезапно, что она только что обзывала его свиньей и кобелем, замирает, зрачки расширяются, губы начинают дрожать, лицо белеет как мел. Есенин сбивает с ног жену, она падает, он хватает край скатерти, сдергивает ее, тарелки и графины летят на пол. Пока гости невозмутимо подбирают осколки и пытаются восстановить порядок, Айседора, полагая, что она нашла способ привести Сергея в сознание, начинает методично швырять на пол все, что еще осталось от посуды. Сначала она делает это спокойно, с достоинством, но постепенно входит в раж, и эта игра доводит ее до истерики. В

этот момент входит швейцар. Держа в одной руке гору тарелок, Айседора изо всех сил швыряет их, одну за другой, с пронзительным криком «ура!». Тем временем Сергей уже успокоился и требует, чтобы вызвали врача. Тот появляется и назначает уколы морфия… Айседоре. Несмотря на уговоры Мэри, он отказывается лечить Сергея, находя его в полном здравии и сознании. Айседору уводят в ее комнату, а Сергей продолжает пить и гулять до утра.

На следующий день Мэри узнала, что Айседора вышла из гостиницы около шести часов утра. Оставила ей записку с просьбой приехать за ней в один из ресторанов Потсдама. Мэри берет такси и едет на свидание. После завтрака они ищут гостиницу поспокойнее и снимают там две комнаты окнами в парк. Поистине тихая гавань после урагана. Айседора выглядит измученной, все время молчит и не хочет вспоминать вчерашнюю сцену. Но после обеда, когда они сидели в салоне отеля, не выдержав, заговорила:

— Знаете, Мэри, Сергей зашел слишком далеко.

— Знаю, Айседора, да еще как! Не хотела вам говорить… но после его выходок вчера и позавчера…

— Да это бы еще ничего. Хуже другое. Он посмел коснуться памяти моих детей. Этого простить я не могу. Он сказал мне ужасные вещи о них и о несчастном случае, их унесшем. Он может делать, что хочет, говорить, что хочет. Но касаться этой раны, во мне не заживающей… это уже слишком.

Слезы выступили у нее на глазах. Мэри понимает, что пришло время внушить ей, что необходимо расстаться с Есениным. Иначе она себя загубит.

— Поедемте со мной в Париж. Там вы вернетесь к работе. Со временем все забудется. Или же, если хотите вернуться в Россию и заняться школой, поезжайте прямо сейчас, очень вас прошу. Но главное, главное, Дора, вы должны расстаться с Сергеем. Слышите? Это необходимо.

— Не требуйте от меня этого, Мэри, я никогда на это не решусь. Это все равно, что бросить больного ребенка. Нет, сначала я должна его отвезти в Россию.

После этого она принимает ванну, ложится поспать и к девяти часам вечера, не в силах больше ждать, звонит Сергею по телефону. Он раскаивается, и она просит его немедленно взять машину и приехать к ней в Потсдам. Пусть с ним приедет швейцар со счетом из отеля, она тут же его оплатит.

Есенин приезжает, Айседора выписывает чек и отправляет швейцара с оплаченным счетом в отель. Вместе с Мэри супруги держат семейный совет.

— У меня осталось денег ровно столько, сколько нужно, чтобы добраться до Парижа, — заявляет Айседора. — Там я продаю дом на улице де ля Помп и всю мебель, забираю одежду и книги, и мы едем в Москву. Я возвращаюсь к делам школы, а Сергей — к своим занятиям. Что думаете?

— Отлично, Айседора, но вы забыли, что Сергею запрещен въезд во Францию, — возражает Мэри.

— Это детали. Уладим позже. А пока надо найти машину с шофером.

Вечер они проводят в ресторане с цыганами. Есенин пьет и поет до трех часов утра, а Айседора предается воспоминаниям: чардаш, Будапешт, Оскар… Цветет акация, повсюду запах сирени…

Через несколько часов они отправляются в Париж. На границе, в Страсбурге, вспоминают, что у них нет визы, и возвращаются в ближайший германский город, где есть французское консульство. К счастью, консул знает Айседору и без задержки выдает визу ей и Сергею, несмотря на то что паспорта у них советские. В Париже они направляются в отель «Клэридж» на Елисейских Полях, но там им отказывают в номере. С некоторых пор чета Дункан-Есениных отпугивает хозяев гостиниц. Айседора настаивает, заверяет, что скандалов не будет, пользуется старыми знакомствами с дирекцией заведения и в конце концов получает один из лучших номеров.

Едва они расположились, как у Есенина вновь стали проявляться признаки депрессии. В письме Мариенгофу он описал свои последние скандалы в Берлине и неожиданно заканчивает: «Господи! Даже повеситься можно от такого одиночества». Мысль о самоубийстве начинает преследовать его. Он только об этом и говорит. Как-то вечером, перед самым ужином, на который Айседора пригласила всех своих парижских друзей, он незаметно исчезает. Айседора спокойна: такие исчезновения становятся делом привычным. Но когда гости вошли в большую столовую отеля, то увидели Есенина, висящим на люстре. Его тотчас отвязывают. Айседора, полуживая от страха, вызывает врача, и тот ее успокаивает. Поэт отделался синяками на шее, ничего опасного. Что касается свидетелей сцены, они единодушно утверждают: «Не беспокойтесь, он просто хотел вас испугать».

Спустя несколько дней директор отеля «Клэридж» Жак Пу де Винь, давний друг Айседоры, организовал дружеский вечер в ее честь. Все шло хорошо, пока какой-то исполнитель аргентинского танго не пригласил ее танцевать. Есенин взъерепенился, устроил кошмарную сцену и, допив бутылку шампанского, вышел из зала.

Забрав в раздевалке шубу и шляпу, он уходит из отеля, попросив у швейцара в долг немного денег. За этим занятием его застала Айседора и запретила всем давать ему деньги. Взбешенный, он возвращается в номер, крушит все, что попадает под руку, опустошает шкафы Айседоры, роется в ящиках комодов, вышвыривает на пол содержимое чемоданов, переворачивает комнату вверх дном, но не находит ни одной купюры. С досады разбрасывает по полу весь гардероб жены, рвет в клочья несколько платьев и убегает. Узнав, что он вышел из гостиницы, Айседора, а за ней и Мэри Дести отправляются на поиски. Обе всю ночь бродят по Парижу, обходя один за другим русские кабаки, и под утро возвращаются ни с чем. Есенина никто не видел.

Выскочив из отеля, он сел в такси, шофером которого оказался некий «падший принц» императорского двора. Он отвез Сергея на Монмартр в ночной ресторан, принадлежавший эмигрантам из России. Будучи уже в подпитии, Есенин заорал самым хамским образом на двух официантов:

— А куда вы девали ваши галуны и погоны? Ваши ордена и медали? С салфеточкой на руке теперь бегаете? Стали лакеями, так, что ли?

— Да, сударь, теперь мы лакеи, — отвечали бывшие гвардейские офицеры.

— Ну, раз вы здесь, чтобы меня обслуживать, меня, Сергея Александровича Есенина, рязанского мужика, подайте шампанского. И чтобы холодное было! Да поживее!

Не теряя спокойствия и достоинства, официанты тихо переговорили о чем-то с двумя мужчинами, ужинавшими в глубине зала. После короткого совещания один из гостей встал, подошел к Есенину, сильной рукой поднял его с места, отвесил две звонкие пощечины и вышвырнул на улицу, предварительно сняв с него пиджак и ботинки. Шофер, привезший его и ожидавший поодаль, погрузил Сергея в машину и отвез в гостиницу.

Вернувшись под утро после поисков, Айседора и Мэри нашли Есенина спящим на полу, в углу за канапе. После этого побега Сергей был как никогда покорен и нежен с Айседорой. Больше всего он боялся, что оповестят полицию, ведь он испытывал болезненный страх перед властями. День прошел в переживаниях вчерашних событий, а на следующий день Айседора, Мэри и Есенин поехали в Версаль, в гостиницу «Источник». Там они прожили несколько дней, пока Айседора оформляла документы, связанные с ее домом на улице де ля Помп, тем самым, где находился великолепный Бетховенский зал.

Вскоре после их поселения в этом доме брат Айседоры пригласил Есенина на вечер чтения его стихов в стенах Академии Раймонда Дункана, на улице Сенн. Одетый в элегантный серый двубортный костюм, Есенин читал с энтузиазмом, но без позерства и излишней нервозности. Юношеская грация поэта, пряди светлых волос и лицо, словно с картин Рафаэля, сразу вызвали симпатию аудитории. Прежде чем читать стихи, он произнес по-русски небольшую речь, которую никто не понял, но в которой то и дело звучало слово «Америка» с эпитетами, произнесенными столь энергично, что отрицательное отношение поэта к американцам стало очевидным. Затем мадам Лара из «Комеди Франсез» прочла несколько стихов, переведенных на французский и вызвавших бурные аплодисменты и даже крики «браво!». В первом ряду восторженных поклонников сидела сияющая Айседора.

Через несколько дней, 27 мая 1923 года, она торжественно открыла свои гастроли в «Трокадеро» программой, полностью состоящей из русской музыки, в том числе Шестой симфонии и «Славянского марша» Чайковского. По обыкновению сразу после концерта она выходит босиком в тунике на авансцену, усыпанную цветами. Позади — Ван Донген с длинной рыжей бородой, слева от нее — депутат от коммунистов Раппопорт, представлявший во Франции Страну Советов; справа — Раймонд в неизменном облачении древнегреческого пастуха и с лентой на голове, придерживающей его длинные седеющие волосы.

— Друзья мои, — начинает она речь с очаровательным акцентом, так и не покинувшим ее, — подойдите поближе… еще ближе. Должна вам сказать две вещи. Во-первых, обо мне писали, что я большевичка. Посмотрите получше. Похожа я на большевичку?

— Нет! Нет! — отвечали со смехом зрители.

Надо сказать, что в ту пору Россию представляли на Западе в виде огромного мужика с черной бородой и ножом в зубах.

— А ведь я приехала из Москвы, где тщетно пыталась найти большевиков. Я встречала их в Париже, в Нью-Йорке… Но в Москве — ни одного. Зато я видела много детей, умирающих от голода. Так дайте же мне немного денег для голодающих детей России, никакого отношения к политике не имеющих.

Со всех сторон ей стали протягивать крупные купюры и банковские чеки.

— Спасибо… спасибо. Я хочу сказать вам еще кое-что. Дело в том, что я вовсе не умею танцевать. Точнее, я не знаю, умею ли я танцевать. Любой из вас, если приложит ладонь к сердцу, вот как я, и будет прислушиваться к движениям своей души, сможет

танцевать, как я и мои ученицы. Вот она — настоящая революция. Вот он — настоящий коммунизм…

— Браво! Браво!

— …Ибо революция должна совершаться не в политике. Когда я была юной, я мечтала сломать модель буржуазного общества, переделать его на иной манер. Вы понимаете? Я была первой коммунисткой. А теперь…

Тут Раппопорт, повернувшись к Ван Донгену, громко сказал, растягивая, как обычно, слова: «Если она начнет говорить о коммунизме, я пойду танцевать!» Айседора расхохоталась, публика тоже, и речь на этом закончилась.

После представления Айседора попросила небольшую группу друзей отужинать с ней. В тот вечер Есенин, сильно захмелев, пришел в ярость, причину которой не смог бы и сам объяснить. Схватив канделябр, швырнул им в зеркало с такой силой, что оно разлетелось на куски. Гостям удалось кое-как его утихомирить, но он продолжал вырываться и ругаться, пока Ван Донген не позвонил в ближайший полицейский участок. Через пять минут четверо полицейских забрали Есенина, тут же присмиревшего. Уходя, он приговаривал: «Добрый полицай. Иду с вами!»

Наутро Айседора добивается освобождения мужа и отвозит его в психиатрическую лечебницу в Сен-Манде. Друзья Есенина считают, что она просто-напросто отделалась от мужа, запрятав его в психушку. Но это не так. Ведь Айседора неустанно проявляла преданность и любовь к Сергею. И поместила-то она его в заведение, ничего общего не имеющего с рядовой психушкой. Клиника в Сен-Манде — одна из самых известных и дорогих в Парижском департаменте.

Через несколько дней Айседора еще раз доказала свою любовь к мужу. Русский писатель-эмигрант Дмитрий Мережковский, салон которого Есенин посещал в Петрограде еще в 1915 году, опубликовал ядовитую статью в газете «Л'Еклер» от 16 июня, где, в частности, писал: «Большевизм Есенина — лишь одна из форм пьянства и хулиганства, из-за которых его вместе с женой и выгнали из Соединенных Штатов. Во Франции он пытался взломать дверь американского миллиардера в отеле „Крийон“, за что французские власти вторично вынуждены были выпроводить поэта. Но жена его, которую молодой муж регулярно избивает, сумела вновь приехать с ним во Францию. В Париже, несмотря на то, что ноги ее уже слабы, она пытается развлечь публику в „Трокадеро“ неким подобием танцев, сдобренных махровой пропагандой. Со сцены она призывает публику, скрестив руки на груди, повторять вслед за ней: „Ленин — ангел!“»

В заключение он заявил, что только эмигранты знают ужасную правду о Советской России. «Наш голос — это голос России завтрашнего дня!» — восклицает он с пафосом.

Айседора тотчас направляет в редакцию «Л'Еклер» длинное письмо протеста, где опровергает клевету Мережковского и защищает репутацию мужа:

«Г-н Мережковский заявляет, что во время моего представления в „Трокадеро“ я называла Ленина ангелом. На самом же деле я называла ангелом Есенина, потому что люблю этого человека. Г-н Мережковский называет его „мужиком“ и „пьяницей“. Эдгар По, звезда американской поэзии, страдал запоями. Я уж не говорю о Поле Вердене, о Бодлере, Мусоргском, Достоевском… А все они оставили бессмертные произведения.

Разумеется, г-н Мережковский не мог бы жить рядом с этими людьми. Ведь посредственный талант всегда возмущается гениями…»

Выйдя из лечебницы, Сергей опять начинает пить как безумный. Пить и дебоширить. Дебоширить и пить. Оплакивать бедную Россию. Мучиться. Кричать от боли. От желания умереть. От желания вернуться домой, в Москву. Повидать места своего детства: Константиново, Рязань. Он пишет: «Хулиганство и скандалы в моей жизни нужны, чтобы сгореть ясным огнем». И дальше: «Я захотел жениться: получилась белая роза на черной жабе». «Ты знаешь, — повторяет он в письме другу, — тоска по родине — это профессия. Профессия типично русская…»

Его враждебность по отношению к Айседоре усиливается с каждым днем, а нападки на нее принимают опасную форму. Дело дошло до того, что она уже не может оставаться с ним одна и просит своего брата Раймонда или Мэри спать в одной комнате с ней, на специально поставленной кровати. Сергей ночами бродит с бутылкой в руке как неприкаянный по всем комнатам большой студии. Как-то ночью Айседора проснулась от звона разбитого стекла. Включила свет, побежала в ванную и увидела Сергея, высунувшего голову через разбитое окно.

— Так дольше не может продолжаться, — повторяет Айседора. — Я сдам или продам дом на улице де ля Помп и отвезу его в Россию. Это единственный выход.

К тому времени произошел инцидент, гораздо серьезнее всех предыдущих, который и ускорил ход событий.

Есенин сочинил грустное стихотворение о собаке, у которой отняли щенят и утопили их в озере. Прочел его Айседоре. Поскольку она не сразу поняла смысл, он объяснил ей, строфа за строфой, жестокость хозяина, совершившего это преступление, и отчаяние бедного животного. Когда он закончил, она спросила

его:

— Сережа, а что бы ты сказал, если бы такое же горе случилось с женщиной?

— С женщиной? — проворчал Сергей. — Так женщина же — дерьмо. Слышишь? Дерьмо!

И стал ходить в сильном волнении, повторяя «Собака… собака» со слезами в голосе.

С того дня она поняла, что не сможет больше жить с ним, не сможет смотреть на него, не вспоминая, как он оплакивал собаку. Решила, что надо отвезти его на родину, в Россию, и сразу после этого разойтись с ним навсегда.

Через месяц, 3 сентября 1923 года, они выехали поездом в Москву через Берлин.

Ирма Дункан и Илья Шнейдер, секретарь школы, встретили их на вокзале. Ирму поразил измученный вид ее приемной матери. На лице Айседоры были написаны беспокойство и напряжение. А Есенин, наоборот, выглядел отлично, громко выражал свою радость. Последние километры пути не мог усидеть на месте. От нетерпения перебил окна в купе, хотя в тот день не выпил ни капли. В машине, доставившей их на Пречистенку, он еще больше бурлил. Айседора же сказала Илье Шнейдеру по-немецки:

— Ну вот. Я привезла этого ребенка на его родину, но больше ничего общего с ним не имею.

Когда подъехали к особняку Балашовой, Сергей отказался идти с женой. На протяжении всей поездки за рубежом он был вынужден жить в ее подчинении. Теперь, вернувшись к себе, он хотел жить как свободный человек.

Свободный человек? На самом деле это был человек разбитый и больной. Друзья с трудом узнавали его. Он сохранил манеры денди, он меняет по несколько костюмов на дню, сильно пудрится, чтобы скрыть красноту лица, завивает поредевшие волосы. Но набрякшие веки и ранние морщины явно свидетельствуют об алкоголизме. И ум и тело потеряли былую живость. Речь стала путаной, неуверенной. Он долго подыскивает слова, не может закончить начатую фразу. От этого и раздражительность, проявляемая даже в отношении самых дорогих друзей. Они знали, что он способен на горячность, но ценили в нем дух товарищества, веселость и покладистость по отношению к ним. А теперь с удивлением слышат в его речах горькую меланхолию, видят погасший взгляд. Пьянство и грубость гонят его по московским кабакам в поисках драк и стычек. В ресторанах изображает американца, критикующего русскую кухню, русские вина.

Временами он совершает неожиданные набеги на особняк на Пречистенке. А иногда живет там два-три дня подряд, потом, не говоря ни слова, исчезает на несколько дней.

Айседора находится в постоянном страхе, но при этом выглядит смирившейся со своей судьбой. Нередко Есенин затаскивает ее в «Стойло Пегаса», кафе имажинистов. В глубине зала сооружены небольшие подмостки, с которых каждый мог читать свои новые стихи. Как-то вечером Уолтер Дуранти увидел его с женой, сидящими вдвоем за столиком. Сергей, уже пропустивший семь рюмок, более агрессивен, чем обычно. Он осыпает ее саркастическими попреками. Воспользовавшись минутой, когда поэт взбирается на сцену, Дуранти не может удержаться, чтобы не спросить у Айседоры, что толкнуло ее на брак с этим «прохвостом».

— Бедный Сергей, — отвечала она. — Сегодня он действительно не в лучшем виде. Но в нем есть нечто, о чем вы не знаете. Дело в том, что этот парень — гений. Впрочем, все мои любовники были людьми гениальными.

В зале была обычная публика. Студенты громко спорили со своими подружками. Две проститутки вели торг с клиентом об «одном разе». Возле двери пьянчуги ругались с шофером такси, которому надоело ждать их у подъезда. В такой вот шумной атмосфере Есенин начал читать «Черного человека». Голоса в зале один за другим утихли, и настала особенная, тревожная тишина. Казалось, каждый думал, что повествование касается лично его. Когда звучала последняя строфа, публика затаила дыхание, словно воочию увидев возвышенную игру безумия и смерти. Когда Есенин закончил чтение, никто не решился аплодировать, все сидели, не смея взглянуть друг на друга. Трагедия поэта заслонила собой их мелкие личные истории. И среди этой тишины раздался звонкий голос Айседоры:

— Ну так как, милейший, вы по-прежнему думаете, что мой муж не гений?

На следующий день он опять пропал. Три дня Айседора не знала о нем ничего, каждое утро повторяя Ирме:

— С ним что-то случилось, я уверена… несчастный случай… он ранен… лежит где-то и страдает.

И каждую ночь, после дня, полного тревоги и ожидания, говорила:

— Так продолжаться не может. На этот раз все кончено! К концу третьего дня она ворвалась в комнату Ирмы:

— Милая Ирма, я решилась! Собирай чемоданы, уезжаем.

— Прямо сейчас?

— Прямо сейчас.

— А куда?

— На Кавказ. Мне надо отдохнуть. Не могу же я всю жизнь проводить в ожидании этого… этого… негодяя! Все кончено! Моя жизнь с Сергеем — в прошлом!

— Наконец-то вы меня послушали. Этот тип вам испортил всю жизнь, Дора. Вам действительно нужен отдых.

Когда уложили чемоданы, в дверях показался Сергей, всклокоченный, три дня не бритый, явно «под мухой».

— А чего это ты делаешь?

— Как видишь, собираю чемоданы.

— Уезжаешь в турне?

— Нет. Еду отдыхать в Кисловодск.

— Почему? Ты что, больна?

Тогда, встав прямо перед ним и пытаясь придать взгляду суровость, она сказала:

— Слушай, Сергей. Я больше не могу переносить твои постоянные исчезновения. Не могу терпеть такую жизнь, когда ты вечно уходишь, не сказав, куда отправляешься и надолго ли. Если это будет продолжаться, между нами все будет кончено. Слышишь? Кончено! Я не вытерплю таких дней, как эти. Я умирала от страха за тебя. В любом случае, сегодня вечером я уезжаю из Москвы. Это решено.

Он вышел, расхохотавшись. Но через несколько часов, когда скорый поезд был готов тронуться, Айседора увидела, как по перрону к ней бежит Сергей, протрезвевший, побритый, улыбающийся.

— Хотел поцеловать тебя перед отъездом. Она кидается в его объятия, рыдая:

— Сережа, ангел мой, черт ненаглядный. Слушай, поезд отходит через минуту. Иди в вагон. Поедем вместе. Тебе тоже нужно отдохнуть. После нашего возвращения тебе пришлось многое пережить. Отдых тебе пойдет на пользу, я уверена.

— Нет, не сейчас. Я приеду к тебе туда… потом… обещаю.

Прозвенел прощальный звонок. Они в последний раз обнялись, она вошла в вагон, и поезд тронулся. Сергей смотрел вслед длинному красному шарфу, уносящемуся в ночь, как факел расставания.

На следующий день Есенин вернулся к своей холостяцкой жизни. Расположился у Мариенгофа, куда перевез шесть чемоданов своего гардероба: десятки костюмов, комплекты рубашек, галстуков, обувь, предметы туалета. Целый магазин модной одежды. Конечно, он и не вспомнил о данном на перроне обещании. Был слишком занят: был у Троцкого в Кремле — рассказывал ему о проекте создания литературного журнала,

прочел лекцию в московском Политехническом музее, встречался со своими друзьями-имажинистами. Одним словом — закрутился в делах. Однако через пару недель написал ей:

«Дорогая Айседора!

Я очень занят книжными делами, приехать не могу. Часто вспоминаю тебя со всей моей благодарностью. С Пречистенки я съехал, сначала к Колобову, сейчас переезжаю на другую квартиру, которую покупаем вместе с Мариенгофом. Все идет у меня отлично. Мне предлагают золотые горы, чтобы публиковать мои стихи. Желаю успеха и здоровья, поменьше пить. Привет Ирме и Илье Ильичу.

Любящий С. Есенин».

Тем временем Айседору и Ирму пригласили дать несколько концертов на Кавказе. Из Кисловодска они едут в Баку, оттуда — в Тифлис, столицу Грузии, а затем — в Батум. Письма и телеграммы, посылаемые ею почти ежедневно, остаются без ответа. Из Батума она пароходом направляется в Ялту, телеграммой умоляет Сергея приехать к ней. Через два дня приходит наконец телеграмма из Москвы: «Писем, телеграмм Есенину больше не шлите. Он со мной. К вам не вернется никогда. Галина Бениславская». Обезумевшая Айседора хочет срочно вернуться в Москву, но Ирма убеждает ее продолжить пребывание на берегу Черного моря.

Когда через пару недель она вернулась в Москву, то Есенина нигде не нашла. Ни у Мариенгофа, ни у других друзей. В «Стойле Пегаса» никто не видел его после того дня, когда он читал «Черного человека». Поговаривают, что он у Клюева, в Петрограде. Из разговоров она узнала, что он живет с Галиной Бениславской, бывшей его медсестрой, а теперь любовницей, что недавно он познакомился с актрисой Августой Миклашевской, которой посвятил любовные стихи, а Надежда Волгина, девушка из пригорода, ждет от него ребенка.

Две долгие недели прошли без вестей от него. Но как-то вечером он явился на Пречистенку, бледный, еле держась на ногах. С трудом ворочая языком, спрашивает у входа, где Айседора.

— Мадам Дункан отсутствует, — ответил Илья Шнейдер.

— Хорошо, я подожду ее.

— Вам здесь больше нечего делать. Появляется Айседора:

— Сергей, в каком ты состоянии… Что тебе надо?

— Пришел за статуей.

— Какой статуей?

— Деревянной, — отвечает он, икая. — Коненков сделал.

— Она наверху, в комнате. Но взять ты ее не можешь. Она моя.

— Нет, моя. Во-первых, это я изображен, так? Значит, моя.

— Ладно, но ты не в состоянии нести статую, она очень тяжелая. Зайдешь за ней в другой раз.

— Нет! — закричал он. И, оттолкнув Айседору и Шнейдера, кинулся, шатаясь, наверх по лестнице. По дороге схватил канделябр, стоявший на столике, и со всей силой швырнул его в Айседору, но не попал. Со второго этажа донесся шум перевернутых стульев, разбиваемых ваз и зеркал. После продолжительной паузы он появляется, прижимая к груди огромный деревянный бюст. Спотыкаясь на каждой ступеньке, начинает спускаться. На полпути цепляется ногой за ковер, теряет равновесие и падает с лестницы, ударившись головой о перила. Айседора кидается к нему с криком:

— Сергей! Дорогой мой!

Он встает, неверным жестом отстраняет ее и поднимает лежащее неподалеку дубовое бревно, из которого скульптор грубо вырезал бюст двадцатилетнего поэта. Направляется к двери на подгибающихся ногах.

— Сергей! Оборачивается.

— Сергей, предупреждаю. Если ты еще раз переступишь порог этого дома, все будет кончено. Навсегда, Сергей. Навсегда!

Он молча вышел. Через несколько секунд она услышала с улицы звук падения. Кинулась вниз, но Шнейдер удержал ее, взяв за руку:

— Не ходите! Он может убить!

Айседора вырвалась, побежала к двери как безумная, спустилась с крыльца. Фонарь бледным пятном освещал ночную улицу. Она дошла до перекрестка, но никого не увидела. Уже хотела вернуться в дом, когда заметила темный предмет в канаве. Это была деревянная скульптура. Лицом к небу поэт улыбался звездам.

ГЛАВА XXIII

«Берлин, 20 октября 1924 г.

Дорогая Ирма!

Я на грани самоубийства. Германская печать настроена ужасно враждебно. Ко мне здесь относятся как к агенту на службе у правительства Советов. Чувствую себя такой одинокой, что готова вернуться в свою ужасную комнату на Пречистенке. Поистине в Европе жить невозможно. Люди, с которыми я подписала контракт, оказались жуликами. Менеджер скрылся со всей выручкой. Если бы ты знала, как я скучаю по своей стране, по Советской России! Я часто пою в одиночестве „Отречемся от старого мира“. Этот старый мир давно уже умер.

Повсюду мне отказывают в визе по причине моей „политической принадлежности“. Но какая у меня политическая принадлежность? Хотелось бы знать!»

Получив письмо, Ирма задумалась, правильно ли она сделала, начав переговоры о турне в Германии в отсутствие Айседоры. Она считала, что будет лучше дать ей возможность выехать из России и отвлечься ото всего, что связано с этой страной, от разочарований, неудач и страданий. И еще это была единственная возможность окончательно удалить ее от Сергея. Прежде всего ее надо спасать, любой ценой, даже против ее воли.

Когда Ирма подписывала контракт от ее имени, Айседора выполняла свои последние обязательства в России после разрыва с Сергеем. Турне в отвратительных моральных и материальных условиях по Волге, Туркестану и Уралу. Ожидание поездов на вокзалах целыми сутками, занавеси и бутафория отправлялись куда угодно, но не по адресу, и часто Айседора вынуждена была танцевать в греческой тунике среди декораций для комедий Гоголя. Она пыталась ездить на автомобиле, но единственный драндулет, который ей предложили, развалился на повороте, а она осталась с ушибами и синяками. Вместо гостиниц ей чаще всего приходится ночевать в избах с весьма относительными удобствами, спать на грязных досках, воюя с вшами и мышами. В большинстве сел, через которые она проезжала, не было ни мыла, ни зубной пасты, ни одеколона. Поскольку ресторанов нет, вся труппа вынуждена довольствоваться столовыми, где царит чад от подгоревшей пищи. К тому же население Оренбурга, Самарканда или Ташкента в жизни не слышало имен Листа или Вагнера и ничего не понимало в танцах Айседоры. Поэтому было много пустующих залов и случаев полного провала.

Айседора вернулась в таком угнетенном состоянии, что,

узнав о подписанном Ирмой контракте на месячное турне по Германии, восприняла эту весть как избавление. После разрыва с Сергеем и поездки в российскую глубинку она испытывала почти физическую потребность вновь окунуться в европейскую культуру. С помощью Ирмы и Шнейдера в те несколько дней, что оставались до отъезда, к ней вернулись уверенность в себе и чувство юмора, которые всегда поддерживали ее в самых трудных испытаниях.

Но тут же пришло разочарование. Немецкая публика, когда-то восторженная, теперь отвернулась от нее. Ей безразлично прозвище «большевички», а вот тот факт, что на концертах мало народу, действительно огорчает ее. Особенно когда она читает в газетах критические отзывы такого рода: «Танцы Айседоры Дункан похожи на красиво падающие разноцветные осенние листья, напоминающие полные очарования сумерки, предшествующие ночи… Остались лишь воспоминания о прежней Айседоре. Великолепная пластичность тела сохранилась, но она уже не очаровывает своим порывом. Ее жизненная сила ослабла». Конечно, она не может удержаться от речей после каждого представления и расхваливает достоинства Советской России. Одна из газет напечатала: «В Советской России она испортила свое искусство, поставив его на службу идеям коммунизма».

Журналист Георг Зельдес встретился с ней в захудалой гостинице, из которой она даже не может выехать, потому что нечем расплатиться по счету. Находит ее располневшей, с мутным взором, в руке — стакан джина.

— У меня нет больше сил, — признается она. — Не могу даже вернуться во Францию, чтобы продать мой дом, потому что меня считают большевичкой и не дают визу. Мне остается только продать для издания любовные письма. А у меня их около тысячи. Могу хоть сейчас показать.

Тяжело встает, поправляет шаль, наброшенную на красную тунику, отбрасывает пряди волос, спадающие на щеки, пошатываясь, идет к комоду, открывает ящик и вынимает пачки пожелтевших растрепанных бумажек.

— Вот. Смотрите… Эти — от Крэга… эти от д'Аннунцио… К сожалению, письма от Есенина остались в России. Как вы думаете, много мне дадут издатели за эти письма?

— Конечно… Но где ваш супруг?

— Сергей? Не знаю… Ах да! Он уехал на Кавказ… Он написал мне, что хочет стать вором, бандитом… в общем, чем-то в этом роде, чтобы набраться впечатлений, которые он потом поместит в свои стихи.

— Вы развелись?

— Да нет! А знаете почему? — воскликнула она со смехом. — Потому что конторы загса закрываются в полдень. А поскольку мы не спали по ночам, то всегда опаздывали. Если бы не это обстоятельство, мы бы давно развелись, а потом опять поженились бы, и так много раз.

Отхлебнув еще джина, продолжает:

— Если не удастся продать эти бумажки, я их соберу в одной книжке и издам, назвав: «Что значит любовь для мужчины».

Достать денег. Впервые в жизни перед ней возникла такая потребность. Или, точнее, впервые эта потребность оказалась такой острой. Раньше денег не хватало потому, что она или еще не получила за прошедшее турне, или ожидала аванс под новый контракт. Никогда вопрос не стоял для нее так жестко. Даже в детстве, когда она помогала матери продавать вязаные вещи. То было короткое, преходящее время — детство. А сегодня деньги превратились в жизненную необходимость: они нужны, чтобы утолить голод, чтобы не страдать от холода, чтобы не болеть. Не говоря о потребности забыться, о спиртном. Раздобыть денег можно одним образом: продать парижский дом. Но чтобы туда поехать, опять же нужны деньги. И вот она просит их у сестры Элизабет, которая основала свою школу в Потсдаме. Она обращается к Мерцу, управляющему школой и любовнику Элизабет, но тот захлопывает дверь у нее перед носом. К счастью, ее брат Августин, которому она написала, переводит ей из Нью-Йорка крупную сумму и обещает высылать ежемесячное содержание, «пока у меня есть хоть один доллар», — добавляет он. Еще одна добрая весть: «Союз левых сил» победил на последних выборах, и ей наконец разрешают вернуться во Францию.

В Париже она останавливается в отеле «Лютеция», где живет на деньги, поступающие от брата, на доход от ренты за дом на улице де ля Помп и благодаря помощи верных и щедрых друзей. Но расходует она, как всегда, не считая, поэтому долги растут. Дирекция отеля согласилась сдавать номер бесплатно, чтобы имя Айседоры числилось среди жильцов-знаменитостей, но переселяет ее в крохотную комнатушку на чердаке. Пока ей не удалось продать дом на улице де ля Помп, и она надеется получить гонорар за публикацию своих «Воспоминаний». Она часто думает о них и говорит, что материала хватило бы на «двадцать романов». Ей потребуются лишь время и покой, чтобы их написать. Пока же она чувствует себя слишком занятой повседневной суетой. «Я страдаю от какой-то нервной прострации, — пишет она Ирме. — Переживания прошлого года слишком тяжело сказались на мне. Рассчитываю вскоре

возобновить борьбу. Ты ведь знаешь мой девиз: „Без предела“».

Осенью 1925 года к ней обратилась коммунистическая партия Франции с просьбой создать школу танца для детей из народа. Она вызовет своих лучших учениц из Москвы для помощи. Несмотря на явный интерес к проекту со стороны руководства компартии, переговоры ни к чему не привели, и она отказалась от этой затеи.

28 декабря 1925 года Айседору постигло великое горе: Сергей Есенин покончил с собой в Ленинграде. 24-го утром он приехал из Москвы и остановился в гостинице «Англетер», в пятом номере с окнами на Исаакиевскую площадь, том самом, который они занимали с Айседорой три года назад, в феврале 1922 года. Рождество встречал со своим старым другом Клюевым. В воскресенье, 27 декабря, вскрыл себе вену, чтобы написать последнее стихотворение собственной кровью. Начиналось оно словами: «До свиданья, друг мой, до свиданья», а заканчивалось:

В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

На следующий день рано утром его нашли повесившимся. Он открыл обе створки окна и последнее, что видел, была синеватая ночная мгла над заснеженной площадью.

Через несколько дней после его кончины Айседора писала Мэри: «Бедный Сережа! Я выплакала все слезы. Мне так плохо, что порой хочется последовать его примеру и уйти в море». Ее друзья, поэт Фернан Дивуар и скульптор Хосе Клара, окружают ее заботой, поддерживают материально и поощряют в стремлении вернуться к работе.

В один прекрасный день из Нью-Йорка неожиданно приезжает подруга, которую она не видела лет двадцать, Рут Митчел, богатая дама с беззаботным характером. Без предупреждения она явилась к Айседоре в «Лютецию»:

— Милая моя, как я рада видеть тебя! Я узнала о твоих несчастьях из газет… О замужестве… о трагической гибели бедного Есенина… Какое несчастье! Но до чего же здорово, что я тебя разыскала! Ты знаешь, ты совсем не изменилась!

— Ты находишь?

— Ну, может, несколько лишних килограммов тут или там… Но такая же красавица, как была!

И легкомысленная подружка тут же предлагает ей отправиться вместе:

— Сейчас приведу машину… и увезу тебя!

— Но куда?

— Куда угодно. Тебе совершенно необходимо переменить атмосферу. Нельзя оставаться в мрачном и печальном Париже! Поехали к солнцу! Например, в Ниццу на Лазурный Берег? Как смотришь?

— Я бы с удовольствием, Рут, но должна сказать… в общем… это трудно объяснить… но мое положение не таково, чтобы…

— Ты с ума сошла! О чем ты говоришь? Я тебя приглашаю. К тому же ты поможешь мне советами. Я ничего не знаю о Франции и ни слова по-французски не понимаю. Без тебя, как видишь, обойтись не могу…

Приехав в Ниццу, они снимают студию с видом на море в квартале Сен-Огюстен, на Английской набережной, 343. Это бывший репетиционный зал с небольшой сценой и стеклянной крышей. За несколько дней они обвешивают стены знаменитыми Айседориными голубыми занавесями, расстанавливают амфитеатром пуфики с подушками вокруг сцены, украшают помещение пальмами и цветами. Жить там они не могут, поэтому снимают комнаты в маленькой гостинице напротив. Айседора приходит туда работать каждый день, ей аккомпанирует молодой русский пианист Виктор Серов, с которым она познакомилась в Париже. Ему двадцать два года, он красив. Не очень высок, с черными вьющимися волосами и черными как уголь глазами — явно восточная внешность, полная противоположность Есенину. К Айседоре относится со страстной преданностью.

Серов вернул ей надежду: оказывается, в сорок девять лет все может возобновиться, ибо вернулась любовь, и тело, пусть немолодое и располневшее, вновь обрело желание, а чувства отнюдь не притупились и требуют все новых наслаждений, еще больше, чем в молодости. Свою юность она утратила и теперь страстно хочет вернуть потерянное. Ее пьянит молодая кровь, что бьется в жилах юного любовника. Как никогда жадно вбирает она радость любви. И не важно, что сама она постарела, — она не говорит об этом. Не из стыдливости, которой у нее никогда не было, а из безразличия. Она не самовлюбленный человек, она — эстет, и ей достаточно, что мечта о бессмертной красоте воплощена в теле юного создания рядом с ней. Ее чувство напоминает горделивую радость художника или матери, любующихся своим творением. Она занимается любовью, как будто создает произведение искусства, словно дает миру ребенка. В этой новой Иокасте[45] сливаются мать и любовница. Своего нового возлюбленного она называет Вита — жизнь.

Действительно, жизнь начинается заново. В своей студии в Ницце, как в начале карьеры, она дает концерты для избранной публики; извиняется перед гостями, что им приходится платить

за места в зале. Многие становятся завсегдатаями, а потом и друзьями. Иногда заходит Жан Кокто читать свои стихи, часто с ним приходят Пикассо и молодой актер Марсель Эрран. Вечера заканчиваются посещением кабачков Лазурного Берега. Если нет Серова, которого часто приглашают на концерты в Париже, она возвращается в гостиницу утром в сопровождении какого-нибудь молодого здоровяка — рабочего, шофера или докера, подобранного у стойки бара после гнусных переговоров о цене. Впрочем, не все и не всегда требовали платы. В таких случаях она торжествовала победу и на следующий день хвалилась друзьям: «Он в самом деле хотел меня и ни одного су не потребовал! Когда он уходил, я сунула ему в карман сто франков. Ведь он заслужил, правда?»

Такие случаи повторяются все чаще, становятся постоянным занятием, захватывающим и ненасыщающим, как неустанная, исступленная охота. Ей сопутствуют обманутые надежды, пробуждения с привкусом потерянной любви, с горьким чувством одиночества — цена за минутное удовольствие, а главное — острый страх перед неумолимо уходящим временем. В такие моменты алкоголь и вызванное им временное расслабление позволяют забыть о настоящей опасности, той, что положит конец всему и о которой она вместе с тем мечтает со всей своей бессильной слабостью. Это так легко и так трудно… «Мне бы мужество Сергея», — вздыхает она порой…

Однажды она пригласила Кокто, Пикассо, Мари Лорансен[46], Маргариту Жамуа[47], Уолтера Шоу, Рекса Инграма и кинодеятеля Жана Негулеско. Танцует для них сонату Баха. С тонкой свечой в руке, одетая в простую белую тунику, босиком, с распущенными волосами, она стоит неподвижно и отчужденно, словно слушает музыку только для себя. Затем медленно зажигает одну за другой свечи в двенадцати подсвечниках, расставленных на сцене вокруг нее. «Движется ли она или стоит на месте?» — спрашивают себя зрители. Ноги ее словно не сделали ни шагу, складки туники не шелохнулись, но, подчиняясь ее внутреннему ритму, переместились согласно гармонии. Освещение ее лица меняется постоянно. Волосы создают нимб над головой. Подчиняется ли она музыке или музыка следует за ней? Никто не мог бы сказать.

С последним аккордом она исчезает. Никто не решается сделать жест или произнести слово, чтобы не нарушить магию. Как если бы молчание было единственным возможным ответом на чудо, только что совершившееся.

А через несколько минут слышится шипение грампластинки, за ним раздаются звуки мазурки Шопена. Вновь появляется Айседора. На этот раз на ней туника из розового газа, доходящая

до середины бедра, белый цветок приколот к волосам с красноватым отливом. Она делает несколько прыжков вокруг сцены. Эта женщина, только что возродившая благородную простоту античной скульптуры, теперь неистовствует в какой-то вызывающей и гротескной сарабанде. Зрелище жуткое, оскорбляющее — только так можно назвать толстощекое, все в поту, лицо, бесформенные, грузные ноги, с трудом отрывающиеся от пола, толстые руки, болтающиеся груди, позы, напоминающие вульгарную пародию на цирк. Друзьям невыносимо слушать ее хриплое дыхание, вызванное физическими усилиями. Наконец, к великому их облегчению, музыка замолкает. Сделав последний прыжок, она замирает, слегка покачиваясь и улыбаясь, протягивает руки к присутствующим, а пластинка продолжает крутиться, слышится поскрипывание иглы.

Айседора исчезает, чтобы переодеться, а зрители молча продолжают сидеть, боясь взглянуть друг на друга, нарушить тишину, полную смущения, стыда, чувства вины, словно они только что были соучастниками какого-то преступления. Жан Кокто первым нарушил молчание. Своим высоким голосом он заявил:

— Она подсказала нам ответ. Айседора убила уродство!

Это было точное слово поэта, единственного, посмевшего заглянуть за пределы патетики и прославить высшее мужество этой женщины, гордый вызов, заключенный в ее танце. Смело выставив напоказ собственное увядание, она тем самым убила уродство и прославила правду тела.

— Понимаешь, — объяснял Кокто обескураженному Пикассо, отведя его в сторону, — Айседора не отступает, прищурив глаз, как делает художник перед моделью. Главное для нее — жить полной жизнью, со всей ее красотой и уродством, хватать жизнь за шиворот, быть с ней лицом к лицу, смело глядеть в глаза. Это школа Родена, старик. Айседора — это Роден. Ее не путает, что платье соскальзывает и открывает некрасивые трясущиеся формы, а пот льет ручьем. Все это остается где-то за скобками, исчезает перед порывом.

После представления все усаживаются в машины и мчатся в Марсель есть ночное блюдо — луковый суп у Бассо. Кокто и Шоу восхищаются молодыми моряками, гуляющими в порту и сидящими в барах. Не успели гости сделать заказ, как Шоу приглашает за их стол одного из красавчиков. Вспыхивает ссора между Айседорой и Кокто: кому достанется этот лакомый кусочек?

— Милый мой Жанчик, — сюсюкает Айседора, подражая ребенку, которого лишают лакомства, — у вас уже был такой

прошлой ночью. Оставьте мне этого… Умоляю…

И, обращаясь к остальным:

— Ну объясните ему, что так нечестно. Будьте нашими судьями. Сегодня моя очередь.

Все хором решают:

— Это верно, Жан, она права. Сегодня ее очередь. Обиженным тоном Кокто отвечает:

— Ладно… пусть забирает. Но это в последний раз.

Во время своих частых наездов в Париж Айседора живет с Серовым в меблированной квартире из двух комнат в районе улицы Муфтар, в современном доме, чистеньком, хотя и без роскоши. Вот там-то 1 мая 1927 года и застала ее Мэри Дести, вернувшаяся из Штатов. Она с трудом узнает свою подругу в этой стареющей располневшей женщине с опухшим лицом. Посреди комнаты — круглый стол с остатками еды и полупустой бутылкой коньяка. Это так непохоже на образ жизни, какой вела Айседора, когда Мэри рассталась с ней несколько лет назад, что ей трудно скрыть удивление. Айседора догадалась, нежно ее обняла, усадила на канапе и села рядом. Взяв подругу за руку, сказала:

— Мэри, вы приехали вовремя. Еще один день, и, боюсь, было бы поздно. Много месяцев я думала о вас. Говорила себе: «Если бы Мэри была здесь, она нашла бы способ…»

— Что думаете делать теперь?

— Сама не знаю. Сейчас пишу мемуары. За них мне выплатили крупный аванс… К сожалению, от него ничего не осталось. Я провела месяц в «Негреско», а когда уезжала, мне не хватило денег, даже чтобы расплатиться за гостиницу. Осталась им должна еще восемь тысяч франков, поэтому они оставили себе под залог мои чемоданы и автомобиль. Хорошо еще, администратор гостиницы дал мне в долг на билет до Парижа.

— Вы все та же чудесная стрекоза! Опять без денег, в долгу как в шелку, живете сегодняшним днем.

— Да, Мэри. Вы правы! В том, что касается денег, я полная идиотка. Иногда мне кажется, что собственными руками я рою себе яму черную и глубокую, в которую рискую свалиться навсегда. Жду большую сумму от американских газет, которые собираются купить авторские права на мои мемуары. Как только получу, вернусь в Россию.

— В Россию? Да вы с ума сошли, Дора. Что вы там будете делать?

— Ах, Мэри! Россия… Несмотря на все, что я там пережила, именно там я добилась главного свершения в моей жизни. В этой огромной и чудесной стране все возможно. Если бы вы поехали

туда со мной, Мэри, вы бы поняли. Когда советское правительство возьмет на себя расходы по содержанию моей школы, я останусь там навсегда.

— Но, Дора, вы же не большевичка.

— Я сама не знаю, кто я. Как можно артистов раскладывать по полочкам?

— Но не можете же вы согласиться со всем, что там делается. Этого быть не может!

— Я ничего не понимаю в политике, знаю только, что отдала бы всю кровь до последней капли, чтобы продвинуть на шаг вперед осуществление моей мечты… Слушайте, Мэри, у меня идея. Сейчас я должна идти обедать с друзьями, там будет Вита. Если хотите, мы потом зайдем за вами в отель и остаток вечера проведем вместе.

— Вы сказали «Вита»?

— Это мой пианист и близкий друг. Я с ним провела месяц в «Негреско». Чудесный парень, вот увидите. Его настоящее имя Виктор Серов, но все зовут его Вита.

— Еще один русский! Поистине вы неисправимы!

Около одиннадцати часов вечера Айседора и Вита явились в номер Мэри в отеле «Скриб». Мэри распаковывает чемоданы, а тем временем Айседора восхищается ее коллекцией шалей, расписанных по шелку.

— Одну я привезла специально для вас, Дора. Она была расписана молодым русским живописцем, Ромой Шатовым.

Айседора медленно разворачивает тяжелую шаль из красного крепдешина. Длиной два метра и шириной больше метра, она украшена посередине изображением огромной сказочной птицы желтого цвета. Крылья птицы касаются краев четырехугольника, а вокруг выстроились каллиграфически выполненные черные китайские иероглифы.

— О, Мэри! Ничего подобного я еще не видела. Птица как живая! А как колышется бахрома… Прямо белая морская зыбь. Милая Мэри, я никогда не расстанусь с этой шалью, никогда. Она будет согревать мое бедное сердце.

Она накидывает шаль, стоя перед зеркалом и так и этак примериваясь к разным танцевальным па. Редко какой подарок доставлял ей такую радость. Мэри, взяв ее за руку, предупреждает:

— Дорогая Дора, позвольте мне, вашей старой подруге, сказать: вам обязательно надо вернуться на сцену.

— Но я часто даю спектакли в моей студии в Ницце.

— Да, для друзей… Я же говорю о концертах в настоящих театрах, для настоящей публики.

— Вы думаете, это еще возможно? Вот уже больше трех лет я не выходила на сцену.

— Да, это еще возможно, если вы захотите всей душой.

Своим порывом участия Мэри пытается спасти свою подругу, которую она почитала, жалела и проклинала одновременно. Она отдала ей часть собственной жизни, поэтому страдала теперь при виде ее состояния.

Мэри удалось убедить Айседору, что надо соблюдать режим, бросить пить, вернуться к занятиям, заставить работать импресарио, подготовить программу. Остальным она займется сама. Мэри удалось сделать даже больше, чем она ожидала. Концерт состоялся в театре «Могадор» 8 июля 1927 года, в пятницу. В программе были Шуберт и Вагнер. Зал был полон. Вызывали десятки раз. Бурные аплодисменты. Женщины утирали слезы. Наконец-то возродилась великая, великолепная Айседора Дункан. Все было, как во времена прежних триумфов. Айседора верна себе. Время побеждено. Это — вечная молодость.

Впервые в жизни Мэри Дести познала радость славы.

Заработанные в «Могадоре» деньги быстро кончились, и неудивительно: королевские ужины в дорогих ресторанах, продолжительные уик-энды всех троих — Айседоры, Вита, Мэри в отеле «Руаяль» в Довиле — все стоило немало. Сезон в Париже заканчивается. Выступлений не предвидится, разве что в следующем сезоне. Айседора обдумывает новые танцы и заканчивает писать мемуары. Газета «Лондон Санди кроникл» предложила ей четыреста фунтов стерлингов за право публикации с продолжением. Тридцать процентов при заключении контракта, остальное — при сдаче рукописи. Дело быстро согласовано, и Айседора предлагает Мэри поехать пожить с ней в Ницце:

— Только там могу я работать, на берегу моря. Оно зовет меня, зовет. Если не поеду, море мне этого не простит. Вы увидите, как там спокойно… тихо… мои синие занавеси на стенах, бархатные диваны, сотни подушечек разбросаны повсюду, лампы в абажурах отбрасывают мягкий свет, а Вита играет только для нас двоих… Ну чем не рай на земле? Поедемте, Мэри, умоляю вас.

— Согласна — при условии, что там вы подготовите новую программу к следующему сезону.

— Обещаю, Мэри. Ведь это единственный способ сохранить мне жизнь. И заработать на жизнь. Вы ведь знаете, я терпеть не могу бедность, мелочность, нищету. Я найду деньги.

Сразу по приезде в Ниццу Айседора возвращает долг в «Негреско», выручает свой багаж и машину, спортивное купе

«франклин», и продает ее владельцу гаража отеля за девять тысяч франков. По правде говоря, это половина настоящей цены, но в тот момент и такие деньги были для нее золотым дождем. Тем временем и Мэри получила деньги из Штатов. Став «богачами», они уже не желают возвращаться в гостиницу напротив студии.

— Я сняла апартаменты в «Гранд-отеле» в Жюан-ле-Пэн, — торжественно объявила Айседора.

— А студия? Я думала, мы будем жить там, — сказала Мэри.

Айседора и Вита хохочут.

— Жить в студии? Что вы, Мэри! Это отличное помещение для работы, но не для жизни. Представьте себе церковный интерьер без водопровода. Хорошо там жить? Гораздо лучше в Жюан-ле-Пэне. Это всего в двадцати пяти километрах от Ниццы. Найдем машину с шофером, чтобы нас возил туда и обратно.

Жизнь снова сплошной праздник, и днем и ночью: визиты, выходы в свет, ужины, ночные клубы, шампанское «Вдова Клико», коньяк «Деламэн» 1905 года, каждый день такси до Ниццы, не считая покупок, разорительных и ненужных, в дорогих магазинах. Одним словом, повседневная жизнь миллиардера.

Разумеется, друзья — Кокто, Чандлер, Мари Лорансен — участвуют во всех развлечениях.

Франсис Пикабиа[48], чья вилла находится в Гольф-Жюан, часто берет всю компанию на свою яхту и отправляется в открытое море. После ужина они забираются во вместительный «паккард» и катят в Канн, в казино.

Однажды на ночном костюмированном балу на тему «Детство» в Болье Пикабиа нарядился кормилицей в чепце, а за руку держал свою жену в детском костюмчике со слюнявчиком. Айседора изображала ангела-хранителя. Праздник длился до четырех часов утра и привел ее в состояние полной эйфории. Мэри давно не видела ее такой счастливой.

Все эти недели Айседора транжирит деньги не считая. Главное — пользоваться моментом. Как будто завтрашнего дня не будет. А вернее, превратить угрозу завтрашнего дня в дополнительное удовольствие. Умножить радость трат опасностью разориться. Просто тратить деньги ей неинтересно. Ведь можно тратить и не разоряться, тратить по-глупому, вульгарно. А ее интересует, наоборот, трата ради траты, игра ради игры. Больше всего она любит то эстетическое удовольствие, которое мещане называют мотовством, а она считает единственным средством для художника. Какое пьянящее наслаждение — транжирить деньги, сорить деньгами. Безрассудно. Просто так. Швырять деньги в окошко. В буквальном смысле слова. Ради красивого жеста. Айседора наслаждается

этим, к великому огорчению бедной Мэри. В ответ на ежедневные советы подруги поберечь деньги Айседора говорит:

— И не настаивайте. Я никогда не была экономной, ни в моем искусстве, ни в любви, ни в жизни. Вы хотите, чтобы я стала экономить деньги? Поверьте, Мэри, настоящее безобразие — сами деньги, а не желание транжирить их.

При таком подходе и гонорар, и деньги от продажи автомобиля очень быстро утекли, пришлось уменьшить расходы, пока сбережения полностью не улетучились. Мэри уговаривает ее вновь снять комнату в маленькой гостинице напротив студии. Но хозяйка требует заплатить за неделю вперед. Айседора вносит нужную сумму в кассу и, резко повернувшись к подруге, говорит:

— Ну вот видите, Мэри, говорила я вам, что никогда не следует останавливаться во второсортных гостиницах!

Накануне отъезда в Ниццу Вита решил не ехать вместе с ними. Он попрощался с Айседорой и сел в поезд, идущий на Париж. Предлогом послужило то, что он не может жить на ее средства, не имея возможности ей помочь, такое положение его унижает и так будет лучше для них обоих. Быть может, потом они встретятся вновь, но сейчас надо расстаться. Она проводила его без скандала, с тихим смирением. Она предвидела расставание и была готова к нему.

Вечером Айседора предложила Мэри прогуляться. Потом они вдвоем могут поужинать в известном ей небольшом ресторанчике, где подают самые вкусные местные блюда.

— Вот увидите, — сказала она, — это очень забавное место. Там одни рыбаки да матросы.

Несколько часов они шли вдоль берега. Мэри начала тревожиться:

— Дора, вы уверены, что знаете, куда идти?

— Конечно. Осталось немного.

— Вы действительно знаете это место?

— Не беспокойтесь, мне говорил о нем Пикабиа. Вот увидите. Это кабачок прямо на пляже. Хозяйку зовут мадам Тету, она лучше всех готовит луковый суп. Ну, теперь успокоились?

В десять часов вечера они добрались наконец до Гольф-Жюана. Ресторанчик, очень мило оформленный, посещали завсегдатаи. Они сели за столик у окна, где улыбающаяся мадам Тету подала им две внушительные порции лукового супа. Айседора едва прикоснулась к еде. Она выглядела задумчивой и с отсутствующим видом осматривала зал. Вдруг взор ее задержался на ком-то, она с улыбкой подняла бокал и кивнула. Мэри машинально обернулась и увидела молодого человека, сидящего с тремя товарищами. Юноша поклонился Айседоре.

— Вы его знаете?

— Нет, конечно. Он очарователен, вы не находите?

— Как, Дора, вы поднимаете бокал за здоровье незнакомца? Да еще шофера?

— Боже мой, Мэри, какая вы мещанка! Ну и что, что шофер? Неужели вы не видите, он — переодетый греческий бог? А вот и его колесница, — добавила она, показав пальцем на гоночную машину «бугатти».

Через несколько минут молодые люди ушли. Когда машина тронулась, Айседора послала водителю дружеский жест, тот ответил улыбкой. С сияющим лицом она повернулась к Мэри:

— Видите, видите, я еще привлекательна!

Мадам Тету рассказала Айседоре, что молодой человек работает агентом по продаже автомобилей «бугатти». Он держит гараж в Ницце и почти ежедневно приезжает сюда обедать.

В полдень следующего дня Айседора и Мэри вновь пришли к мамаше Тету. К великому разочарованию Айседоры, юный греческий бог не приехал. Во второй половине дня они поехали в Канн на встречу с Пикабиа и другими друзьями в баре отеля «Карлтон». Увидев Айседору, брат испанского короля подбежал к ней и нежно ее поцеловал:

— Айседора! Вы прекрасны как никогда! Как я рад вновь увидеть вас!

Сидевший поодаль с друзьями великий князь Борис встал, подошел к ней поцеловать руку и сказать несколько любезных слов.

— Видите, я знакома с королевскими персонами, — прошептала Айседора на ухо Мэри. — И они не считают меня ужасной большевичкой.

В углу бара ее поджидали Пикабиа с Кокто, Мари Лорансен и другими.

— Франсис, вы любите меня по-прежнему?

— Ну, конечно, моя обожаемая.

— Тогда слушайте, дорогой Франсис. Вчера я обедала в ресторане, который вы мне назвали, у матушки… Тетон.

— Тету.

— Прошу прощения… да, Тету. Встретила там молодого греческого бога. Профиль! Рот! Глаза! Дух захватывает! Как только увидите, вам захочется написать его портрет.

— Как раз мы собирались пойти туда завтра вечером. Пойдете с нами?

Айседору упрашивать не пришлось, и на следующий день вся веселая компания встретилась у матушки Тету. Но и на этот раз человека с «бугатти» там не оказалось. Тогда Айседора, отозвав

хозяйку в сторону, дала ей свой адрес и попросила передать его юному владельцу гаража, как только он приедет.

— Понимаете, мне совершенно необходимо его повидать, хочу купить у него машину.

— Конечно, конечно, — засуетилась старуха с понимающим видом. — Я передам ему, чтобы он зашел к вам, рассчитывайте на меня. Сейчас он в Лионе, но наверняка скоро вернется.

Душа Айседоры пела. Достаточно было обменяться улыбкой с незнакомцем, и жизнь возродилась, все опять стало возможным. Молодой человек, очень молодой, еще может ее полюбить, захотеть ее по-настоящему! Ей показалось, что она прочла это в его взгляде. «В конце концов, — подумала она, — у любви нет возраста. Ей чужды законы, предписываемые глупцами. Мужчины могут любить друг друга, женщины тоже. Этот парень лет на тридцать моложе меня. Ну и что? Почему бы ему не полюбить меня? Кто может ему помешать? Любовь не знает пределов или запретов. Ни возрастных, ни в отношении пола влюбленных. Любовь не выбирает. В конце концов пятьдесят лет — еще не старость, к тому же я — знаменитость. Это чего-то стоит… Кстати, сейчас я могу любить, как в двадцать пять и в тридцать лет. Я не изменилась в этом отношении. Я молода. Мир прекрасен. Море… солнце… друзья… любовь… Я живу! Живу! Живу! Живу!..»

Первая неделя жизни в гостинице, оплаченная вперед, прошла, а для оплаты второй денег не хватило. Хозяйка была неумолима. Подруги прикидывали и так и этак… Казалось, никакого выхода.

Никакого? Не совсем так. Один выход у Айседоры оставался. Последний. Только вот… очень уж деликатное дело. Очень…

— О чем вы думаете? — спросила Мэри. — Если могу чем-то помочь…

— Да, только вы можете сделать это. Предупреждаю, дело очень непростое.

— Все равно скажите. Вы же знаете, что для вас я готова на все.

— Так вот. Надо разыскать Лоэнгрина и упросить его выручить нас. Если он по-прежнему любит меня, то сделает это. Он самый щедрый человек из всех, кого я знаю.

— Зингера? Попросить денег у Зингера? Да вы уже десять лет как его не видели. К тому же я слышала, что дела его идут скверно.

— Объективно говоря, Мэри, я не вижу другого решения. Его вилла находится близко, на мысе Ферра.

Отставив щепетильность, Мэри тотчас заказала такси и в одиннадцать часов утра была уже перед роскошной виллой Зингера, огражденной кованой решеткой с его монограммой. Рассчитавшись с таксистом последними франками, она прошла по длинной аллее и с бьющимся сердцем позвонила.

Дворецкий проводил ее в просторный салон-библиотеку. За деревьями парка видно море. Дверь открывается, и появляется Зингер в безупречном костюме яхтсмена: белые брюки и полосатый блейзер с гербовой нашивкой. По-прежнему красавец-мужчина, хотя и пополнел немного, а в бороде видна седина.

— Мэри! Какая приятная неожиданность! Надеюсь, вы доставите мне удовольствие, пообедав со мной.

— Нет, друг мой, спасибо, — пролепетала она. — Увы, я выполняю просьбу гораздо менее приятную, чем обед, хотя отчасти и связанную с ним.

— Не утруждайте себя объяснением, Мэри. Я понял. Знаю, почему вы здесь, и догадываюсь, как тяжело для вас это поручение. К сожалению, в нынешних обстоятельствах я вынужден отказать в просьбе, с которой вы пришли. Да и к чему? Она истратит все за несколько часов. Уже ничто не удержит Айседору в ее падении.

На следующий день, когда подруги отбирали вещи для продажи, дверь резко открылась и вошел Зингер. Айседора смотрела на него, оторопев, словно перед ней был сам Юпитер, спустившийся с Олимпа. Ни вопросов, ни объяснений.

— Я пришел пригласить вас обеих на обед, — сказал он обычным голосом.

— Правда? — спросила Айседора недоверчиво. — Какая чудная идея! Сейчас, только переоденемся, и мы в вашем распоряжении.

Четверть часа спустя они весело выходят втроем из студии. В машине Лоэнгрин оборачивается к Айседоре:

— Куда поедем?

— Почему бы не в Болье, в «Резерв»? Я очень люблю это место.

В ресторане их усаживают за лучший стол в зале «Ренессанс», с видом на море. Мэри и Зингер выбирают самые дорогие блюда, Айседора же довольствуется скромным меню на двадцать пять франков. Она всегда отличалась подобной манерой: заказывать самые дешевые блюда, когда ее приглашает миллиардер, и самые дорогие, когда обедает с полунищими художниками.

— Если я закажу коктейль, вы не назовете меня алкоголичкой?

Айседора не могла проглотить ни куска, не выпив перед этим

один или два коктейля.

— Нет, конечно, — ответил Зингер, — кстати, я хочу заказать коктейли для всех.

— Только не для Мэри, а то она станет чересчур болтливой. Тем более что она влюблена.

— Ах, так? — изумился Зингер.

— Ну да. Представьте себе, сейчас она влюблена в молодого француза, он без ума от нее.

Мэри в изумлении смотрит на нее. Не успела она открыть рот, чтобы опровергнуть слова подруги, как получила сильный толчок ногой под столом.

Обед продолжается в веселой и беззаботной атмосфере. Им надо столько рассказать друг другу! И знают они друг друга достаточно, чтобы болтать откровенно и доверительно. Воспоминаний в избытке. Откровенность без ложной стыдливости. Как говорится, сердце на ладони. Каждый рассказывает о своих планах, удачах и поражениях.

Внимательно посмотрев на Зингера, Айседора спросила:

— Знаете, о ком я думала в ту минуту, когда вы вошли сегодня в студию?

— Не знаю…

— О моем отце. Я его тоже не ждала. Он пришел однажды к нам в Сан-Франциско. Мне было восемь лет. Взял меня за руку и повел есть мороженое.

Она улыбнулась, и беседа продолжалась на самые разные темы.

Перед тем как уйти из ресторана, Мэри, воспользовавшись коротким отсутствием Зингера, шепотом спросила Айседору:

— Какого черта вы придумали эту любовную историю с каким-то французом?

— Тсс! Так надо для создания обстановки. Не хочу, чтобы он принял нас за несчастных старух, у которых даже любовников нет.

Зингер отвез их обратно в студию. Расставаясь с Айседорой, он пообещал оплатить все ее расходы.

— Ни о чем не беспокойтесь, — добавил он. — Беру все на себя. Советую также нанять пианиста, чтобы подготовить предстоящее представление. Это, как вы знаете, меня особенно интересует. Отныне, Дора, я здесь. Никогда не забывайте обо мне.

— Когда увидимся?

— Погодите… сегодня понедельник… Завтра я буду очень занят… А вот послезавтра, в среду, 14 сентября, я заеду за вами в четыре часа.

— Ну что он за чудо! — воскликнула Айседора, как только

они вернулись к себе. — Никогда не видела столько щедрости и очарования в одном человеке. Он самый соблазнительный мужчина, какого я встречала.

— Наконец вы это признали, Дора! Эх, если бы вы с ним не расставались, ваше положение сейчас было бы совсем иным. Ведь он вас любил. И любит до сих пор, вот уже двадцать лет. И доказывает это! Как подумаю, что он вам предлагал и от чего вы отказались: роскошная жизнь, спокойствие, любовь, жизнь в семье! И все это отвергнуто ради авантюрных планов!

— Нет, вы поистине неисправимая мещанка, Мэри. Но в одном вы правы. Лоэнгрин — чудо, а не человек, и я люблю его. И думаю даже, что он единственный мужчина, кого я действительно когда-нибудь любила.

— Вы так говорили обо всех своих любовниках.

— Это верно. И если бы вы попросили меня сделать выбор, я бы не смогла. Мне кажется, что я любила каждого из них предельно страстно. Если представить себе Тэда, Лоэнгрина, Архангела и Сергея стоящими передо мной, я бы не знала, кого выбрать. Я любила их всех и люблю до сих пор. Может быть, во мне уживаются несколько женщин? Не знаю. В одном я уверена: многие женщины так же устроены, но не признаются в этом даже себе и предпочитают всю жизнь обманываться, а я не захотела. Я никогда себе не лгала, Мэри. Этим я горжусь, и в этом моя драма.

На следующий день, во вторник, около семи часов вечера Айседора отдыхала в своей спальне. Во входную дверь негромко постучали. Мэри открыла и увидела очень красивого молодого человека. Она его тотчас узнала. Это Бугатти; он нерешителен и явно стесняется:

— Извините, мадам, я в рабочей одежде, не успел переодеться. Ваш адрес мне дала матушка Тету. Она сказала, что вы хотите купить «бугатти».

— Это не я, я не мадам Дункан. Она сейчас отдыхает. Оставьте вашу визитную карточку, я ей передам.

Через десять минут она будит Айседору, потому что их ждут на ужин у друзей в семь тридцать.

— Айседора, пока вы спали, заходил Бутатти и оставил карточку.

— Не верю. Это глупый розыгрыш, Мэри! Если это правда, надо было меня разбудить. Нельзя было его отпускать, пока я спала.

— Но я его отпустила, Дора.

— Никогда этого вам не прощу!.. Никогда! Боже мой, неужели вы не понимаете, как важно мне увидеться с ним? Вопрос жизни и смерти. Не спрашивайте почему, я и сама как

следует не знаю.

— Вот его карточка.

— Ах, Мэри! Что вы наделали! Надо же, он был здесь, и вы его отпустили. Надо его обязательно разыскать. Обязательно. Он мне ужасно нужен. Завтра же с утра пойдем его искать.

— Честно говоря, Айседора, по-моему, вы с ума сходите. Что общего между этим шофером и вами?

— Повторяю, он не шофер. Он посланник богов!

На следующий день, в среду, 14 сентября, они отправляются на поиски гаража «Гельвеция». Найдя его, Айседора просит позвать юношу, который заезжал вчера вечером. Ей отвечают, что он выехал и будет на месте во второй половине дня.

— Дело в том, что я хотела бы… купить «бутатти». Не можете ли вы передать, чтобы он заехал ко мне в пять часов.

Они сделали кое-какие покупки, выпили аперитив на Английской набережной, пообедали в бистро в порту. Потом Айседора зашла к своему парикмахеру. В половине четвертого, когда она вышла от него, Мэри не смогла удержаться от восклицания:

— Айседора, никогда вы не были так прекрасны!

— Видите, как может преобразить меня надежда? И не забывайте, что у меня сегодня два свидания — со старым красавцем и с молодым Богом!

Вернувшись в студию, она наводит порядок, закрывает окна, задергивает занавеси. В четыре Зингера еще нет. Проходит полчаса, три четверти часа, а его все еще нет.

— Что его задерживает? — нервничает Айседора. Закуривает сигарету, наливает себе коньяку.

Около пяти раздается робкий стук в дверь. Мэри идет открывать.

— Это ваш Бутатти. Я возвращаюсь в гостиницу. Пока! Айседора вводит посетителя. Он полужив-полумертв от застенчивости. Мамаша Тету сказала ему, что мадам Дункан — знаменитая артистка, всемирно известная. Он не смеет на нее взглянуть.

— Что будете пить: виски? коньяк? джин? — спрашивает Айседора.

— Э-э-э… если есть, чуточку мартини… но не беспокойтесь, пожалуйста.

Она наливает ему мартини.

— Сигарету?

— Не курю, спасибо.

Она приглашает его присесть на подушки, горой сваленные на полу, сама наполовину возлежит рядом, задает вопросы:

автомобили, механика, «бугатти», другие модели.

— С точки зрения спорта «бутатти» — лучшие!

— А та модель, которая меня интересует? Та, на которой вы уехали в тот вечер?

— Это новейшая модель. Модель тридцать седьмая, спортивная модификация тридцать пятой, настоящая четырехцилиндровая. Машина великолепная, вот увидите.

— Скорость большая? Хочу, чтобы дух захватывало от быстрой езды.

— О, ну тогда!.. Можно разогнать машину до ста тридцати… ста пятидесяти. Конечно, при такой скорости мотор ревет, а в ушах ветер свистит. Особенно если снять ветровое стекло.

— Вот и хорошо. Обожаю, когда ветер бьет в лицо.

— Ну, тогда вы будете довольны. Короткий смех. Неловкое молчание.

— Еще стаканчик?

— О нет! Спасибо, мадам. Я пойду…

— Не торопитесь. Кстати, не говорите в каждой фразе «мадам». Зовите меня по имени.

— Хорошо, мадам.

Она тяжело встает, наливает себе еще коньяку, возвращается на прежнее место рядом с ним, кладет руку ему на колено:

— О чем мы говорили? Ах да! Об этой «бутатти» тридцать пять…

— Тридцать семь, мадам Айседора.

— Ах да, тридцать семь. Что еще можете сказать о ней?

— Должен сказать, что с точки зрения удобств это далеко не лимузин… разумеется… это — спортивная модель. Например, брызговые крылья — крохотные и, поскольку задние колеса всего лишь в пятнадцати сантиметрах от пассажира, не следует высовывать руку наружу. Нет и дверцы, надо перешагивать через бортик. Правда, в этом месте он низкий и очень изогнутый. Вам это будет нетрудно. Конечно только два места… все рассчитано на достижение максимальной скорости, понимаете?.. Места очень узкие, ковшеобразное сиденье пассажира чуть позади сиденья водителя. Приходится садиться наискосок, правая рука протянута за спиной водителя.

— Можете показать? Он в нерешительности.

— В такой вот позе? — Она кладет руку ему на плечо, потом на шею, приближает его лицо к своему…

— Поистине вы неисправимы!

Зингер, войдя, застает ее в тот момент, когда она, полулежа, прикасается губами к лицу Бутатти. Он вскакивает как ошпаренный, а она неторопливо поднимается.

— Что вы себе вообразили, Лоэнгрин? Этот юноша пришел показать Мэри автомашину, которую она хочет купить.

— После того, что она мне говорила, это меня очень удивило бы! Если бы у нее было на что покупать автомобиль, она иначе распорядилась бы своими деньгами.

— Такая уж она, что вы хотите, — отвечает Айседора со своей обезоруживающей улыбкой. — Может, хочет просто примериться.

И, повернувшись к несчастному владельцу гаража, в отчаянии пытающемуся достойно выйти из положения, говорит:

— Теперь идите, но обязательно приезжайте к нам сегодня вечером ровно в девять на машине. Не забудьте.

Зингер объяснил, что его задержали дела и он спешит, но придет завтра. Поедет с ней обедать и, как обещал, вручит чек. Сегодня не успел этим заняться.

— Мы с Мэри пойдем сегодня в десять на концерт в казино. Хотите с нами?

— Обещать не могу. Если не слишком устану, приеду. Было около семи, когда Айседора пришла в гостиницу, где ее ждала Мэри. С истерическим смехом вперемежку с рыданиями она бросилась на кровать:

— Все, Мэри! Все! Все пропало! Я потеряла их обоих. Потеряла и Бутатти, и Лоэнгрина! И в довершение всего лишилась чека! Вот так всегда со мной! Вы не находите? Немножко счастья, немножко денег… и — хоп! Все пропало. Ведь правда, удачи не могло быть? Все шло слишком хорошо.

— Успокойтесь, Дора, и скажите, что случилось.

И вот, шмыгая носом, временами не в силах удержаться от смеха, она рассказывает, как Зингер застал ее в объятиях Бутатти.

— Так ведь ничего еще не потеряно, Дора. Не отчаивайтесь. Вот увидите, скоро придет Бутатти, а завтра вы будете обедать с Лоэнгрином, и он вручит вам чек.

— Нет, Мэри, я уверена, что они не придут, ни тот ни другой. Так и будет. Пойдем выпьем чего-нибудь. Потом все пойдет лучше.

Она набрасывает на плечи свою большую шелковую шаль, и они усаживаются за столик на террасе кафе, как раз напротив студии. Айседора заказывает виски, Мэри — портвейн. К ним присоединяется Иван, приятель Мэри.

— А не поужинать ли нам здесь? — предлагает Мэри.

— Отличная мысль, но я сначала оставлю записочку для Бутатти, на случай, если он подъедет раньше нас.

На обороте своей визитной карточки она пишет наспех: «Я в кафе напротив». Потом заходит в гостиницу, просит кнопку, прикрепляет карточку к двери студии и возвращается к Мэри. За

ужином у нее опять веселое настроение. Ей нравится вкус всех блюд, она находит великолепным провансальское вино. Сейчас она вновь увидит своего молодого греческого бога. Теперь она в этом уверена.

— Если бы вы видели лицо Лоэнгрина, когда он обнаружил у меня Бутатти, — прыскает она, зачерпывая ложечкой мороженое. — Если бы вы видели его лицо! Вы бы сразу поняли.

— Что бы я поняла?

— Что он по-прежнему любит меня! Ах, Мэри, я так счастлива! А когда вижу Бутатти, я чувствую себя на седьмом небе. Так что ничего удивительного, что вы не замечаете меня на земле! Боже мой, уже девять. Пора идти.

Быстро расплатившись, возвращаются в студию. Айседора зажигает все светильники, заводит патефон, ставит пластинку, делает несколько танцевальных па, открывает окно, высовывается:

— А вот и он! — кричит она. — Это он! С машиной! До свидания, Мэри.

— Подождите, Айседора. Накиньте мой черный плащ, вечер будет прохладный!

— Нет, нет. У меня ваш шарф, его достаточно. Айседора устремляется навстречу Бутатти. Она обходит маленький болид, выкрашенный в синий цвет, сверкающий всеми своими хромированными деталями, как прекрасная новая игрушка. Шофер предлагает ей свою кожаную куртку:

— На скорости вам будет холодно.

Она жестом отказывается, широким взмахом закидывает конец шарфа назад. Бугатти заводит машину и садится на место водителя. Айседора оборачивается к Мэри и Ивану, машет рукой и кричит:

— Прощайте, друзья! Иду навстречу славе!

Машина выезжает на Английскую набережную. Напротив черное неспокойное море. Шарф Айседоры, танцуя, плывет в воздухе, потом опускается, тянется по мостовой.

— Шарф, Айседора! Шарф!

Ветер уносит крик Мэри. Метров через сто бахрома запутывается между гайкой-барашком и ступицей колеса. Машина встает на дыбы. Мэри кидается к ней. Голова Айседоры откинута назад и прижата к металлическому борту машины. Шея сломана. Ее задушил красный шарф. Смерть была мгновенной…

Основные даты жизни и творчества Айседоры Дункан

1877, 26 мая — в Сан-Франциско родилась Айседора Дункан.

1895 — дебютирует в спектакле-пантомиме в театре Августина Дейли.

1898— в результате пожара в гостинице «Виндзор» в Нью-Йорке Айседора остается без сценических платьев. С семьей едет в Лондон.

1900 — в Париже на Всемирной выставке знакомится со скульптором Огюстом Роденом.

1902 — заключает контракт с импресарио Александром Гроссом, который организует ее выступления в Будапеште, Берлине, Вене. Встреча с актером Оскаром Бережи (Ромео), который играл на сцене Королевского национального театра.

1903 — вместе с семьей предпринимает паломничество в Грецию. Отбирает десять мальчиков для хора, который сопровождает пением ее выступления.

1905 — поездка в Петербург. Знакомство с балериной Павловой, художниками Бакстом и А. Бенуа. Поездка в Москву, где произошла встреча с К. С. Станиславским. Основывает школу танца в Германии. Встреча в Берлине с режиссером-реформатором Гордоном Крэгом — сыном известной актрисы Эллен Терри.

1906— по приглашению актрисы Элеоноры Дузе вместе с Крэгом отправляется во Флоренцию для постановки «Росмерсхольма» Ибсена. Рождение дочери Дирдрэ.

1908— покупка студии в Нейи (Париж), где она работает и живет с детьми.

1909 — встреча с Парисом Зингером, который впоследствии берет на себя все расходы по содержанию школы танцев Айседоры.

1910— рождение сына Патрика.

1913 — турне по России совместно с другом и музыкантом Генером Скенэ.

Апрель — гибель детей в Париже.

1914 — поездка на Корфу. Путешествие по Италии. Рождение и смерть сына.

1916 — подписывает контракт на выступления в Южной Америке.

1917— выступает в «Метрополитен-опера».

1921, июль — по приглашению А. В. Луначарского приезжает

в Советскую Россию. Организует студию в Москве.

Ноябрь — выступает в Большом театре в Москве в честь четвертой годовщины революции — на концерте присутствуют В. И. Ленин, А. В. Луначарский.

Декабрь — открытие Государственной школы имени А. Дункан в России.

1922, май — выходит замуж за русского поэта Сергея Есенина.

Июнь — путешествие с Сергеем Есениным по Германии.

Август — предпринимает вояж по Италии (Венеция, Рим, Неаполь, Флоренция).

Октябрь — турне по Америке. Выступление в концертном зале Карнеги-холл.

1923, февраль — отъезд вместе с Сергеем Есениным из Америки.

Сентябрь — прибытие в Москву. Поездка на лечение в Кисловодск. Гастроли по Кавказу.

1924— разрыв с Сергеем Есениным.

1927, июль — последнее выступление в Париже.

1927, 14 сентября — в Ницце трагически погибла Айседора Дункан. Похоронена на парижском кладбище Пер-Лашез.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Айседора Дункан. Моя жизнь. Танец будущего. М., 1992.

Краснов И. Айседора и Сергей Есенины. М., 2005.

Левинсон А. Старый и новый балет. Пг., 1917.

Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. М., 2004.

Шнейдер И. Встречи с Есениным. Воспоминания. М., 1965.

Desti Mary. The untold story. The life of Isadora Duncan 1921–1927. New York, 1929.

Duncan Isadora. My life. New York, 1927.

Steegmuller Francin. Your Isadora. The love story of Isadora Duncan and Gordon Craig. New York, 1974.

Serov Victor. The real Isadora. New York, 1971.

notes

Примечания

1

По другим данным 27 мая 1878 года. (*Здесь и далее примеч. пер.*)

2

Джон Рескин (1819–1900) — английский искусствовед, идеолог прерафаэлитов.

3

Фанни Эльслер (1810–1884) — знаменитая австрийская балерина романтического направления.

4

Франсуа Дельсарт (1811–1870) — французский педагог в области танца и музыки.

5

Прелестно… Восхитительно… Просто божественно… (*англ.*).

6

«Дева-избранница» — оратория Дебюсси.

7

Андре Мессаже (1853–1929) — французский композитор, дирижер, пианист, органист, музыкальный критик.

8

Байройт — город в Баварии, где, по замыслу Р. Вагнера, в 1876 году был создан Дом торжественных представлений (Байройтский театр) для исполнения его опер.

9

Викторьен Сарду (1831–1908) — французский драматург, последователь Скриба и Дюма-сына.

10

Танагра — город в Древней Греции (Беотия), к востоку от Фив, знаменитый своей керамикой.

11

Пьер Луис (1870–1925) — французский писатель, автор стихотворного цикла «Песни Билитис».

12

Дорогая (*англ.*).

13

Здесь и далее цитаты из «Ромео и Джульетты» в переводе Б. Пастернака.

14

Гуго фон Гофмансталь (1874–1929) — австрийский поэт и драматург.

15

Приблиз.: наше дело правое (*лат.*).

16

Вверх дном (*англ.*).

17

Новое искусство (*нем.*).

18

Эндимион — в греческой мифологии прекрасный юноша, сын Аэтлия и Калики (дочери Эола).

19

Уильям Блейк (1757–1827) — английский поэт и художник.

20

Ничего не понимаю (*итал.*).

21

Извините, синьор Крэг (*итал.*).

Потому что (*итал.*).

23

Уолтер Джонс Дэнрош (1862–1924) — американский композитор и дирижер. В 1894 году основал оперную труппу, исполняющую произведения Вагнера.

24

Орелъен Люнье-По (1869–1940) — французский актер, режиссер и руководитель театров, близкий к символистам.

25

Сесиль Сорель (1873–1966) — французская актриса, играла в разных театрах, с 1901 года — в «Комеди Франсез».

26

Сидони Габриель Колетт (1873–1954) — французская писательница, автор многочисленных романов.

«Быть или не быть» (*англ.*).

28

Луаре Поль (1879–1944) — французский кутюрье и декоратор, освободивший женщину от традиционного корсета. Поклонник Айседоры, он привлекал ее к показу своих моделей.

29

Все вместе, в массе (*фр.*).

30

Перевод К. Чуковского.

31

Игра слов: по-французски одинаково звучат слова «люди» и «мужчины».

32

Андре Капле (1878–1925) — французский композитор, скрипач и дирижер.

33

Габриэль Пьерне (1863–1937) — французский композитор, органист и дирижер.

34

Современное название — Керкира.

35

Юго-западный пригород Парижа на опушке Мёдонского леса.

36

Один из двух замков, построенных в парке Версальского дворца. Первоначальный Большой Трианон, построенный в 1670 году, был заменен в 1687 году на Мраморный Трианон, построенный Мансаром.

Таубе — голубь (*нем.*).

38

Курорт на берегу Ла-Манша.

39

Никогда (*англ.*).

40

Игра слов: Бельвю (Bellevue) означает по-французски «красивый вид».

41

Ныне Таллин.

42

Прощай, Америка! (*англ.*)

43

Американские комические актеры: Чихо (1886–1961), Харпо (1888–1964) и Граучо (1890–1977).

44

Аньер — северо-западная окраина Парижа.

45

Иокаста — в греческой мифологии финанская царица, жена Лая, мать и затем жена Эдипа.

46

Мари Лорансен (1883–1956) — французская художница, близкая к кубизму.

47

Маргарита Жамуа (1901–1964) — французская актриса, ученица Шарля Дюллена (1885–1949).

48

Франсис Пикабиа (1879–1953) — французский художник-дадаист.